

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН
МАРИЯ АМОР
АЛЕКСАНДР БАРАШ
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ
МАРК ВЕЙЦМАН
ЮРИЙ ВИЗБОР
ЮЛИЯ ВИНЕР
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ХАНОХ ДАШЕВСКИЙ
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
РОМАН КАЦМАН
НАТАЛИЯ КИМ
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
БОРИС КРУТИЕР
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ДАВИД МАРКИШ
СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ
НИКОЛЬСКИЙ
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ЮЛИЯ РАБИНОВИЧ
КИРИЛЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ДИНА РУБИНА
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
И ДРУГИЕ

№48



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2014' 48

2014

48

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

От всей души поздравляем со славными датами
наших замечательных авторов –

Марину Боролицкую,

Лорину Дымову,

Игоря Когана,

Геннадия Малкина,

Зинаиду Палванову,

Бину Смехову,

Владимира Френкеля,

Светлану Шенбрунн,

Рафаэля Шустеровича!

Многая лета! Многая книги!

Редакция «Иерусалимского журнала»

10804

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

④ 2014

Иерусалимский журнал, № 48, 2014

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Зев Гейзель**,
Елена Игнатова, **Юлий Ким**, **Зинаида Палванова**, **Виктория Райхер**,
Дина Рубина, **Роман Тименчик**, **Велвл Чернин**, **Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва**; Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смахова**, **Галина Культясова**, **Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера:

Борис Бронштейн, **Даниил Бурштейн**, **Виктор Гопман**, **Григорий Гордин**, **Владимир Попов**, **Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ» *צ'ור-א"ת*

10304

При поддержке



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2014. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Игорь Туберман

СПАСИБО, ЕСЛИ ДАЖЕ ТЕБЯ НЕТ!

* * *

Пред ними склонялись и падали ниц,
а ныне их имя безвестно,
на свалке истории множество лиц,
которым на свалке и место.

* * *

Скользят, меня минуя, взоры дев,
и я на них внимание не трачу,
но, на меня секунду поглядев,
младенцы плачут.

* * *

Забавно, как мало тревожимся мы,
спасительный выдохся страх,
по миру несётся дыханье чумы,
а нюх наш ослаб на пирах.

* * *

Добродушное и неспешное,
хотя, может быть, очень убогое,
теплю я убеждение грешное,
что и Бог нам обязан за многое.

* * *

На длительном пути моём земном,
где были очень разные превратности,
встречался я с отъявленным гавном
гораздо реже грустной вероятности.

* * *

Я думал и про это, и про то,
я мыслями лицо своё морщил:
совсем я не был ангелом, зато
несколько не склонялся к бесовщине.

* * *

Во мне ещё к жизни полно интереса,
у нас отношения нежные,
я был говорлив, как колёса экспресса,
а нынче скриплю, как тележные.

* * *

Однажды мы когда-нибудь поймём:
поскольку Бога мучают сомнения,
Он любит размышления о Нём –
пускай даже сплошные обвинения.

* * *

Я живу спокойно, без кипения,
срок земной настырно продлевая,
в чашу своего долготерпения
крепкие напитки подливая.

* * *

Вампиры, вурдалаки, упыри –
со временем в ладу и в унисон –
отменно укрываются внутри
ничуть не подозрительных персон.

* * *

Случались очень часто поражения,
которых я по глупости не ждал,
но дух мой исцеляли выражения,
которыми я грусть сопровождал.

* * *

Подумал я нынче в постели,
как женщина Богу обязана:
укромная ямка на теле –
с душою у женщины связана.

* * *

Те, что блудили без оглядки,
те, кто грешил не по годам –
они в аду жуют прокладки
случайных дам.

* * *

Пролиты реки крови, только снова
течёт поток мыслительной лузги,
и бред переустройства мирового
тревожит неокрепшие мозги.

* * *

Любой из нас большой теперь мастак
соваться к Богу с умственным балетом;
вопросы у людей забавны так,
что Богу жалко портить их ответом.

* * *

Прекрасна привалом любая дорога,
харчевнями славен маршрут:
приблудные странники, выпив немного,
весьма замечательно врут.

* * *

Я часто с удовольствием грешу
и Страшного суда не сильно трушу,
я только о народе не пишу,
чтоб лишнего греха не брать на душу.

* * *

Когда во время устного сражения
я в чём-то убеждаю окружающих,
меня не раздражают возражения,
а просто очень жалко возражающих.

* * *

В российских накаляющихся спорах
товарищ мой, по духу – гладиатор,
участвуя в общественных раздорах,
азартно льёт гавно на вентилятор.

* * *

Большое множество людей
меня учило жизни мудрой,
напоминая мне блядей,
оштукатурившихся пудрой.

* * *

Засеребрился сумрак серый,
тоска явилась – тоже серая;
намного б легче жил я с верой –
во что угодно, только веруя.

* * *

При всём к науке уважению –
устройство наше так загадочно,
что говорить о постижении –
по крайней мере, непорядочно.

* * *

В себе мы загадку веками несём,
генетики семя шальное,
евреи способны буквально на всё,
а также – на всё остальное.

* * *

Нет, ничуть не с целью оправдать
думал о великих я злодеях:
ведь харизма – Божья благодать,
как же она в чёрных есть идеях?

* * *

Чему попало много лет
учусь я по необходимости,
а знаний не было и нет –
от мозговой непроходимости.

* * *

Мы существуем очень розно,
и никого никто не выше,
но кто глядит на мир серьёзно –
те от меня в отдельной нише.

* * *

В душе моей, по-птичьей певшей,
задор беспечности потух,
однако жив отяжелевший,
но Божий дух.

* * *

Кошмарного столетия свидетель,
изведав человеческую гнусь,
едва услышу я про добродетель –
угрюмо, но залиvisto смеюсь.

* * *

Характер мой – изрядно скверный
и всякой власти супротивный,
а курс по жизни взял я верный –
тернистый, но не коллективный.

* * *

Поможет вряд ли кто-нибудь
моей душевной задаче:
не смог найти я к Богу путь,
а путь без Бога мной утрачен.

* * *

Я много сегодня стишков наваял,
работал усердно и честно,
по склону Олимпа весь день я гулял
и понял, что мне там не место.

* * *

Забавны наши превращения
в летах, уже весьма критических:
мне вкусовые ощущения
теперь дороже эстетических.

* * *

Источая потоки огня –
то бенгальского, то настоящего,
вдоль по миру гуляет хуйня,
веселя человека пропащего.

* * *

Забыты юношества споры,
истёрлись чувства зрелых лет,
со всех деревьев невермору
мне хрипло каркают вослед.

* * *

Я и привержен к ярким фантикам,
и подлость вижу в подлеце,
забавно это – быть романтиком
и циником в одном лице.

* * *

Тени предков незримо витают
и сливаются с нами частично,
человеки напрасно считают,
что решают и думают лично.

* * *

Душа моя жила вполне типично,
растя в тюрьме терпение своё,
и сделалась настолько эластична,
что гнусь вокруг не трогает её.

* * *

Душе моей не всё равно,
как поживает население –
пошли, Господь, гавнам – гавно,
а нам даруй увеселение.

* * *

В этом удивительном бедламе
нас ласкают взорами несъетыми
черти с белоснежными крылами,
ангелы, стучащие копытами.

* * *

Нам назначено со временем уйти –
мир извечно, к сожалению, таков:
нет обратного житейского пути,
кроме тихо впавших в детство стариков.

* * *

И пусть моё физическое тело
уже готово тихо ожидать,
но я, пока душа не отлетела,
его не перестану услаждать.

* * *

С действительностью тесные контакты
сознание историков калечат:
взаимоисключающие факты
в реальности друг другу не перечат.

* * *

Я тихо правил ремесло,
то холод был, то пламя знойное,
и время мимо пронесло
своё дыхание убойное.

* * *

Когда Божий дух мой чердак посещал,
то делался тоньше мой нюх,
я воздух эпохи в слова превращал,
чем радовал собственный дух.

* * *

Пора! Покоя сердце просит,
как точно выразил Поэт,
но звон брегета нам доносит,
что новый начался обед.

* * *

Ни власти враг, ни сионист
я не был по определению,
а был помятый чистый лист,
каким остался, к сожалению.

* * *

Забавно мне, что многие тираны,
не склонные нисколько к суесловью,
такие выдавали вдруг тирады,
что помнятся уже не только кровью.

* * *

Всё в жизни происходит очень быстро,
а движемся мы с кем-то во главе,
поэтому опасна Божья искра
в опилками набитой голове.

* * *

Жизнелюбие стиха непостижимо,
как загадка о начале всех начал,
между плитами гранитного режима
он упрямо пробивался и звучал.

* * *

Глупость, корысть и тоска по известности,
силы имея могучие,
гадят в любой населённой окрестности,
даже в безлюдной при случае.

* * *

В нём явно нет притворства и вранья,
но вижу я с печалью всякий раз:
выпячивая собственное «я»,
он жопу выставляет напоказ.

* * *

Если совсем не думать, легче
терпеть земное устройство,
если не пьёшь, здоровье крепче,
а выпьешь – лучше настроение.

* * *

Слова сплетаются в созвучие,
а строки мечутся в тоске,
и всей строфы благополучие
висит на тонком волоске.

* * *

Блуждая в дебрях интернета,
я очень много узнаю,
но не нашёл пока ответа,
дают ли выпивку в раю.

* * *

Но как бы ни была безумна власть
и как ни тяжело её наследство,
а прошлое никак нельзя проклясть,
поскольку с ним совпало наше детство.

* * *

Изрядно спорил я с судьбой,
чем жить себе помог,
но стал ли я самим собой –
каким я стать бы мог?

* * *

Читаю книги жадно и пристрастно,
какие-то ловя чужие ноты,
у мудрости краду я мысли часто,
но столь же мне полезны идиоты.

* * *

Смеются надо мной, наверно, те,
кто ценит авангардные изыски:
люблю я краткость, верю простоте,
и нравится мне суп из личной миски.

* * *

Ни вслух, ни про себя я не молюсь
и не творю поклонов менуэт,
лишь изредка шепчу я, тёртый гусь:
«Спасибо, если даже Тебя нет!»

* * *

Меня приветила эпоха –
читался я довольно длительно:
когда душе темно и плохо,
ей наплеватьство целительно.

* * *

Умеют евреи хранить свой секрет,
и скажет любой, кого спросим,
что атомной бомбы в Израиле нет,
но если придётся, то сбросим.

* * *

В умах талантливых людей –
тьма миражей, уже готовых,
и полный крах былых идей
грозит рождаемостью новых.

* * *

Когда хорошая кормёжка,
что очень важно для народа,
то кажется: ещё немножко –
и будет к ужину свобода.

* * *

И кругозор был сильно сужен,
и стойло было огорожено,
я небо видел только в луже –
оно и там меня тревожило.

* * *

Творец готовит нам показ
большой смешной беды:
Европа встанет на намаз
и обнажит зады.

* * *

Моё существование молчащее –
осмысленно: я движусь к рубежу,
и время провожаю уходящее,
и вслед ему признательно гляжу.

* * *

Я член того таинственного цеха,
в котором, ремесло своё любя,
шум жизни отражаем мы, как эхо,
сначала пропустив через себя.

* * *

Нас как ни сушит жизни проза,
я убеждений не меняю
и свято верю в Дед Мороза,
хоть сам его я исполняю.

* * *

Волны света, волны мрака вперемежку
вечно катятся, заведую судьбой,
и не прячет Бог довольную усмешку,
когда борются они между собой.

* * *

Я по утрам не пью кефир,
мне лень здоровье укреплять,
но этот подлый блядский мир
мне жалко оставлять.

* * *

Теперь, когда вижу свой век целиком,
пишу с убеждённым спокойствием:
не важно, что жил я дурак дураком,
а важно, что жил с удовольствием.

* * *

Не верю истинности знаний
о тех событиях, что сплыли:
калейдоскоп воспоминаний
всегда цветистей давней были.

* * *

Зов непонятных побуждений
замкнул на мне оковы прочные:
я сор житейских наблюдений
леплю в комки четверostrочные.

* * *

Тюрьма – это школа смирения,
но злоба родится из боли –
отсюда и дух озверения,
присущий питомцам неволи.

* * *

Везде кругом на резкой ноте
грозе грозой грозит гроза,
и всюду правы те, кто против,
и столь же правы те, кто за.

* * *

Сегодня я думал, моральный урод,
что всё-таки мы пустомели:
евреи в России споили народ,
а больше нигде не сумели.

* * *

С кем завязать пожизненную нить
и перед кем колени преклонить?
Шли годы. Пустота на пьедестале
к тому же ноги гнуться перестали.

* * *

Если Создатель не отверг
условия игры,
то после дождика в четверг
мне свистнет рак с горы.

* * *

Всегда мечтал писать красиво –
лирично, тонко и цветисто,
смотрел бы я тогда спесиво
на выебоны юмориста.

* * *

К отменной мысли я пришёл,
она не глубока:
любить Россию хорошо,
когда издалека.

* * *

Я повзрослел довольно поздно
(если со мной случилось это)
и рос при климате морозном,
а как созрел – уехал в лето.

* * *

Разное к нам у Творца отношение
ровно по нашим масштабам,
лучшее Богу от нас приношение –
это даяние слабым.

* * *

Всегда евреи дорожили
чужой землёй, где поселились,
на бочки с порохом чужие
самотверженно садились.

Дина Рубина
ОСТРОВ ДЖУМ *

1

Она подошла, спросила по-русски:

– Можно тут приземлиться?

Сняла с шеи камеру (как из хомута выпряглась) и положила ее на стол, за которым Леон сосредоточенно выклевывал из баночки смородиновый йогурт.

Он не отвлекся от своего занятия. Неторопливо отправил в рот очередную порцию, поднял недоуменные глаза и, слегка разведя руками – в левой баночка, в правой ложка, – смущенно проговорил:

– Sorry, I don't understand Thai.

– Да ладно тебе, – удивилась она. – Я видела, как ты пел «Станкочки раненые».

Плюхнулась на скамью напротив и, подперев кулаком подбородок, с оживленной улыбкой принялась разглядывать его непроницаемое лицо.

– Не пугайся, никакой мистики: просто я – глухая.

Привычным пояснительным жестом ладони взметнулись к ушам и упорхнули в стороны:

– Глу-ха-я! Читаю по губам.

Он по-прежнему смотрел на нее с вежливым недоумением.

Она слегка смутилась, подумала – может, и впрямь почудилось? Соскучилась по отцу, давно не слышала русский, ну и... показалось. И перешла на английский:

– О'кей, все в порядке. Значит, ошиблась. Просто эта штука сильно приближает, когда нужно, – она кивнула на свой Canon. – Я – фотограф, сняла вас на той смешной доске... для бодибординга, да? Вы как бы на воде танцевали, хороший кадр.

Он приветливо улыбнулся, кивнул. Спросил:

– Вам заказать кофе?

– О, пожалуйста!

Разумеется, он ее узнал: профессиональная память плюс привычка *раздевать* – развинчивать любую внешность, мысленно снимая грим, украшения, кепки-шляпки-очки-парики или, как в ее случае – полтонны железа, без которого ее лицо выглядело беззащитным, но и бесшабашным (юный вольноотпущенник). К тому же ее хрипловатый *трудный* голос мог застрять в памяти не только у человека с абсолютным слухом.

С прической тоже произошла некая благоприятная метаморфоза: вместо омерзительного цветного бурьяна слева колосился короткий густой посев, а с правой стороны свешивались, закрывая

* Глава из третьей книги романа-саги «Русская канарейка», которая готовится к публикации в издательстве «ЭКСМО». Журнальный вариант.

половину лица, отросшие темно-каштановые пряди, которые она поминутно закладывала за ухо, свободное от колец-жерновов-цепочек-булавок, оказавшееся маленьким и плотно прижатым к голове. Тогда обнаруживалась единственная серьга – затертая монета, по виду подлинная, старая...

И брови прекрасные, вот что, подумал он: сильные крылья над ясными до доньшка, чего-то ожидающими глазами. *Впрочем, видели мы доверчивые лица с ясными глазами...*

Свободная красная рубаха, раздуваемая бризом, казалась единственной тряпкой на ее теле. Позже выяснилось, что существуют еще и шорты, но лучше бы их не было.

Позже выяснилось, что существуют и сандалии, но ходила она босиком.

Память мгновенно воспроизвела ту же девушку на крыльце венского ресторана: в драных джинсах, с той же камерой в руках – заторможенную, угрюмо пожелавшую кому-то там «сдохнуть».

Все это было чертовски интересным.

Во-первых, он не любил дважды спотыкаться о случайных свидетелей его передвижений, слишком хорошо зная, как легко подобные случайности организовать. Во-вторых, его ошеломила легкость, с которой – издали, в невнятном бормотании губ, в движении на волне – девица опознала «*Стаканчики...*».

Да-да, камера отлично приближает, глухая читает по губам... но чтобы так сразу *увидеть* замшелый семейный куплетик столетней давности, его надо по крайней мере с детства на языке катать; знать так же хорошо, как он, *последний по времени Этингер*. А это просто немыслимо!

Тогда – кто она такая?

– Два кофе, пожалуйста, – бросил он официанту, а девушка топорливо добавила:

– И... что-нибудь еще, ладно? – кивнула на блюдце, где лежала половина не доеденного им круассана: – Вот что-нибудь такое... – и повернувшись к нему, доверчиво:

– Можно?

– О, разумеется, – любезно отозвался он.

Они сидели на террасе единственного в этих местах питейно-закусочного заведения, с претенциозным названием «Молодая луна». В сущности, это был крошечный филиал островного мини-маркета – небольшое бунгало, обычное для любого тропического рая: стены, столы и лавки – вездесущий бамбук, поверху нахлобучена камышовая крыша. Здесь можно выпить кофе, заказать спиртное, даже пообедать... а заодно купить цветастые купальные трусы, пляжные шлепанцы, соломенную шляпу и полотенца диких расцветок. А если вдруг вам взбрело в голову «повидать красоты глубин таинственных тайских морей», то вот они на полке, запечатанные в пластик: дешевая маска с частенько негодной трубкой.

Все остальное было настоящим: широкая полоса белого песка ленивой дугой опоясала бухту, со стороны воды простеганную стежками небольших курчавых скал. Посреди бухты расселась плюшевая глыба, облитая глазурованной патокой влажной изум-

рудной растительности. Солоноватый бриз скользил по серебристой шерстке волн и улетал к ближним холмам, перебирая там перистые гривы гибких раскачиваемых пальм. Все это блистало и переливалось таким разнообразием оттенков сине-зеленого, что сидеть на этой террасе можно было до скончания века, наблюдая, как причаливают к берегу длиннохвостые, с брезентовыми тентами, тайские лодки, как выпрыгивают из них туристы и местный люд и с насупом подкатанными штанинами бредут по мелководью к отмели.

– А еще я знаю, что вы – певец, – продолжала она, улыбаясь. – Только фамилии не запомнила. Леон... и что-то такое почему-то немецкое, да? В противоречии с лицом.

Он молчал, демонстрируя ей располагающую, но и выжидательную улыбку. Непробиваемую улыбку серого волка.

– Ох, простите... Понимаю, как это выглядит! – она всплеснула руками.

Руки необычайно общительны: оживленные парламентареры между ней и окружающим миром, гораздо более гибкие, более покладистые, чем ее неуживчивый упрямый голос. Руки порхают, ластиятся, спрашивают, укоряют, демонстрируют... – дублируя чуть ли не каждое слово.

– Сейчас объясню: я вас чуть-чуть обслуживала – в ресторане, в Вене, вспомните...

Он поднял брови, сокрушенно покачал головой.

– Ну да! – она слегка смутилась. – Я была совсем в другом образе: тяжелый панк, а? Много-много колечек, из ноздри к уху цепочка, крашенные дреды на полголовы... С этим покончено! К тому же я все время была там как сонная муха – знаете, глухому трудно существовать в незнакомом языке. Ну, вспоминайте! Я еще накинула огромную жилетку Шандора, официанта, и принесла вам рыбы... ну, и вина... и что-то еще. Вы сидели с пожилым дядькой, совсем неинтересным, кроме того что он смотрел разом во все стороны, не повернув головы... Послушайте, может, у вас и сигаретка найдется?

– Ни в коем случае. Буду вынужден вас задуть... – так же приветливо отозвался Леон.

Она зачарованно и в то же время озадаченно следила по его губам за каждым словом.

– Ну... ладно, придется оздоравливать атмосферу.

И, слегка закинув голову, короткими выдохами вытолкнула из горла отрывистый смех. Смех был странным: глуховатым, удивленным, отчужденным от ее лица. Но совершенно непритворным.

– Мне тогда ужасно захотелось вас поснимать: таинственный шейх из «Тыщи-одной-ночи». И руки выразительные: ваш кулак на краю стола сжимался и разжимался, как пульсирующее сердце. Если снимать через этот кулак, то смысл снимка... ну, неважно!.. А голова была обрита наголо. Изысканный декадентский череп идеальной формы. Я еще подумала: он так лысину нивелирует. А вам, оказывается, волосы очень даже идут. Нет, честно!

Мг-м... Что мы имеем? Феноменальную наблюдательность. Все подмечено: кто как смотрит, кто где сидит, кто во что одет, форма черепа, беспокойная рука как деталь образа... Ай

да золушка, ай да кухонная замарашка! Неясно только, зачем все это выкладывает «объекту» от чистого сердца?

Официант принес кофе и на блюдце – круассан, который девушка схватила еще до того, как блюдце коснулось стола, и мгновенно жадно запихнула за щеку.

– Просто по совпадению, – продолжала она с полным до неприличия ртом, – в тот же день я проходила мимо театральной тумбы и увидела афишу с вашим портретом. Какая-то музыкальная классическая муть, да?.. У меня отличная память на лица! Я их столько наснимала в своей жизни. А имена – тут стоп-машина. Имена – не очень. Но – Леон ведь? Правильно?

– Правильно... – помедлив, произнес он. И очень приятно ей улыбнулся.

Тут произошло следующее: она кивнула на огрызок его круассана и спросила:

– Вы будете доедать?

– Н-нет... – озадаченно сказал он.

– Я доем тогда, о'кей?

Схватила и слопала...

– Вам заказать что-нибудь поплотнее? – спросил он, с интересом ее разглядывая.

– Неудобно вас разорять... – с сомнением проговорила она. – Понимаете, торчу на пляже, караулю паром. Боюсь пропустить, вдруг знакомых увижу, денег одолжить до Краби. Осточертело здесь до ужаса! Денег-то ни копя, причем давно. Так что просто полтора дня я не ела. – И встрепенулась: – Могу вернуться к Диле, конечно! Я у нее в бунгало живу, в деревне. Дила накормит, она страшно добрая... но...

Леон подозвал официанта и заказал суп «том-кха», который и сам любил, – легкий и в то же время сытный. Вряд ли ей стоило наесться после такого длинного поста. А он видел, что голодна она всерьез – по тому, как глотала.

– Выпьете что-нибудь?

– О, вы такой щедрый! Спасибо, не надо. Я, когда выпиваю, стерженею. Ну, обижаюсь, ищу оскорблений, в драку лезу... Я лечилась: наркотики, знаете? Но сейчас полный порядок и ни гу-гу. Нет, выпиваю, само собой, – я много работала в барах по всему свету, так что... Но не сейчас. Мне сейчас интересно с вами поговорить. А то упьюсь и буду валяться кучей! – она опять хохотнула, будто удивилась собственному смеху и тому, что может выкинуть, сама за себя не ручаясь.

Так... Интересная у нас получается встреча, милая барышня... Что ж, бывают и совпадения. Почему бы девице, летом подрабатывающей в ресторане в Вене, не оказаться здесь, на острове, спустя несколько месяцев? Почему бы ей и не быть фотографом? Судя по ее виду и вообще по всему, она отчаянно колбасит по миру. Есть такие любители вечной экспедиции в поисках пятого угла, обычно – люди невыносимые...

Вполне возможная, дурацкая нечаянная встреча.

Если бы не «Стаканчики...».

Это было второе его появление в Таиланде, переполненном туристами, перенасыщенном запахами, изнемогающем от липкой пряной духоты. Даже себе Леон не признавался, что вызван этот второй приезд чувством пустоты и провала от первого набега: ничего не удалось ему нащупать. Все обстояло именно так, как и говорил Натан: никаких следов деятельности подставной фирмы Крушевича, переправлявшей оборудование Miracle-SYSTEMS Ltd из Бангкока в Иран. Да и самого Крушевича будто унес океанский прилив...

Всю неделю Леон болтался по клубам, ресторанам, дорогим спа-салонам и круизным пароходикам, популярным среди местных русских, где можно самым неожиданным (и самым ожидаемым) образом увидеть знакомое лицо. Он был чрезвычайно общителен, мил и легок на завязывание беседы – у стойки бара, на палубе, среди танцующей толпы. Он вытянул из собственной биографии и гальванизировал кое-какие российские знакомства, обнаруженные в Бангкоке. Одно знакомство дипломатического рода: помощник атташе по культуре посольства России. Страстный меломан, двоюродный брат баритона Кости Каменцова из театра Станиславского и Немировича-Данченко. Гриша. От Гриши перепало приглашение на бесполезную дипломатическую вечеринку (коловоращение гостей, топтание на палубе яхты с бокалом в руках, любезное зубоскальство и безуспешные расспросы на предмет – кого еще из приятных русских людей можно встретить в этих широтах) – все кануло во влажную и пахучую морскую тьму.

На другое, вполне симпатичное и давнее знакомство он возлагал некоторые надежды. Ирина Владимировна, супруга торгового представителя крупной российской компании, большая поклонница «вашего головокружительного дара, Леон!». Умница и светская львица – ее квартира на Кутузовском в свое время стала для Леона перекрестком самых неожиданных маршрутов и знакомств. На вопрос о каком-нибудь петре-петровиче или самсон-самсоныче всегда отвечала с обстоятельным юморком, не влезая в причины интереса к персоне. Удобный и деликатнейший источник. На Ирину Владимировну ушел целый вечер воспоминаний. Очаровательный вечер: в свое время она была завсегдатаем московского кафе «Призрак оперы». А вы помните, Леон, то... а вы помните, как... – про себя Леон называл такие связи «знакомством нежного свойства»: вовсе не потому, что венчались они романом, он никогда не пускался в обольщения дам бальзаковского возраста. Но милые тонкие комплименты, внимательное выслушивание длинного рассказа о... о чем угодно, хоть и об удобрениях для орхидей на ее даче; крошечные, ни к чему не обязывающие сувениры, обычная любезность милейшего молодого человека («вас прекрасно воспитала ваша мама, Леон!») – все это ничего не стоило, но иногда приносило самые благодатные плоды. На сей раз не принесло ничего.

Леон долго и остроумно рассказывал о своем оперном агенте: большой чудаке, истинный француз, потомок лотарингских баронов, собиратель военных касок и хозяин поместья в Бургундии, из окон которого он в бинокль высматривает на поляне под

домом белые грибы... Изображал Филиппа, сильно утрируя; прости, Филипп!

Ирина Владимировна хохотала в нужных местах: тонкое ухоженное лицо, трогательная борьба хорошего косметолога с беспощадным возрастом, грусть в понимающих все глазах... Так и прижал бы эту стареющую голову к своей груди. (Это все та же твоя давняя тоска, милый, тоска по другой матери...)

И – никакого Андрея Крушевича, ни тени Крушевича, ни дел его, ни следа его на песке длинных ослепительных отмелей...

Леон аккуратно следовал совету Натана «не искать контактов и не выходить на связь с «нашими штатными артистами»... Однако в один из этих дней, вопреки всем указаниям, разнюхал адрес кейтеринга, где работал Тассна, и часа два проторчал в забегаловке напротив, с бокалом местного пива Singha, – дождался, когда тот появится. И дождался. Тассна не изменился ни на одну морщинку, все такой же поджарый, мускулистый, пружинистый (а ведь ему явно под сорок? или под пятьдесят?)... Неужели ему интересен этот кейтеринг, даже если он там старший в смене?

Боясь потерять тайца, Леон шел за ним несколько кварталов практически след в след, в плотной толпе, текущей в пахучем, густом и липком воздухе, пропитанном гарью и выхлопами бензина, рыбным духом из дверей недорогих ресторанчиков, запахом лимонграсса из косметических и массажных кабинетов; шел мимо лавочек, вываливших на тротуары свое платяное, продуктивное, рыночно-рыбное нутро, мимо дверей дискотек, клубов и баров, мимо торговков ананасами, старух с ногами борцов сумо, замотанных в традиционную юбку-штаны, мимо круглосуточных магазинов «Север-илевен, 7/11», мимо зазывных табличек «Body to body massage», мимо салонов, где работают слепые массажисты – подлинные виртуозы мышечно-костяной клавиатуры человеческого тела.

...Шел, пока Тассна не завернул в парикмахерскую, где прозаически подстригся минут за двадцать. И лишь после этого Леон случайно столкнулся с ним у ближайшей автобусной остановки.

При беглом взгляде тот Леона не узнал, пришлось ахнуть и взять его за плечо. Тассна отпрянул, взгляделся, оторопел, бросился обнимать, повторяя: «Цуцик!!! Суч-потрох! Суч-потрох!» Прослезился, вспоминая старика... И Леон прослезился – он всегда легко подхватывал чужую интонацию, как любой звук в любой тональности: просто на миг стал кудрявым тринадцатилетним «цуциком», сжимавшим в руках трость великолепного кларнета, подаренного ему щедрым и насмешливым конопатым зномом, светлая ему память!

И до ночи они просидели в какой-то злачной забегаловке неподалеку, где, уверял Тассна, отлично готовили рыбу... Рыба была неплоха, но сам Тассна на кухне у Иммануэля готовил ее лучше, о чем Леон прочувствованно ему сообщил.

Он никогда не задумывался – что побуждало его менять выверенный план, пускаться в обходной маршрут, задерживаться

для того, чтобы перекинуться парой необязательных реплик с каким-нибудь ночным портье или рабочим кухни. Для него любое такое движение было сродни тяги к изменению тональности, чувству, не имевшему названия, – некоему позыву, что напоминал музыкальную интуицию импровизатора.

Леон и сам не знал – что так настойчиво тянуло его встретиться с «ужасным нубийцем» и чего он ждет от этой встречи.

Расспрашивать тайца о яхте, где тот встретил (вернее, не встретил) Крушевича, и почему он не попытался разыскать среди гостей господина со столь замысленными чертами лица (при том, что для тайца один «фаранг» похож на другого), Леон права не имел: во всех своих действиях Тассна, скорее всего, отчитывается перед своим «куратором» конторы и уж, конечно, не должен знать о связях «цуцика» с данным прекрасным заведением.

Кроме того, у «цуцика» были свои привычки и методы в прощупывании агента – вне зависимости от того, считают ли в конторе этого парня «заслуживающим доверия» лишь потому, что десять лет он мыл Иммануэля, кормил его и ухаживал до последнего его вздоха...

Тассна рассказал кое-что о своей жизни: приходится крутиться. Он – старший в смене, в зарплате это чуть больше, чем у рядового рабочего кухни. Гроши... Так что по ночам он подрабатывает (только не удивляйся!) – танцором в массовке, в популярном шоу DJ Station. Это (опять-таки, не удивляйся) – ночной клуб для геев.

– Кстати, знаешь, как танцоры убирают складки на талии и бедрах? Дарю патент: надеваешь колготки, а сверху просто заматываешь себя широченным скотчем.

– Здорово! – восхитился Леон, у которого сроду никаких складок на талии не было. – А как Винай?

– О, Винаю повезло: он устроился поваром к одному бизнесмену. Ты же знаешь, Винай – хороший повар... Да он кем угодно может быть: сиделкой, медбратом, охранником... Мы давно не виделись. Мотается сейчас с шефом по всему миру – тот без него ни шагу.

Тот без него ни шагу. (Но – ни малейшей заминки в ответе. Чистая правда? Или вызубренный текст?)

И опять же, не смог бы он внятно растолковать – почему при тех или иных случайных словах, безадресном взгляде, рассеянном жесте... внутри вдруг слабо отзывался некий камертон, будто тайный настройщик давал едва слышимое «ля» его тончайшей интуиции...

– Еще бы, – мягко подхватил Леон. – Я-то помню, как старик цеплялся за вас обоих, за своих «ужасных нубийцев»... И когда Винай отлучался... а он ведь часто отлучался, правда? – старик казался потерянным и как бы одноруким: ему почему-то нужны были вы двое...

На этих его словах Тассна будто спохватился:

– Ну а ты здесь какими судьбами?

Леон развел руками (прежний «цуцик», доверчивая улыбка), воскликнул:

– Господи, да теми же, что и все! Моя девушка просто уши прожужжала твоим Бангкоком.

Тассна поморщился, фыркнул:

– Да он вовсе не мой! Сумасшедший дом, столпотворение туристов, жара, вонища... Просто работа здесь есть, вот и толкусь, кручусь по копейкам, как заведенный.

(Молодец, уважительно отметил Леон, молодец, «ужасный нубиец»! Весьма убедительный и душевный вечер, и комар носа не подточит. Никто, глядя в честные твои глаза танцора и старшего в смене, не заподозрит ни куратора от конторы, ни увесистой «копейки», ради которой ты здесь крутишься, в том числе и в ночном гей-клубе...)

– Я-то родился в настоящем раю, – мечтательно обронил Тассна. – Маленький такой островок, Ко Джум называется. Уверен, ты даже не слышал, где это...

Почему название островка, где энное количество лет назад родился столь важный деятель тайского общепита, засело в памяти и не давало покоя? Этого Леон тоже пока не понимал. Провожая глазами удаляющуюся спину Тассны, подумал: хорошо бы выяснить, откуда вообще у Иммануэля взялись «ужасные нубийцы»; хорошо бы навести справки о некоем бизнесмене, ценителе поварского искусства Виная...

Но по возвращении не счел нужным выйти на связь ни с Натаном, ни с Шаули. Встретился с Джерри и попросил передать «шефу» о совершенной, увы, неудаче «отпуска». Докладывать о встрече с Тассной не стал: не то чтобы ходил на цыпочках, исполняя директивы начальства, но после грандиозного скандала с его «пражской выходкой» предпочитал не задевать ничьих профессиональных амбиций.

Ему не в чем было себя упрекнуть – он сделал все, что мог и считал нужным сделать.

Но месяца через полтора попросил Филиппа кое-что сдвинуть в расписании, перенести одно прослушивание, отменить другое... – словом, выцыганил недельку свободы и вернулся в Таиланд.

Ты отдыхаешь, сказал он себе; на сей раз – действительно отдыхаешь. Никаких Бангкоков! Никакой толкотни на занудных посольских и благотворительных приемах.

Приятный островной маршрут: небольшой катерок, снующий от рифа к рифу, подводные красоты Акульего пика – вкрадчивые актинии, синие бесстыдно растопыренные морские звезды, зеленые, алые, бежевые акропоры...

Еще в Париже по интернету он снял удобный «пенишет», маленький круизный кораблик, передача которого в пункте проката на Ао Нанга заняла едва ли минут сорок: выписав чек в залог, он получил лоции и карты «засад» (глубин-рифов-мелей), и крепыш-инструктор, поплавав с ним минут двадцать, вручил бортовой журнал с традиционным: «Приятного плавания, сэръ!»...

Он и плавал – от острова к острову – помалкивая, давая голосу полный отдых, ныряя в районе рифов, причаливая на ночь к берегу, иногда, вот как сегодня, катаясь на доске, которую снял в придачу к пенишету. В безопасных – то есть глубоких –

местах слегка расслаблялся (разумеется, вначале убедившись, что нет других кораблей по курсу): привязывал штурвал и минут десять валялся тут же, на камбузе, на диванчике.

Одинокое плавание оказалось довольно утомительным отдыхом.

Зачем все это ему понадобилось – он, черт его дери, пока не понимал.

...Девушка набросилась на еду с таким чудовищным аппетитом, что какое-то время молчала и просто ела.

– На вас приятно смотреть... – задумчиво проговорил Леон абсолютно искренне. – Даже обидно, что я не голоден.

Что бы там она о себе ни сочиняла, но ее лицо, с едва заметными белыми шелковинками от пирсинга в нежном пушке загара, было таким свежим, так проблескивали искрами на солнце каштановые брови, отзываясь и кумачу рубахи, и аппетитной, исходящей паром золотистой гуще в тарелке...

– А супец мировой! – бормотнула она по-русски, жадно глотая ложку за ложкой.

– ...простите?

– Говорю: суп очень вкусный! Спасибо!

– На здоровье, – вежливо отозвался Леон, обдумывая ситуацию.

Никто не мог знать, что накануне он назначит себе посещение этого островка, упомянутого Тассной. Не сидела же она здесь набум три месяца, поджидая его на пляже...

Наконец она откинулась, вытерла салфеткой губы, обстоятельно высморкалась и подняла на него глаза. Поймала его взгляд и – изменилась в лице.

– Вы ведь... угостили меня просто так, а? – спросила, хмуря брови. – Я не должна... отрабатывать? Вы ведь не приняли меня за пляжную бабочку? Я не по этой части!

Он улыбнулся:

– А вы и без спиртного в бутылку лезете. Не беспокойтесь!

И поднял руку, подзывая официанта.

– Постойте! Вы уже уходите? – взволнованно спросила она. – Я... я вам так благодарна. Хочу вот попросить: можно вас поснимать?

– Нет, – сказал он.

– Но!.. – и сникла. – Понимаю, да... Хотя ничего не понимаю! Очень жаль... – и засуетилась, явно ища повод, чтобы задержать его хоть на минуту, на две: – Хотите глянуть, как получились снимки – там, на воде?

Схватила камеру, поискала кадр, нашла и протянула ему.

– Возьмите в руки, – сказала, – а то отсвечивает. Не уроните!

Он никогда не интересовался художественной фотографией. Нет, конечно, в свое время на курсе он прослушал несколько лекций и умел пользоваться крошечными специальными *штуками* вроде зажигалок, которых и фотоаппаратом-то не назовешь. Но изображения тех или иных людей интересовали его лишь в просмотрном зале *конторы*, и только с опознавательной точки зрения.

Он принял камеру из ее осторожных рук, подумал: картинка, всплывающая из темной глубины мини-экрана, всегда – кружение наливного яблочка по серебряному блюдечку.

Даже на таком невыигрышном поле видно было, что кадр изумительный – сине-золотой, сделанный сквозь ажурный гребень прибора: грациозная фигурка, танцующая в центре залива на фоне косматой горы... Усилие удержать равновесие на доске схвачено виртуозно: легкий наклон чечеточника.

«Какой я... маленький, – подумал он привычно. – Впрочем, это снято издали».

– Я еще поработаю над ним, – удовлетворенно заметила она, наблюдая за его реакцией. – Это будет стрекоза в слитке золота.

Следующим кадром выплыло его лицо: крупный план в бисере брызг, с округленными в песне губами, резкий очерк скул и орлиного носа, прищуренные глаза: черные искры среди зеленых бликов волны. Отличный кадр! Он никогда не видел себя *таким* и сейчас был поражен и стремительной силой этого лица, и той хищной ловкостью, с какой она выхватила из восставшей волны незаметный и в то же время значительный миг его бытия.

Подумал в растерянном восхищении: «Да она – мастер! Не трепло, не барахло, а мастер».

– Как это убить? – спросил он. – На что нажать?

Она ахнула и отшатнулась. Взглянула с таким презрительным отчаянием, точно он предложил ребенка убить... Нет, она не подслана. Сыграть это лицо, в котором отражаются малейшие перепады настроения, сыграть эту даже не открытость, а беззащитную распахнутость миру – скотскому миру, который, судя по всему, успел изрядно ее помять? Нет, невозможно. Опять неуместно мелькнуло: зачем она сняла свои доспехи? С ними хоть как-то была вооружена.

Она вздохнула и молча выщелкнула снимок.

– Не понимаю... – заметила угрюмо. – Вы что, так не любите своего лица? Или, наоборот, так цените его? Должна сказать, тот ваш портрет на музыкальной афише... он так себе, мастеровитое ничто, просто глянцевая карточка. А здесь вы живой... *были живым* – таким горячим, морским, в соленых брызгах, таким... классным! И пели что-то мне родное – показалось. Я чуть с ума не сошла... Прямо как Желтухин!

Он едва не выронил камеру.

Аккуратно и медленно перенес ее на стол...

Принялся вытаскивать из внутреннего кармана плавков обернутые в пластиковый мешочек деньги... – не поднимая головы, делая вид, что с трудом извлекает застрявшую купюру.

Затем долго, не глядя на девушку, изучал принесенный официантом счет...

Долго отсчитывал бумажки, мелочь...

Наконец поднял голову и с улыбкой произнес:

– Вы меня пристыдили. Что ж, готов позировать, если это нужно искусству. Только недолго.

– Ура! – она схватила камеру, отскочила на шаг и сразу преобразилась: рысь на ветке, в засаде, в ожидании добычи.

– Только не здесь, пожалуйста! – он рывком поднялся со скамьи и двинулся прочь от бара, туда, где гладкоствольный частокол кокосовой рощи уходил в курчавый крутоворот зеленого склона:

мангровые заросли с веерными выхлестами арековых и ротанговых пальм. Выше по холму взбирались мощные стволы янга и такьяна, перевитые тропической путаницей лиан.

– Сделайте пару снимков такого... тарзаньего плана, ладно? – не оборачиваясь, прищелкнув пальцами, обронил он. – Если хотите, могу на пальму забраться...

Она нагнала его, тронула за руку у плеча. И, когда обернулся, мягко проговорила:

– Я глухая, шейх. Ни черта не слышу, о'кей? Когда на губы смотрю, понимаю речь.

– Извините, – сказал он. – Ради бога, простите меня, я идиот.

– Ничего, – она махнула рукой, и они пошли рядом по песку. – Мало кто сразу ко мне приноравливается...

Пока шли, она безостановочно оживленно говорила – возможно, затем, чтобы снять его (так натурально изображенное) смущение.

Здесь, конечно, классно: простор, покой, прилив-отлив, такой бесконечный тропический дурман, хранилище застывшего времени... Я сняла рассказ, так и назвала: «В отсутствии времени».

– Рассказ?

– Ну, цикл фотографий, потом могу показать: море, горы, огромный непроницаемый день острова... Люди здесь тоже бесхитростные – я имею в виду здешнее население, ну, морских цыган. Они не слишком жалуют туристов, боятся перемен. У них до сих пор электричества нет, одни только масляные лампы... Их деревни – там, на другой стороне острова, я живу у Дилы... Она самая уважаемая, потому что грамотная.

А во-он лодку видите, голубую с черным драконом? Это я расписывала... Я им тут и стойку бара расписала, меня за это кормили целую неделю... Еще придумала каждый день на закате лепить фигуры из песка перед входом в бар, туристов приманивать. И коктейли им обновила – я ж в коктейлях спец. Выручка сразу подскочила... Но потом мы подрались с одним человеком прямо там, среди столиков... – она неуговорными своими, говорящими руками произвела несколько выразительных движений – и картина потасовки мгновенно нарисовалась в воздухе и какое-то время удивительным образом длилась и даже развивалась, озвученная дальнейшим объяснением: – Расколотили кучу стекла, случайно заделали пожилую даму... Будь это в Бангкоке, я бы заремела в Лад Яо месяцев на шесть... Но здешние полицейские – хорошие ребята, мои партнеры по бильярду. В общем, обошлось штрафом, но на него ушли все оставшиеся деньги.

Они миновали последнюю лохматую хижину на сваях, с приставленной к ней деревянной, сбитой на живульку лестницей, прошли кокосовую рощу и вступили во мшистую влажную густоту, изрешеченную огненно-фиолетовыми солнечными пулями. В кипящей дрожжевой духоте кишмя кишела мелкая суетливая жизнь: звенел двухструйный ручей на боку скалы, зудели тучи насекомых, какие-то лакированные кусты исходили неумолчным стрекотом, и всю эту буро-зеленую кашу дробили, прорезали, выжигали пронзительные крики невидимых обезьян.

Под ступенчатым каскадом огромных ленивых листьев на все лады вскрипала и вновь опадала многоголосица густого леса.

Здесь, молниеносно подавшись вбок, Леон обхватил девушку, привалил спиной к своей голой груди, локтем пережав горло.

Две секунды подержав удавку, слегка расслабил ее, пережидая, пока девушка перестанет кашлять и хватать ртом воздух, и, приблизив губы к исполосованной солнечными лезвиями ее щеке, вкрадчиво спросил по-русски:

– Так кто ты?

– Айя... – пробормотала она.

– Глухая, да? И читаешь по губам?

Она молчала... Если бы кто-то со стороны заметил эту пару, тот просто отвернулся бы, чтобы не смущать влюбленных.

– И потому сейчас мы так славно беседуем, когда ты прижата ко мне спиной, а я едва шепчу?

Она проговорила сдавленным, но спокойным голосом:

– Вибрация диафрагмы... Я чувствую колебания груди.

– Отлично. Итак, Желтухин. И «Стаканчики граненые». Слишком много совпадений. Откуда? Быстро! Или будешь валяться тут с перебитой трахеей.

– Иди к черту, – сказала она, – кретин! Отпусти меня! Причем тут Желтухин! Это наш кенарь.

Он крутанул ее, сжал в тисках ее руки, не отрывая взгляда от лица.

– *Ваш* кенарь? – тихо спросил он. – Желтухин – *ваш* кенарь?

Глаза у него были как горячая смола, просто втекали в тебя, прожигая, разливаясь по всему нутру. Но *другим* своим зрением (никогда не могла назвать это чувство, но доверяла ему безоговорочно) она увидела в этих глазах растерянность и даже смятение. И, легко выдернув руки, крикнула:

– А чей еще?! Твой, что ли! Желтухин – это династия артистов. Еще от дяди Коли...

Отвернулась и – вот бесстрашная задрыга! – назад пошла, туда, где за частоколом кокосовых пальм стояло сине-зеленое море. Он догнал ее в два прыжка, мягко удержал за руку:

– Дяди Коли, а... фамилия дяди Коли?

– Да пошел ты... – сказала она и вырвала руку.

Заплакала, повернулась и побрела, не оглядываясь. Он опять нагнал ее, властно взял за плечо:

– А фамилия дяди Коли – не Каблуков ли?

Тут уже она споткнулась, попятилась, как оглушенная, опять подалась к нему, спрашивая что-то ошеломленными руками, вытаращив глаза, еще влажные от слез. И стояли они близко-близко, молча друг на друга уставясь, не зная – что еще сказать, о чем спросить, как нащупать первую ступень лестницы, разбегавшейся в две такие семейные дали...

Они были одного роста, а когда у вас на одном уровне глаза, вам ничего не остается, как все время в эти глаза смотреть, выживая из них звучащий, карусельно-крутящийся мир.

В ухе у нее качалась-покачивалась старая монета. Леон коснулся ее, слегка повертел в пальцах, взвешивая... «Папа просто

швырнул ему под ноги эту монету, Яшкины отступные... – услышал он голос Барышни. – И Каблуков преспокойно поднял ее и положил к себе в карман».

Все точно: неказистая, а тяжеленькая. На одной стороне затертый двуглавый орел, на другой – чеканка: «3 рубли на серебро 1828 Спб». Только не серебро это, вот в чем штука: чистая уральская платина, и отполировать ее не мешает. И вряд ли девчонка голодала бы и караулила на пляже паром, если б знала, что носит в ухе.

– Так вот как выглядит «белый червонец» Соломона Этингера, – пробормотал Леон, улыбнувшись. – Мое, между прочим, наследство.

– Но-о ведь та-а-к не быва-ает... – пропела она.

– Не бывает, – согласился он.

Уж он-то отлично знал, что *так* не бывает. Его на курсах учили, и он вызубрил назубок, что *так* не бывает. Разве что один шанс на миллион. И уж, конечно, не в подобных обстоятельствах. Не на острове Джум в Андаманском море. Не с глухой девицей, читающей по губам. Не «Стаканчики граненые», и не царский червонец в ухе, и не четыре поколения, кричащие ему сквозь весь двадцатый век: все доподлинно, все так и есть, вот так все и бывает...

Странный это роман, где Он и Она встречаются друг друга чуть ли не в самом конце; где сюжет норовит ускользнуть и растечься на пять рукавов; где интрига спотыкается о нелепости и разного рода случайности; где перед каждой из встреч громоздится высокая гора жизни, которую автор толкает, подобно Сизифу, то и дело откатываясь назад, удерживая вес, вновь напирая плечом и волоком волоча эту нелепую повозку вверх, вверх, к эпилогу (где всех нас, бог даст, встретит знаменитое верхнее «до»), – обреченно тащит ее, вопреки здравому смыслу и законам сюжетосложения, озираясь по сторонам и безудержно оплакивая тех, кто из повозки выпал...

Странный это роман...

Они истоптали изрядную часть пляжа, вколачивая в него вопросы-ответы, и те вопросы, на которые ответов не было, вернее, искать их надо было сообщая, и они искали: останавливались, отгребали ребром босых ступней площадку мокрого песка, и Айя, присаживаясь на корточки, веткой рисовала то и это (например, улицы на Апортовых садах или диковатое сооружение – дубовую исповедальню, превращенную в «обучающий шкаф»: вот тут папа сделал отсеки для клеток, по углам вставил мини-динамики... – объясняла и опять расспрашивала, поднимая на него карие глаза и хмуря шелковые брови: «Ты что, не знаешь, как кенарь разучивает плановую песнь?» «Немного знаю, – улыбаясь, отвечал он, – по себе...»).

Леон уже понял, что для проникновения в это лицо, в эти глаза, для ее отклика, для *свободной проводимости звука*... нужно лишь коснуться ее, взять за руку или положить ладонь на плечо... А когда она была рядом, прикосновение становилась единственно логичным, практически неизбежным в разговоре. И потому она неизбежно присутствовала на расстоянии жеста. А лучше всего было просто смотреть на нее, беззвучно вышивая губами слова.

– Откуда у тебя такое имя?

– Айя? Не знаю, кажется, бабушка придумала. А что, не нравится?

– Да нет, вполне годится...

– С тобой так легко разговаривать, – сразу призналась она, тебя понимать легко – движения губ легкие, четкие. Даже голос будто слышу.

– Я и есть – Голос, – сказал он. И пояснил: – Певец же. Внятная артикуляция.

– А балерина? – вдруг спрашивала она. – Ну, под чьими окнами дядя Коля спал зимой в своем знаменитом кожаном плаще. Ты ей кем приходишься?

– Какая балерина! – фыркнул он. – Балерин с такой грудью не бывает. Это Барышня, Эська. А еще была Стеша... Были Большой Этингер, Дора, с ее «грудкой», испанка Леонор... И все это – Шекспир, Гомер, и Софокл, и Тень отца Гамлета...

* * *

– ...Ну ладно, – проговорил он наконец.

За три часа безостановочной, бурной, то и дело отпрыгивающей в детство, перебивающей друг друга, ветвящейся по родным городам и улицам, по самым-самым родным лицам двухголосой речи (изрядно его утомившей, ибо под прямым, душу вымогающим взглядом этой девушки надо было умудриться не выложить всей подноготной своей биографии, а нести привычную *служебную* чушь) – за эти три часа Леон, кажется, досконально выучил улицы, Апортовые сады, каток Медео, «папины методы обучения канарек» и «папины воспоминания о «дяде Коле»... Интересно, что ж она по свету мотается от такого замечательного папы.

Все это свалилось ему на голову неожиданным хлопотным наследством и, бог знает почему, он чувствовал себя обязанным что-то решать с этой странной глухой девушкой... С этой *канареечной родственницей*.

Например, сейчас мучительно думал, как лучше поступить: дать ли ей денег на паром до Краби, а там на самолет... куда? (видимо, в Лондон, отозвалась она, хотя и не хочется; может, в Бангкоке останусь, там у меня друзья; может, мотнусь в Алма-Ату отца проведать)...

...или все же рискнуть и взять ее на борт своего «пенишета», а завтра подбросить до Краби – тем более что вечером ему и самому вылетать оттуда же в Париж? Доставить ее самолично, чтобы уж быть уверенным... – в чем, между прочим?

Человек по натуре замкнутый, давно и с успехом затоптавший в себе любые сантименты, он безуспешно себя допрашивал: ну что ты к ней привязался? Что еще хочешь вытянуть из глухой бродяжки? Согласен, встреча двух потомков одной канарейки, да еще на острове, в тропической глухомани... – это удивительно и трогательно, это чистый Голливуд. Но взгляни на ситуацию трезво: на что тебе *со всем твоим хозяйством* дался этот *трудный* случай?

В конце концов он предложил ей выбирать самой, отлично понимая, что потакает этим себе, себе...

– Конечно, с тобой! – горячо выдохнула она. – Куда угодно! А куда? Давай совершим кругосветку!

И без малейшей паузы обрушила на него историю о каком-то своем бывшем возлюбленном (а число им – легион, подумал он с неожиданной для самого себя горечью), который «полуяпонец-полуамериканец и очень творческий человек, знаешь!» – давно бороздит океан на маленьком паруснике, а однажды причалил к такому острову, Тикопия, где на коленях приносил дары вождям четырех племен, чтобы те позволили ему бросить якорь...

Кого она напоминала? Владку – количеством вываленных на него за три-четыре часа экстравагантных бредней. Следовало только разобраться, насколько эти бредни далеки от реальности. Впрочем, он был настолько впечатлен подлинным червонцем Соломона Этингера, что волей-неволей приходилось как-то реагировать и на остальное.

– Увы, – сказал он. – Кругосветку придется отложить. Я подброшу тебя в аэропорт и куплю билет до Лондона.

– Ура, – отозвалась она разочарованно, но покладисто.

По длинному берегу они дошли до деревни – большой и утоптанной поляны с двумя десятками бамбуковых курятников на сваях, под чубатыми крышами из сухой травы, – где состоялось трогательное прощание с добродушной кубышкой Дилой, в платье из такой блескучей, алой с золотом, ткани, что Леон, человек театральный, аж крикнул от удовольствия: интересно, какой затейник догадался одарить старуху этим венецианским великолепием!

Из курятника Дилы был извлечен тощий, грязноватый, выдавший виды рюкзачок Айи, и пока перед хижинкой происходило надрывное расставание (а из дебрей курятника с воплями выскочила еще одна косоглазая нимфа и кинулась Айе на шею), Леон сидел на пне, разглядывая совсем уже театральную декорацию: бунгало, поднятое на развилку могучего дерева. Кто там живет – не местный ли колдун? И как вообще забираются люди в это жилище? Вот кому не страшны никакие приливы. Так это здесь, что ли, родились и выросли «ужасные нубийцы» Иммануэля? Или в соседней деревне? Приступать сейчас с расспросами к Диле или кому там еще, при таком наблюдательном свидетеле, как эта девушка, было крайне неосмотрительно. Да и какая разница, где они выросли? Хотя, конечно, интересен путь от дикого местного бунгало на развилке дерева к великолепному «бунгало» Иммануэля в Савьоне...

Наконец Айя с заплаканными глазами предстала перед Леоном и объявила, что можно двигаться: «Дила – просто ангел, мы так рыдали обе!»

– И вот за этим помойным мешком мы сюда топали?

– Именно, – отозвалась она. – Это не мешок, а специально обученный рюкзак, – открыла и показала: два отделения. В нижнем – аппарат и линзы, в верхнем – новейшей модели лэптоп: – Мое сокровище, мой дорогой Фото Иванович Шоп...

Пока шлепали назад, он выслушал длинную практическую лекцию по кадрированию и обрезанию снимков. Удивлялся. Кивал. Восхищался... и вообще дал ей свободу фотографического воле-

изъявления: он обожал профессионалов в любой области и всегда уважительно выслушивал их косноязычные словоизвержения. Впрочем, *эта* была, надо признаться, повострее многих, а когда говорила о своем деле, вовсе не казалась подростком, как на первый взгляд.

– Сначала увидь что-то! – говорила она, взрывая мокрый песок пальцами босых ног. – Острота твоего взгляда, способность захватить натуру из гущи: лицо, жест, контраст смысла. Корень нашего дела – репортажная съемка. Тут никуда не деться: да, девяносто процентов снимков уходит в брак. Но те, что остаются... Это всегда секундный роман: увидел, влюбился... и человек даже ничего не почувствовал, потому что от «полюбил» до «расстались» – проходит мгновение...

– А у тебя всегда проходит мгновение от «полюбила» до «расстались»? – спросил он с серьезным лицом, и она нетерпеливо и дурашливо махнула на него рукой.

– Сначала в воображении возникает будущий кадр – и это чистая интуиция. Я ощупываю внутренними щупальцами его границы, отбрасываю лишнее. Подношу камеру к глазу, вижу картинку в видоискателе... Мозг в это время пашет, как компьютер: что попадет в зону глубины резкости, что окажется размытым фоном. И затем: резкость, спуск! – как пуск ракеты.

Он подумал: в такой репортажной съемке (подчас довольно опасной, ибо не каждому громиле может понравиться нацеленный на него фотоглаз) ей, должно быть, помогает ее природное обаяние: навстречу летит ее вопросительная улыбка, молчаливая просьба «щелкнуть?»... и лица смягчаются, громилы приосаниваются, вытаскивают из крокодильей пасти манильскую сигару...

* * *

Здесьний пляжный закат напоминал платье кубышки Дилы: то же алое золото в воде, в огненном смерче закрученных штопором облаков на смятенном небе, в объятых жаром курчавых горах, в трагическом спуске на воду солнца, зиявшего входом в огненный туннель. Спектакль, поставленный неистовым режиссером без единой капли художественного вкуса. Ежевечерняя истерика тропической природы...

– Это остров со мной прощается... – заметила Айя. – В тон моей рубашке...

– Хочешь, щелкну на память? – предложил Леон.

Она покачала головой, нахмурила роскошные брови и сказала, кивнув на свою камеру:

– Мильён штук закатов...

* * *

От «пенишета» она пришла в восторг. Тот и вправду попался на редкость удачный: почти новый, с двумя каютами, кормовой и носовой, и при каждой – душевая с гальюном. И кухня довольно просторная (насколько это возможно на такой плавучей «хрущобе»), и все при ней: холодильник, плитка, в ящиках – чего только

нет, от штопора до рюмок (за «интерьер» с Леона содрали еще двести долларов, и дело того стоило). Главное, осадка у судна была всего 65 см, что позволяло даже на мелководе подойти близко к берегу. Удобно, когда ты не связан с портовыми понтонами: причаливай, где душа просит – в лесу ли, на берегу реки, на морском побережье. Вобьешь кувалдой железные колышки, привяжешь канатом кораблик, как козу – попастьись, а сам – на свободу: гуляй, ужинай, спать заваливайся...

Леон оставил «пенишет» там, где кокосовые пальмы на тонких ногах спускались к миниатюрной заводи, отделенной от моря бурями, щекастыми, в мокро-зеленой щетине камнями, по которым карабкались какие-то юркие и корявые морские обитатели. Одна из пальм (это был ориентир и «якорь») так наклонилась к воде, что путаница ее корневого клубня наполовину вздыбилась над песком.

К плавучим домикам он стал приглядываться, едва оказавшись в Париже. «Плавучий Париж» – вообще отдельное пестрое государство: баржи-рестораны, баржи-театры, и жилье, и притоны... Единственная морока – место для «прописки» такого романтического обиталища. Сегодня застолблен и обжит каждый кусочек берега Сены. Леон лично знал двух артистов кордебалета «Опера Бастий», которые мечтали за копейки избавиться от корабликов, доставшихся им в наследство...

– Да здесь можно годами жить, – заявила Айя, дотошно обшарив и осмотрев все отсеки лодки.

– А люди и живут, – отозвался Леон, – причем издавна. «Пенишет» – это же от «пениш», «баржа». Когда вся промышленность работала на угле, хозяева барж были таким отдельным народом во всех странах. Плавали, зарабатывая на перевозках угля, там же и жили...

– А вот это колесо с рожками – прям штурвал? Дашь порулить?

Щелкнула тумблером на пульте управления, и тут же загорелась лампочка, кораблик запищал комариным писком.

– Ой, что это?

– Выключи, это подкачка дизеля! – прикрикнул он. – Не смей ничего трогать!

Но через минуту сжалился и показал пост управления: тут все довольно просто. То, что «колесо» – то штурвал, да, а это – приборная доска: тумблер зажигания, рядом – сектор газа, вот этот рычаг: «Вперед – нейтралка – задний ход»... Ну и – спидометр, показатель расхода топлива, «автопилот», эхолот, GPS...

– Ты не хочешь... – (у него чуть не вырвалось «помыться?», и, ей-богу, судя по затрапезному виду и солоноватому запаху, ей бы душ не повредил, да и рубаху эту революционную недурно простирнуть.) Но он запнулся и спросил: – Не хочешь перекусить?

В Краби он запасся некоторым количеством толковых и вкусных консервов, вроде утки в вине с белыми грибами, несколькими сортами сыров и сухарей, кофе, шоколадом и даже двумя бутылками бургундского, которое за последние годы в Париже полюбил и иногда позволял себе – разумеется, не в дни концертов или спектаклей.

– Да нет... – она засмеялась: – Неужто я так отоцала?

Он сделал вид, что пристрастно ее осматривает. Даже, взяв за плечи, прокрутил перед собой полным кругом. – Не знаю... Вдруг раньше ты пышкой была?

– Никогда! – твердо возразила она. – Это не мясо, это жилы и мускулы! Во-первых, я все детство в соревнованиях по фигурному... а потом, в Судаке, целое лето зарабатывала брейк-дансом на набережной, вообще стала каменная... А потом пасла коров, там тоже нужна сила – кнутом щелкать... А еще у меня был цирковой эпизод в биографии: я боролась сдохлым удавом – знаешь, какой тяжелый! Если повесить на шею, это как колесо от грузовика.

Он вздохнул и покачал головой: как все было знакомо! Будто домой вернулся.

– Ты мне не веришь?!

Она метнулась к рюкзаку, извлекла лэптоп, открыла его, нащелкала что-то и подтянула линейку громкости. И грохнула ненавидимая Леоном ритмичная долбежка брейка, сотрясая кораблик почище шторма...

– Но ты же?... – крикнул он, подразумевая «не слышишь?»...

– Волновая природа звука! – крикнула она. – Ритм!!!

Вылетела на палубу, деловито оглядывая крошечный пятачок свободного места...

...и тело ее взметнулось, упруго мелькнуло в воздухе, сделав кульбит, в котором и обнаружались белые драные шорты, кругло закрутилось на полу, перевернулось на живот, рухнуло на растопыренные ладони, заскользило клубком, выбрасывая в сторону ногу, руку, ногу, руку... Она заюлила на полусогнутой ноге, вытянув другую... пружинисто поскакала опять на обеих ладонях, заскользила, волнисто извиваясь, пунктирно, коротко обрывая свои движения, упираясь растопыренными ладонями в невидимое стекло и переступая ими перед лицом... Чах! Чах! Чахи-чах! Хоп-кульбит! Хоп-кульбит!

Когда музыка оборвалась, она так и осталась стоять на обеих руках, с мокрой от пота жарко-алой спавшей на лицо рубахой, уставясь на Леона двумя упругими грудками...

За ее спиной тлело желтое вымя заката; пылающие облака истекали горючим небесным молоком.

«Совершенная оторва!» – подумал он, вдруг ощутив, как соскучился по своей безумной матери. Та тоже порой позволяла себе выскочить из душа голяком и, гаркнув: «Не смотреть!!!» – рвануть к шкафу за чистым полотенцем.

Пружинисто отпрыгнув на ноги, девушка выпрямилась с торжествующим видом. Даже не слишком запыхалась.

– Блеск! – искренне выдохнул он, выставив большой палец. Ну что ж, брейк-данс тоже оказался правдой, видимо, и задохлым удавом дело не станет.

– После такой разминки, – уже не опасаясь, что обидит, заявил Леон, – человек явно нуждается в помывке. Вон там, за кухней, твоя каюта, при ней душ и горшок. Это важно! На корабле самое опасное место – галюн. Моется заборной водой: открываешь клапан, подкачиваешь воздушным насосом и спускаешь воду. Покажу, как пользоваться. Там полотенце, мыло, то, се... У тебя есть во что переодеться?

– Не-а, – сказала она. – Все барахло осталось у Дилы. Даже не стоило забирать, там такая рвань... У тебя найдется какая-нибудь футболка или чё-нить? Шорты или там... трусы?

Перебирая в чемодане отпускное барахло (за последние годы он обзавелся целым шкафом весьма недешевых шмоток и, бывало, осматривая вещи перед тем, как надеть, бормотал: «Мой венский гардероб!»), Леон подумал, что, шляясь по свету с такой явно дорожкой оптикой и с лэптопом последней модели, девица могла бы занять хотя б одно приличное платье...

В конце концов выдал ей белую футболку с надписью «Камерный оркестр Веллингтона» и тренировочные синие трусы, в которых обычно бегал по утрам. Пересидит в этом, пока постирает и высушит свое тряпье.

Она отправилась в душ, но сразу же вернулась, чем-то озабоченная:

– Ага, вот еще... – пробормотала. – Ты не мог бы мне одолжить свою бритву?

– Нет, – сказал он. – Как и зубную щетку.

– Зубная щетка – ерунда! – она смущенно отмахнулась. – А бритву... мы ее потом могли бы протереть э-э... гигиенической салфеткой.

«Мы!» Очень мило...

– А в чем дело? – спросил он. – Выкладывай.

– Понимаешь, – торопливо объяснила она, – я боюсь, как бы... Там, у Дилы, много разной публики ошивается. Неплохие ребята, хотя есть ужасные типы. А у тебя тут все сверкает. Ну и, в общем... я бы хотела обрить башку! Под нуль! На всякий пожарный.

– Вши? – прямо спросил он.

– Ага, – с облегчением, чуть ли не весело отозвалась она. – Голова с утра чешется, сил нет.

Ну, поздравляю, подумал он, злясь на себя самого, поздравляю! Какого черта ты ее сюда приволок? На хрена тебе вообще сдалась эта бродячая фото-поэма! Нет, друг мой, ты сейчас поменяешь концепцию и деликатненько выпроводишь ее на берег. Свою платину из ее ушка выдирать, конечно, не станешь, наоборот, отвалишь энную сумму – в память о «стаканчиках граненых» и прочих фамильных нежностях. Пусть Барышня порадует на небесах. Пусть девочка купит себе приличные штаны и рубашку.

Вдруг он вспомнил, как однажды прихватил арабских вшей из трехмесячной «командировки» в Хеврон, из того самого рабочего барака, где спал на каком-то тряпье, а однажды утром вытряхнул скорпиона из строительной каски. Вспомнил, в какой ужас пришла Владка, боясь прикоснуться к сыну даже тогда, когда он с хирургическим тщанием выбрил себя *всего, с головы до ног*, по степени гладкости превратившись в пасхальное яичко.

– Стой там! – буркнул он. – Иди сюда!

Огляделся, достал из-под мойки пустой мусорный бак, перевернул его и поставил в центр камбуза.

– Раздевайся!

– Совсем? – деловито осведомилась она. – У меня под шортами ничего...

– Совсем! – рывкнул он. Смягчившись, пояснил: – Все это выкинем. Погоди-ка... – извлек из ящика и развернул пластиковый мешок: – Бросай все сюда!

Второй мешок расстелил на перевернутом мусорном баке, готовя импровизированное парикмахерское кресло.

Она стащила через голову свою красную рубаху, стянула шорты – глядя ему в лицо так же доверчиво и прямо, как смотрит новобранец на врача армейской медкомиссии.

Старательно отводя глаза, он шарил в своем несессере среди всякой ванной мелочевки безопасную бритву – вроде должна была быть... Ага, есть! И ножницы. И крем для бритья, отлично...

Ну что она тут топчется так откровенно, да еще уставилась на меня... – госссподи, вот бесстыжая девка! Тоже нашла себе брррратика!

И вдруг – будто оплеуху самому себе отвесил: да ведь у нее нет выбора! Она должна видеть лицо, чтобы тебя понять. Она не выбирает эти лица – понял ты, болван!

– Так! Села ко мне спиной...

Она развернулась, как солдат по команде «кругом», – узкие бедра, мальчишеские плечи... Уселась, обеими руками вцепившись в края мусорного бака...

Он глянул на ее спину и обомлел: чуть ли не от самого затылка вниз, под левую лопатку, уходил длинный бело-розовый на золотистом теле шрам.

Два-три мгновения он стоял с бритвой в руке, не сводя глаз с этого тонко заштопанного следа чьего-то ножа.

– Ты что-то говоришь? – тихо спросила она.

Он опустил руку на ее плечо и сказал:

– Нет. Ничего...

Молча намылил ей голову и ровно, точными движениями стал снимать полосы густых каштановых волос: неважно, отрастут еще...

Будто самого себя брил.

* * *

Впервые она обрлась наголо перед тем, как смыться из Лондона ко всем чертям.

Ее лысая башка оказалась последней каплей в отношениях с Еленой, женой Фридриха. Та просто чесалась от ненависти (и не пыталась этого скрыть), когда девчонка заявлялась посреди какого-нибудь приема или «уютного вечера». «Уютный вечер» – жанр, особенно любимый Еленой, – означал особенно бездарную тусню пятнадцати богатеньких мудаков из ее обычного окружения вокруг приглашенной знаменитости, типа какого-нибудь российского телеведущего.

Впрочем, Елену можно понять: у «казахской шлюхи» и впрямь была та еще манера вонзиться в гостиную посреди благолепия пьяненькой или подкуренной, да еще со своей вечной камерой, выводящей «тетю» из себя...

«Прекрати щелкать каждое мое слово! Не смей снимать, я сказала! Посмотри на себя в зеркало: ты катишься в лапы к дьяволу!»

Любила изъясниться высоким штилем. Ей бы подошла миссия проповедника в джунглях какого-нибудь Сомали, и если б ее съели туземцы, озверев от одного лишь звука ее постного экологического голоса, их можно было бы поздравить с переходом на здоровую органическую пищу: ибо Елена Ниловна питалась, одевалась и подтирала свою изысканную задницу исключительно продукцией органического производства (здесь Айя обычно издавала губами раскатистый непристойный звук).

Единственным приличным человеком в особняке была Большая Берта, хотя и та не сразу приняла Айю. Наоборот: зыркнула своими голубыми, как синька, глазами в крахмальных, без ресниц, веках, поджала губы и сказала, будто выплюнула:

– *Noch ein Kasache!*

Фридрих расхохотался.

– Не обращай внимания, – сказал Фридрих в тот первый ее день в Ноттинг Хилле, – Большая Берта монументальна и непрошибаема – как в своих привязанностях, так и в ненависти. Она к тебе привыкнет.

Кстати, прозвище «Большая Берта» (в честь знаменитой немецкой мортиры 420-миллиметрового калибра) дал ей именно Фридрих, еще в детстве. Ее выдающийся костистый нос и впрямь напоминал дуло гаубицы. А рост! А зад, под который всегда требовалось двойное сиденье!

Старуха же (в то время, когда Фридрих родился, она не старухой была, а совсем еще маленькой девочкой, седьмой водой на киселе) всегда именовала мальчика не иначе, как «Казах». Не могла простить ему происхождения. Хотя и обожала, хотя и знала (была невольным ошарашенным и заикающимся от страха свидетелем, забившимся между буфетом и кладовкой), что солдат Мухан спас Гертруду, застрелив своего лейтенанта. Тот уже валял ее по полу кухни, правой рукой пережимая ей локтем горло, а левой расстегивая свою ширинку. Он так и утих, трижды подпрыгнув, с тремя пулями в спине и с расстегнутой ширинкой, заливая распостертую и полузадушенную Гертруду толчками красивой малиновой крови... (А кстати, надо бы выяснить у Большой Берты: куда они дели тело этого самого героического лейтенанта? Стащили ночью по лестнице и вывалили в ближайшее озеро? – Айя любила ошарашить старуху каким-нибудь этаким вопросиком.)

Короче, вынянчив мальчика, Большая Берта, фантастической своей преданностью напоминавшая сторожевого пса, ни разу не упустила случая невозмутимым тоном произнести в самой невообразимой ситуации, например, посреди «уютного вечера»:

– *Der Leutenant, das wäre besser. Immerhin ein blonder, mit einem menschlichen Antlitz, kein Schlitzauge...* (Лучше бы то был лейтенант. Все-таки блондин и с человеческим лицом, не косоглазый...)

О Берта, Большая Берта... Целая поэма – эта старуха.

Ладно, проехали! Проехали всю их долбаную жизнь в дорогом Ноттинг Хилле.

Первые три года, прожитые в Лондоне, казались ей отдельной жизнью...

Лондон был мышцей, что сжимала и душила, но иногда и отпускала, и город вновь казался свободным, веселым и заманчивым, особенно если всю ночь колбаситься по барам и пабам Сохо с фотиком, нацеленным на потрясающие рожи.

А в свою первую ночь в доме Фридриха и Елены она смотрела в окно на странное желтое небо, затянутое низкими облаками. И долго ее не покидало ощущение искусственности всего, что ее окружало, – будто находишься не на улице, а в каком-то павильоне, выстроенном для съемок фильма из диккенсовских времен: узкие улочки, переулки, подвалы... Даже на Темзе, с ее простором, с широкими выхлестами ее мостов, с острями башен, с гигантским колесом обозрения... в первое время – особенно на закате – ей казалось, что она попала в открытку... Но потом пришло лето, и над цветными антикварными лавками на Портобелло Роуд поплыли по синему небу розовые облака, и серый город напился красками – ярко одетые раскованные люди сидели за столиками кафе, попивая кофе и пимс, а по округе там и тут разворачивались овощные рынки, где краснощекие английские фермеры приветливо улыбались в объектив ее фотоаппарата и даже помахивали широкой ладонью.

Словом, это был отдельный жизненный перегон. Весь ее путь от Апортовых садов был помечен такими перегонами, и каждый отличался от предыдущего абсолютно всем: людьми, обстоятельствами, жильем, небом и облаками... и потому вначале очень ей нравился – новизной.

Но по мере того как живая жизнь перекачивалась в «рассказы», в здоровом чреве этой жизни неизбежно заводились тараканы и мошки скуки, а потом шевелились черви тоски и отвращения... Жизнь загнивала, ее хотелось вышвырнуть в мусорный бак и начать совершенно иной «рассказ»: пересест в другой поезд, корабль, самолет; встретить новых людей; сбрить волосы, проколоть вторую ноздрю, покрасить кармином половину лица; косячком разжиться, наконец!..

Лондон она покидала дважды.

Выкатившись из «органического рая» Елены Ниловны, Айя устроилась на работу в «Блюз-бар» (живая музыка в стиле «блюз» весь вечер к вашим услугам) в самом злачном районе Сохо. Это было классно! Она научилась отрывисто и громко разговаривать по-английски, наострилась читать по губам так же хорошо, как и по-русски, отпускать шуточки и подмигивать посетителям. Англичане любят таскаться по барам и пабам, так что через месяц-другой ее знал весь район, у нее появилось много приятелей и подруг вроде Эмми, которые не во всем соответствуют понятию «приличные люди». Елена Ниловна таких на порог не пускает.

С Эмми и ее старшим братом Алом они снимали квартиру в подвале под Fast Food Chicken Shop. И все бы ничего, но Эмми (она была менеджером бара, где все они вкалывали) страшно пила, бедняга, а контракт на съем квартиры был записан на

имя Айи. К тому же их надули с электричеством, так что жили они при свечах, без отопления и без горячей воды. Все равно было интересно и здорово, пока хозяева бара не уволили Эмми, и, однажды потеряв ключи от дома, она, озябшая, пьяная и в расстройстве (дело было в декабре), принялась ломиться в квартиру, подвывая, разбегаясь и всем телом наваливаясь на хлипкую дверь, которую в конце концов и вышибла... Соседи вызвали полицию, и первое посещение участка (приезд rigs совпал с возвращением Айи из колледжа, поэтому, не вдаваясь в объяснения, скрутили обеих и поволокли в машину, по пути поддавая в спины для бодрости духа) – это посещение произвело на девушку сильное впечатление. Жаль, фотик не успела взять, повторяла она: такие чудные рожи маячили, что по ту, что по эту сторону «обезьянника»!

Потом брат Эмми испарился, и Айя тянула на себе все квартирные расходы и ждала, когда истечет срок аренды. А пока они с Эмми продолжали жить без отопления, при свечах и с дверью, снятой с петель и сдвинутой вбок... «И жили они в ночи...»

Когда стало совсем невмочь, Айя сбежала (смылась, сплинула, улизнула, укатилась, как колобок: я от папы ушла, от Желтухина ушла и от Фридриха – ушла; а от вас, упыри поганые, тем более уйду!). С неделю примерно днем она болталась по городу, а по ночам, после закрытия бара, тайно проникала в помещение – у нее имелись ключи; хозяева ей доверяли.

Хорошие, уютные были ночки: спала она на диване у камина, укрываясь тремя снятыми со столов скатертями; если просыпалась, наблюдала мышинный футбол: маленькие существа из сказок Гофмана гоняли по полу фисташковые скорлупки. В старинной церкви напротив бил колокол (по телу мягко прокатывались длинные воздушные волны, одна за другой), и росла внутри, набухала такая нестерпимая тоска, какой она сроду не испытывала. Однажды ночью, по-воровски подкравшись к дверям бара (ключи наготове), увидела, как дикая лиса пытается мордочкой открыть крышку мусорного бака. Крышка не открывалась, и, ужасно злясь, лиса царапала ее, широко разевая пасть...

Снимок дикой лисы, оскаленной в тщетном усилии над крышкой мусорного бака, стал последним в том «рассказе» о Лондоне.

Она подсчитала всю свою наличность – «докуда хватит», кое-что одолжила, продала все, что получилось продать (кроме фотика, конечно!), и утром уже болталась по Хитроу в ожидании рейса на Рио-де-Жанейро: «красивое имя, высокая честь»... Главное, это был ближайший по времени самолет, и в нем – единственное свободное место...

* * *

– А ночью ты не плывешь?

Бритая наголо, в его белой футболке «Камерный оркестр Веллингтона», в его спортивных трусах, она была похожа...

...да на меня она похожа, вот на кого, понял Леон. Тем более что и сам, принимая душ, решительно обрил голову: все равно

скоро на сцену – парики, шлемы, грим – барочные видения, золотые колесницы, шелковые тоги и тюлевые крылья кордебалета...

– Ночью люди спят, – сказал он.

...После всех демонстраций – как действует на судне душ и смыв в гальюне, после всех инструкций – чего ни в коем случае нельзя делать, дабы не свалить «титаника»... после всех ее переспрашиваний, уточнений и путаницы пришлось плюнуть на оставшиеся цирлих-манирлих и самому проследить за ее помывкой – что она, в отличие от него, перенесла просто и покладисто, как трехлетний ребенок: «Закрой глазки, чтобы мыло не попало».

Сейчас они сидели на камбузе и ужинали – уткой и сыром. Собирая на стол, он хотел открыть бутылку бургундского, но вспомнил о пьяном разгроме в баре (сейчас у него уже не было причин ей не верить) и заменил вино виноградным соком.

На экране компьютера, распахнутого на крышке кухонного шкафа, беззвучно проплывали виды какого-то ночного, судя по архитектуре, испанского города.

– Это Лиссабон, – заметила Айя, мельком глянув на экран. – Я там была...

– А ты, похоже, землю трижды обошла, как Вечный Жид?

– Почти. Мы с моей подругой Михаль месяца три шатались по Испании... Немножко поработали, сколотили копейку и просто гуляли: каждый день – город! Однажды за завтраком, в Севилье дело было, она говорит: а слабо в Португалию махнуть? И мы собрались в пять минут!

...Собрались-то в пять минут, зато потом долго добирались на перекладных через все деревни Эстремадуры – на автобусах, попутках, чуть ли не на телегах... А когда добрались, разверзлись хляби небесные – страшный, просто тропический ливень!..

Они вбежали в первый же ресторанчик на руа Мария да Фонте и под смешливыми взглядами молодых красивых официантов отряхивались на пороге, как бродячие псы, потом присели за столик у окна и попросили – бр-р-р-р-р! – кофе погорячее!

В окне мотало и гнуло высоченные деревья, растущие вдоль улицы. Вдруг все замерло, будто в преддверии Слова Господня... и каменным обвалом, с беспощадной мощью рухнула на мир серая плита воды! Айя смотрела на Михаль – на ее милое некрасивое лицо с неправильным прикусом, та улыбалась в ответ, и они сидели так сто лет, обсыхая, грея ледяные ладони о чашку кофе, как будто были одни-одинешеньки друг для друга.

Когда, наконец, вышли на крыльцо – вместо мостовой бурлила, катилась, крутилась бешеная река под уклон мостовой; невозможно было и помыслить войти в нее!

Они стояли на ступенях крыльца под козырьком, взявшись за руки, – пришлые бродяги посреди вселенского потопа – свободные, бездомные, юные и сильные этой свободой и юностью – и ждали, пока стихия успокоится... А дождь все лил, лил, и они все стояли и стояли, совершенно одинокие в чужом городе... Рука Михаль озябла, как ледышка. Айя время от времени подносила ее ко рту и дышала на нее... В конце концов ресторан стали закрывать,

переворачивать на столы стулья, мыть полы... И тогда один из официантов – тех, смешливых, – сжалился: снял обувь, засучил брюки до колен и по очереди перенес девушек на спине на «другой берег», к автобусной остановке...

– Где-то была фотография, – сказала Айя, – надо поискать: Михаль на спине нашего доброго Харона...

– Возьми еще утки, – сказал Леон. И положил в ее тарелку кусок мяса.

Со стороны берега, из бунгало-бара, опоясанного гирляндами весело прыскающих крошечных лампочек, слабо доносились блюзовые всхлипы; их вспарывали скандальные крики обезьян из влажной путаницы джунглей, звон цикад, какой-то беспрерывный стрекот и редкие истерические взвои – все это было фоном, в который вплетались мерные тяжелые удары волн о песок и плеск волны о борта «пенишета».

И все подминала под себя восходящая царственная луна – лимонный прожектор в зыбучих барханах звездного песка...

– А спать мы вместе будем? – спросила она тем же нейтральным тоном, каким интересовалась сортом сыра.

Он поспешно и категорически отрезал:

– Нет.

– Почему?

– Потому что ты – не пляжная бабочка, а я не взыскиваю с женщины платы за тарелку супа и провоз до Краби.

– Ясно, – отозвалась она. – Это благородно.

...двумя словами превращая меня из идиота в мудака...

Минуты три ели молча...

Он опять подумал: когда она молчит, возникает шизофреническое ощущение, что я ужинаю в компании с *другим* собой...

Впервые в жизни рядом с женским существом он испытывал чувство полного и спокойного равенства. *Положим, кое в чем ты подвираешь, мой мальчик...* Чувство было навязчивым: если вдуматься, какой покой можно испытывать рядом с подобным беспокойством – с этой бродяжкой, на каждое твое слово извлекающей из биографии очередную безумную историю?

– У тебя есть жена?

Она задавала вопросы внезапно и прямо, после чего упиралась взглядом ореховых, янтарных глаз в сердцевину его губ в ожидании такого же прямого ответа.

Он помолчал, проглотил кусок сыра и, как всегда, непринужденно и убедительно ответил:

– Есть.

– Врешь, – спокойно отозвалась она.

Он хмыкнул, прикидывая достойную отповедь наглой девчонке...

Но она перебила:

– И женщины у тебя давно не было. Я же чувствовала твои руки, когда ты меня брил и... потом, когда мыло с меня смывал... Ты умирал, как хотел меня! И сейчас ужасно хочешь. Разве нет?

Он страшно разозлился, тем более что она была права. Заставил себя спокойно долить сок в ее чашку.

– Допивай. Как бы там ни было, – твердо проговорил он, завершая этот милый ужин, – сейчас ты отправишься в свою берлогу и прекратишь морочить мне голову. А завтра утром я отвезу тебя в Краби.

Эту девицу, в ярости приказал он себе, собирая со стола и складывая в мойку посуду... эту чертову вшивую провидицу!!! – ты будешь держать на приличном расстоянии от своего члена, понял?!!

...Вначале она даже задремала – судя по тому, что ей что-то снилось. Усталость последних дней скулила в каждой мышце тела, которое молило только об одном: о неподвижности. Усталость, вкусный ужин, чистая койка в каюте-шкатулке... Аяя успела подумать, что этот загадочный человек, столько сил прилагающий, чтобы держать себя в узде и ни в коем случае не показать... что под этой кольчугой он – неистовый, резкий, напряженный... и в то же время беззащитный, особенно когда...

...И вот уже ехала в поезде, в общем вагоне, – тем утром, когда впервые сбежала из дома, – а на скамье напротив нее сидели трое мальчишек лет семнадцати: Ленька, Генька и Генька...

Они были близнецы: Евгений и Геннадий, но оба просто были «Генька-Генька», а с четвертым из би-боев группы AfroBeat парни рассорились и разодрались еще в Алма-Ате и теперь ехали в Судак без номера четвертого.

Минут через двадцать оживленной трепотни обо всем, что в голову придет, они предложили Аяе войти в «четверку крутых би-боев». Дело в том, что самым ударным номером программы у них была «синхронная четверка». Передними запускали близнецов Геньку-Геньку, и те отчебучивали ювелирным ходом один в один каждое движение – убойный был номер, публика обалдевала, хорошо отстегивала: люди же ясно видят – никакого фуфла, ребята въябывают дай боже!...

Аяя с восторгом согласилась и тут же в туалете коротко остриглась маникюрными ножницами чуть не под корень, так что, когда вышла, мальчишки ее не сразу признали – она была вылитым вихрастым парнем. По прибытии в Судак примерно с неделю они ее натаскивали, наглядно показывая и заставляя десятки раз повторять «бочку», «гелик», «свечу» и «черепашку». (В свою программу ребята щедро напихали трюки и штуки из разных танцев и стилей – от сальсы и рок-н-ролла до капоэйры и даже кун-фу.)

И после «курса молодого бойца» бросили в дело.

Каждый вечер на набережной Судака, в виду зубчатых башен старой Генуэзской крепости, «знаменитая четверка би-боев» «отжигала нечеловечески».

Они стали – «звезды набережной»; на них собиралась уважительная толпа, так что сборы получались – грех жаловаться.

Ходили они в больших синих майках с болтающимися рукавами и в черных мешковатых штанах – рабочая одежда брейк-дансера...

Ужинали всегда в «Чебуречной», там группе давали скидку за постоянство, а ночевали в палатке на пляже, в спальнях мешках.

Это было самое счастливое лето в ее жизни...

Она всем телом слышала море, удары волн о берег, тархатенье моторок, даже гудки парашедов; слышала, лежа в спальнике с Ленькой, куда однажды забралась на рассвете... Ленька и стал ее первым, очень простым, очень честным и душевным парнем. Он всегда делил деньги поровну, всегда сам покупал одежду на всех, заботился о каждом – лепил Айе горчичники на спину, когда простыла...

(Сейчас она иногда жалела, что в одну из ночей ушла, не прощаясь; жалела, потому что в Леньке, при всей его незамысловатости, была какая-то застенчивая сдержанная нежность. И жаль, что не осталось «рассказа» об их чудесной «четверке крутых би-боев» – не могла же она снимать саму себя, когда отчебучивала...)

Просто уже надвигалась осень, и по вечерам, сидя в чебуречной, ребята горячо обсуждали – куда податься зимовать: в палатке по ночам становилось холодно.

Айя же совсем заскучала и злилась, что приходится скрывать эту скуку от остальных и отплясывать надоевшие танцы, в трехсотый раз повторяя навязшие в ногах-руках фортеля. Никогда не могла и не хотела стреножить эту свою вольную тягу; вставала и уходила – прочь, и дальше, и дальше катилась, пока не упиралась в новую жизнь, в совсем другие лица, совсем другие пейзажи.

Однажды, когда мальчики уснули, она легко и бесшумно выбралась из спального мешка, быстро сложила свой рюкзак с фотоаппаратом, вышла на дорогу с поднятой рукой – бесстрашная тонкая фигурка с рюкзаком, в ошпаривающем свете желтых фар... Добралась на попутке до Феодосии и села в первый же поезд, который ехал... да она никогда особо и не интересовалась направлением поездов. Встань и иди...

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... В окнах тянулись рассветные кадры Крыма, жизнь мчалась вперед, вновь набирая обороты, становясь глазастой, яркой, жадной, стремительной... рассказливой!

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... – радостно прокатывалось по телу...

Открыв глаза, она поняла, что это ритмичное «тук-тук» – просто переплеск воды о борта катера, что называется забавным детским словом «пенишет».

В двух круглых окнах под потолком каюты слезилось близкое граненое небо в ломовых безумных созвездиях. Опять забыла – как что называется. А ведь Ричи показывал и рассказывал о каждом. Ричи, бывший наркодилер, сам наркуша и конченный человек, месяцами жил у Дилы, скрываясь от закона и медицины. Астроном по образованию, когда-то, лет сто назад, он закончил Беркли и трепетно относился только к звездному небу.

...Она вспомнила весь минувший день, *неприступного шейха*; радостно взмыло внутри: уеду, уеду отсюда! – это было главным. Но мысли опять закрутились вокруг непонятого человека. Вот ведь что получается: никакой он не шейх. А родным с детства кажется потому, что ужасно похож на ту девицу со старой коричне-

вой карточки, в платье с кружевами валансьен, с черной бархоткой на шее; и та, оказывается, вовсе не была балериной, но, видимо, что-то значила для дяди Коли, почему-то была дорога, если он всю жизнь хранил ее карточку.

Айя *прислушалась*... и тем же своим безошибочным чутьем ощутила, что *тот* ни капельки не спит в своей каюте. Совсем, мучительно не спит...

Больше всего на свете самой ей хотелось *отдать концы, отчалить, провалиться в черную полынью сна... здесь, на безопасном семейном кораблике...*

Она даже испугалась, что после всех этих тягучих недель и бессонных ночей на нее может навалиться знакомый с детства и неотвратимый, как приступ болезни, трехдневный свинцовый обморок-сон. Сон-защита, сон – занавес, друг, но и враг – в зависимости от того, где и с кем он ее настигал... И наваливался порой так некстати, и скручивал по рукам-ногам, пеленал, как младенца, заворачивал, погружал в забытьё...

Больше всего на свете хотелось спать. Но она вновь *прислушалась*, и ощутила – дрожь его желания, безысходную пустоту его ожидания, надежду, перекрученную отчаянным жгутом. Вздохнула, поднялась и пошлепала к нему босиком.

...Он услышал этот легкий шлеп, замер и напрягся, ничем не выдавая своего бодрствования. Но когда она возникла в проеме открытой двери, он растерялся: черт возьми, эта нудистка явилась в чем мать родила – прямо Гоген, тропическая простота нравов. Однако на пороге застряла – видимо, за ужином он нагнал на нее страху. Стояла, оплетая собой низкий косяк, и смотрела на кровать, где во тьме смутно белела простыня и он под ней – надгробным барельефом.

Наконец, кашлянула и проговорила хрипатым со сна голосом:

– Не притворяйся, ты не спишь... Я тебя очень чувствую. Я вообще жутко чувствительная. Понимаешь, отсутствие одного органа компенсируется развитостью других. У меня это – зрение и... что-то еще внутри, назвать и объяснить не умею, просто оно есть.

Он продолжал лежать, не двигаясь, ничем на ее слова не отзываясь, – руки за голову. Ситуация идиотская, сказал он себе. Довольно обидно девушке торчать в голом виде невостребованной. И оборвал себя: нет и нет! Перетопчешься... Утром отвезешь ее в...

– Я только темноту ненавижу, – сказала она. – Темнота – враг глухого. Наверное, она как-то замедляет звук. – И вдруг спокойно, легко проговорила: – Я понимаю, ты брезгуешь... Но знаешь, я – чистая. Я никогда не болела разными там... гадостями. Когда в Рио, в фавеле, меня изнасиловали и изрезали два ублюдка, я очнулась в госпитале после наркоза, и первой мыслью было: они меня заразили... Но – пронесло! Просто повезло, понимаешь?.. Правда, потом у меня был выкидыш. Михалька, моя подруга, сказала – какое счастье, ты бы не вынесла: родить этого проклятого ребенка и видеть – на кого он похож, и думать – куда его пристроить... А я очень плакала тогда – от жалости и горя. Я вовсе не считала, что этот ребенок – *проклятый*. Это ведь был бы *мой* ребенок, только мой, и он ни в чем не виноват, правда? Я бы его все равно любила...

Он молчал – а может, что-то и говорил? – в темноте она не видела лица.

Нет, он молчал, просто не мог проглотить ком в горле, лежал, пришибленный. *Кто ее послал ко мне – (пытаясь проглотить этот ком), – зачем мне все это слышать с моей долбаной биографией, суки, суки, с-с-суки!!!*

– Просто по ночам бывает невыносимо страшно... Ну, я и прикинула: может,пустишь меня полежать рядом, все равно ж ты не спишь? Просто полежать... – и вдруг встрепенулась: – Ты, наверное, решил: если у меня на голове вши, то и там – тоже? Это неправда, но если хочешь, я и там побрею.

Он чуть не взвыл от физической боли в груди. Господи, сколько же ее топтали, били-резали... и что ж надо было сотворить с этой девчонкой, чтобы...

Откинул простыню и сказал отрывисто:

– Ныряй!

Она увидела, как взметнулся край простыни, бросилась к нему, юркнула в постель, доверчиво растянулась рядом – вероятно, впервые за эти месяцы не на полу в курятнике у Дилы, не на пляже, а в согретой живым существом постели...

– Ой, тепло-о... – пробормотала. – Ты горячий, как грелка.

Обняла его за шею и сразу *услышала нутряной вой* такой натянутой струны, такой натянутой – только тронь! Подумала – вот бедняга...

– Вообще-то, – буркнул он, слегка отодвигаясь (уже побежденный, уже беспомощный, уже катящийся в сладко пульсирующую бездну), – учти, я не привык к этим коммунальным братским постелям... Боюсь, не смогу выглядеть э-э... джентльменом.

– Я уже чувствую, – сказала она безмятежно и просто, как волна, окатила его ладонью от горла вниз, легко и нежно огибая препятствия.

От неожиданности он подскочил и заорал:

– Смирно лежать!

– Почему? – шепнула она, встав на колени и бережно укладывая его назад, как мать – проснувшегося с плачем ребенка... – Ну почему... почему...

И, как волна, накрыла его с головой покрывалом из тысячи пальцев и губ...

Его оглушила глубокая и полная тишина, точно он нырнул в расщелину рифа и продолжал погружаться все глубже, рискуя не вынырнуть никогда.

Лишь безмолвная нежность глубинного течения ворочала его и ритмично качала и, тихо его обнимая, шевелились бескрайние поля змеистых водорослей – так долго, так томительно долго, так бесконечно долго, так ненасытно долго... – что он не верил собственному телу. И, как бывало под водой, на исходе задержанного, запертого дыхания, на взлете невесомого тела, пропарывающего слизистую стихию с легкими, исполненными умирающим воздухом, он испытывал мощный всплеск эйфории, наркотический транс улетающего сознания, блаженный экстаз перехода из бездны в бездну...

Самым потрясающим было: ее руки, их прикосновение; их легкое слушающее касание. Эти руки говорили, спрашивали, убеждали, склоняли, требовали... Они вытягивали, извлекали из его тела только им внятный смысл, исторгнутый спаянной сиамской глубиной; несколько раз прикосновение ее рук казалось таким проникающим, что он пугался: а не услышит ли она его мысли... – которых, впрочем, и не было, как не бывало их на глубине...

Раза три он поднимался на палубу, где ровно и свежо тянуло ветром и под бледнеющим сводом мерно катились серебряные гребни по черной акватории. Гребень скалы неподалеку круглился двумя кучерявыми холками, двумя няньками, баюкающими в седловине-колыбели лимонную луну.

Я сошел с ума, смятенно думал он, отирая ладонью пот, катящийся по груди, я спятил, это во сне творится, так не бывает... – и вновь возвращался к ней, уже засыпающей, будил, тормозил, погружался и плыл, выплывал, уходил, настигал, задыхался, выныривал...

Ночь казалась бесконечной, невесомой, пронизывающей, безмолвной; кажется, они не сказали друг другу ни одного слова, а мускулистая ловкость и совершенная, родственная слаженность их тел существовали сами по себе и были как бы понимающимися в любом повороте, слиянии, скольжении и обморочном спазме наслаждения, так что раза три он ловил себя на диком ощущении любовных объятий с самим собой...

...Под утро Ая уснула – внезапно и окончательно, будто навсегда. Только что ладонь была отзывчивой и властной на его бедре... и вот уже вяло скользнула вдоль тела. Она откинулась на подушку и всем существом в один миг ушла в темную воду рассветного сна. Кончилась ночь...

Он освобождено вздохнул – раб, отпущенный на волю; господин, отпустивший на волю любимого раба; поднялся и накинул рубаху на тело, взмыленное, как у скакуна на последнем фарлонге дистанции. Оглянулся на кровать...

Ая спала, откинув голову на подушку.

Минут десять он неподвижно стоял над ней, будто получил задание на запоминание. Отметил, что левая грудь чуть меньше правой – не явно, а вот как у близнецов бывает, когда второй ребенок, в точности такой, как первый, неуловимо более робок и всегда и во всем как бы догоняет старшего. Моя амазонка... А брови изумительные, *ласточкины*, опять подумал он; когда закрыты глаза, в лице проступает нечто античное и царственное: лицо с «фаюмского» портрета.

Он укрыл ее простыней, помедлил... добавил тонкое одеяло – рассвет принес свежую тягу ветра – и поднялся на палубу.

Минут пятнадцать стоял там, остывая, проникаясь наступающим утром, глядя, как сизое небо с каждой минутой выпивает из моря синие соки дня. По горам стекал зеленый шелк рассвета. В отдалении – пунктиром – шли на лов несколько рыбацких лодок, под навесами мелькали черные головы. На пустом берегу бесхозными тушами громоздились островки камней, как утопленники, выброшенные волной на берег. Черная масса густой поросли на холмах, с вымпелами высоких пальм, казалась спящей. И только

лампочки над входом в ночной бар продолжали вяло пульсировать – их забыли выключить...

В который раз в своей жизни он не понимал – что делать дальше, как быть – с ней, с собою... Эта бродяжка, столь на него похожая внешне, была благородней, чище и в сто раз трагичней его, как бы там он ни лелеял свои душевные порезы и прочие царапины. Она была настолько значительней его, что попросту не уместилась бы в его жизни – в двух ее, столь разных, ипостасях: в кропотливой работе и жестком расписании артиста и в его тайной многоликой оубодоострой *охоте*, в которую он не собирался пускать никого...

Она, со своей неукротимой тягой к передвижениям, просто сникнет, заставь он ее торчать всю жизнь в его парижской квартирке. Спустя неделю, ну месяц, она выскользнет на рассвете из дома по улице Обрио, и тогда – сказал он себе, – тогда уже твоей смертной тоски ничем не перешибешь. Да ты просто не вынесешь *такого поражения* – во второй раз. Ты околеешь.

Значит, решено: благодари судьбу за эту ночь, незаслуженный тобою щедрый подарок. И отвези эту девушку в Краби...

Он спустился вниз и дотошно обыскал ее рюкзачок. Поразительное убожество, если не считать великолепной камеры, двух линз и новенького лэптопа с набором съемных дисков. Полнейшая нищета... Два паспорта, британский и казахстанский, *два веселых гуся*, перехваченные резинкой. И такой же конторской резинкой перехвачена парочка тощих селедочек – ее старые коричневые сандалии. Впрочем, вот еще завалились в очередном кармашке затертые водительские права на имя Камиллы Робинсон – самого подозрительного вида, с самой замыленной на свете фотографией. Подобрала потерянные? Стянула у бедной Камиллы?

Странно, она ведь рассказывала о своих выставках в каких-то галереях, о работе в каком-то рекламном агентстве... Видимо, все это было в прошлой жизни, и она здорово пообносилась, пока болталась по азиатским задворкам шарика.

В самом маленьком кармашке рюкзака он обнаружил сложенную раз в восемь давнюю, частично распавшуюся на сгибах, отправленную в Лондон телеграмму: «Скончался желтухин третий тчк грустно тчк папа». У Леона мелькнула мысль, что он и сам позаботился бы о такой старой телеграмме, если б посылал на задание своего «джо». Зачем-то по привычке дважды пробежал глазами адрес отправителя и хотя сразу приказал себе: выкинуть из головы, никаких зацепок, никакой тебе пощады, сукин ты сын! – разумеется, намертво запомнил.

И, как она, внезапно обессилев, прилег рядом «на минутку» – одетый, готовый сразу же вскочить, умыться, включить дизель, вытянуть колышки и, оттолкнувшись багром от камней, отчалить... – и провалился в сон.

Когда часа через три открыл глаза, в тонированные окна «пенишета» уже ломилось солнце. Аяя спала в той же позе и, кажется, могла так проспать еще очень долго, если б дали. Нет, пора ее будить, с сожалением подумал он, и когда, моргая и щурясь, она села, уронив на колени простыню, спросил, улыбаясь:

– А эти милые разлученные грудки... они у тебя росли наперегонки?

Он не стал отирать ее слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался, склоняя голову то так, то эдак... Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и со спокойной уверенностью заметил:

– Они сравняются. Когда наполнятся молоком.

* * *

Уже в открытом море подался на ее уговоры и дал «порулить», показав, как тормозить в воде: плавно сбросив обороты дизеля, перейти на «нейтралку», после чего – дать задний ход и вновь – на «нейтралку». Просто, как в танке.

Велел не трогать красную кнопку корабельного гудка на приборной доске – сигнал тревоги... И когда убедился, что она неплохо справляется, успокоился и раза три даже отходил минут на пять. По крайней мере, сейчас не нужно было привязывать руль и мчаться в галюн, чтобы отлить, – что ни говори, большое удобство. Эх, забыть бы сейчас обо всем и – безумие, конечно! – вправду махнуть с ней куда-нибудь подальше вдвоем. (Любой случайно вспыхнувший в памяти миг минувшей ночи вскипал у него в груди какой-то горько-веселой, пьянящей пеной, что растекалась и отзывалась в каждой мышце.)

– Так что там сдохлым удавом? – спросил он, стоя у нее за спиной, обнимая ее и заодно приглядывая за постом управления. От нее пахло его собственными духами, которыми она щедро с утра попользовалась (вообще, девочка неплохо освоилась в парфюмерных закромах его скромного несессера). Надо ей купить в аэропорту какие-то приличные духи, отметил он.

– Что ты там вынюхиваешь у меня за ухом? – поинтересовалась она. – Ты меня сейчас задушишь.

– Так я же удав, – отозвался он, – хотя идохлый. А кстати, что с ним произошло, что за трагический исход?

– «Пресытился днями своими», – серьезно пояснила она. – «Ушел к праотцам». Нет, правда: старый был. После представления сразу засыпал, просыпался перед следующим... Когда-то был ого-го, в молодости чуть не удавил Макса, дрессировщика, много лет был главным номером программы, ты бы видел его: огромный красавец, медово-янтарный, изумрудные соты по всей шкуре, плавный, мощный, коварный... «Борьба с удавом» – номер назывался. Макс изображал Лаокоона без сыновей... Потом удав постарел, вот и все. Знаешь, наверное, и с людьми бывает: в конце концов ты мечтаешь, чтобы все тебя оставили в покое и перестали с тобой бороться.

– А где все это происходило? На Северном полюсе?

– Почти. В Эдинбурге, мы там гастролировали. Ну и – сам понимаешь – в Шотландии удавы не на каждом дереве живут. Макс от горя чуть сам не умер. Во-первых, жалко, близкая душа. Во-вторых, к черту гастроли... Что делать? Так он придумал держать удава в холодильнике на верхней полке, чтобы не засмердел. Чтоб каждый вечер – на арену, как ни в чем не бывало.

– Мечта любого артиста – воссоединиться с публикой после собственной кончины, – усмехнувшись, подтвердил Леон.

– Вот и Макс продолжал бороться сдохлым удавом.

Он не без удовольствия отметил, как точно она отзывается всем его репликам, с каким ненатужным юмором вставляет там и тут словцо, будто со стороны наблюдает ситуацию... и как же ему замечательно с ней – *оказывается, не только ночью* – и как странно, что при таком диковатом образе жизни она совсем не похожа на безумицу...

– Но однажды Макс запил, и Кирюша, директор труппы, предложил мне его заменить – опасности, мол, никакой, удав не проглотит... только тяжелый, сволочь. А было эффектно: выходит девушка в блестящей тунике и начинает ворочать на своих хрупких плечах кольца удава – того перед спектаклем тоже покрывали таким грим-блеском. Короче, гастроли прошли нормально. Никто из публики ничего не заметил. – Она повторила задумчиво: – Никто не заметил. В жизни тоже: кое-кто продолжает карьеру Лаокоона, делая вид, что удав еще живой... Знаешь... – продолжала она, с удовольствием ощупывая ладонями штурвал, – классная вещь – такое вот маленькое послушное судно. Это ж бог знает куда можно укатить! Я никогда еще на таком не плавала.

– А на каком плавала? – уточнил он с улыбкой, предвкушая очередную сказку Шехерезады.

Ему нравилась ее манера рассказывать. Барышня говорила: «Интеллигентный человек принимает тебя не по одежке (одежка – вздор!), а по речи». Исходя из этого Айя вполне могла оказаться беглой аристократкой: за ее манерой говорить и рассказывать чувствовалась семейная муштра старой школы, видимо, бабка потрудились: правильные ударения, выдержанные паузы... И только руки-беглянки все рвались что-то подтвердить, что-то исправить, добавить, украсить...

– Я плавала на арабской рыбацкой лодке! – гордо и спокойно проговорила она.

– Что-что? – он засмеялся и ткнулся носом ей в ухо.

– Я работала евреем на арабской лодке в Газе, – повторила она серьезно. – Давно, когда еще Газу контролировали израильтяне.

Он умолк и глянул сбоку в ее профиль: Айя старательно ровно держала штурвал, старательно прямо смотрела перед собой. При этом совсем не была напряжена. А то, что она не способна ничего выдумать, он уже понял...

– Не понял, – сказал он.

Хотя, конечно, знал: в те времена пограничный израильский патруль действительно не выпускал в море арабскую лодку без еврея, так что многие арабские рыбаки нанимали безработных искателей приключений на период лова. Это она ему в точности и растолковала. Довольно выгодно: день работы – сто шекелей да еще рыбы немного.

– Вот как. Значит, ты и там успела побывать, – небрежным, почти безразличным тоном произнес он.

Она потерлась бритым затылком о его щеку и сказала:

– Ага... Я же тебе рассказывала о Михальке. Она родом из кибуца на севере Израиля. Мы с ней в Бразилии встретились, она

там после армии гуляла, и так подружились, что потом уже всюду были не разлей вода. И когда она к себе умотала, я скучала, скучала по ней... Потом взяла билет и прилетела! Свалилась на голову. Думала – дней на пять, а прожила там полгода.

– Почему? – спросил он нейтральным тоном.

Она помолчала. Пожала плечами:

– Да просто! Просто там хорошо... Очень мое место, особенно Галилея. Немного похоже на Алма-Ату, тоже – горы кругом... Короче, сначала я работала в кибуце у Михаль, на птичнике, потом перекочевала в один сельскохозяйственный кооператив под Ашкелоном – собирала там виноград, укладывала в ящики...

* * *

Жгучая работенка была, с избытком витамина D. Торчишь на солнце до полного обугливания шкуры...

Однажды они с ребятами сидели на мешках под натянутым зеленым тентом, отчего кисти крупного зеленого винограда казались небывалыми плодами, раскрашенными каким-нибудь Гогеном, рвали руками свежие теплые питы, принесенные студентом Гошей из ближайшей лавочки, макали их в банку с тхиной и заедали виноградом – не худший обед на свете... Вот тогда кто-то из ребят лениво сказал, что арабы ищут еврея на лодку. И то ли к тому времени она объелась виноградом и ее на рыбное потянуло, то ли понадеялась, что в море легче жара переносится... Записала на использованном проездном номер какого-то мобильного, к полудню о нем забыла, а вечером нашла выпавший из правой туфли проездной и позвонила.

Это оказалась семья арабских рыбаков из Газы. Их было семеро братьев, дружных, молчаливых...

Семья жила морем. Заправлял всем отец, старый Халед, беспрекословный авторитет у сыновей. Он и улов распределял, как и свой огромный четырехэтажный дом: этаж – женатому сыну, пол-этажа – неженатому. И был очень строг: приказал довольствоваться лишь одной женой и держаться подальше от Хамаса. Изъяснялась с ними Айя немного по-английски (они знали пару-другую слов), через неделю стала чуток по-арабски понимать: слово там, слово тут... А что там особо понимать: сеть – «масида»; бросай – «итарахи»; вытягивай – «исхаби»; помоги – «ис'ади»; ты хорошая девушка – «инти-шаба мниха»...

В море выходили с шести утра через контрольно-пропускной пункт. Там к ним сразу подходил катер военной полиции: проверка документов... И тут пригодился старый, но годный Михалькин паспорт – она когда-то его потеряла, получила новый и вдруг обнаружила пропажу в прошлогодних джинсах. На фотографии они были не то чтобы сильно похожи, но однотипны: обе стрижены под мальчика, обе с пирсингом, причем в одних и тех же местах: бровь, ноздря, нижняя губа. Этот пирсинг и сбивал с толку; в черты лица никто особо не всматривался. Да она вообще изображала глухонемую, а уж шляпа с полями на ней всегда была нахлобучена по самые брови...

И разверзлась вокруг такая ядреная, взалхлеб, синева, что кожа становилась оранжевой: блеск нестерпимый, синий безжалостный блеск...

Лодка у них – метров семь была, палуба открытая. Рыбаки бросали сеть, в которую попадалась вначале всякая шелупонь – крабы, мелкая рыбешка. Если впереди по носу появлялся косяк рыб, его обходили сетью. Бывало, что шел локус – это, считай, везучий день выпал: локус – рыба большая, дорогая, до метра в длину, и весит пятнадцать, а то и двадцать кило... Но и сардины – тоже удача...

Иногда выходили в ночь целой флотилией в пять-семь лодок. И это уже совсем другой лов: надо застыть, замереть и выждать. Поэтому все укладывались спать прямо на палубе... На носу факелы горят, пламя мотается на ветру, как огненная тряпка с траурной каймой. Черная гладь моря, и на ней – огни, огни... Может дождь припустить, и тогда вода вскипает седой дрожью... Лежишь на корме, накрывшись с головой какой-нибудь курткой, и одним глазом видишь, как за кормой пузырится вода от мотора. Вокруг – фосфорическое, дьявольское свечение моря, на тебя катят фиолетовые валы, и ты лишаешься прошлого, и забываешь – что там случилось с тобой пять, десять лет назад. И какие такие Апортовые сады были в твоей жизни. Одно только море, волны, сильные фигуры молчаливых рыбаков... А еще – летучие рыбы! Огромные крылья! Выскакивают перед лодкой на высоту в метр-полтора и летят метров сто... Ловишь их голыми руками, а они тебе влетают то в голову, то в живот...

Когда она что-то рассказывала, ее пыльные руки, и сами чем-то похожие на летучих рыб, не удерживались на штурвале, взлетали, мелькали, кружили, охватывая целый мир – волны, рыбаков, старые чиненные сети... Леон, стоя у нее за спиной, то и дело перехватывал штурвал.

– Ты не устала? – спросил он. Почему-то захотелось, чтобы она ушла от его опасных берегов, вернулась в мирное Андаманское море, рассказала о чем-то другом. Ему вообще неуютно становилось от этих рассказов, будто он боялся услышать что-то о ней такое, что, как вчера ночью, могло лишить его равновесия.

Почему этой девушке так легко, с первого слова удавалось проникнуть в сердцевину его всегда запечатанного нутра, почему он не мог и не хотел уклоняться от этих болевых касаний? Почему с минувшей ночи ему так хотелось вновь и вновь, нащупав тонкую нить ее шрама, разглаживать его – будто неумолимыми прикосновениями можно навсегда растворить беду в беспамятстве счастья?

Он уже высчитывал время пути, сознавая, что они все ближе к расставанию. И не понимал – не понимал! – почему она ни словом об этом не обмолвится. Не спросит ничего, не попытается выяснить и дознаться... А вдруг, сказал он себе с внезапной тревогой, вдруг она молчит именно потому, что уверена: отныне они – навсегда, навсегда?.. Как и ты был уверен – там, в милом доме, распластанном на скале, в ночь, исхлестанную плеткой молнии, – когда лежал в «норе», улыбался самому себе и повторял это самое навсегда-навсегда?.. Он стоял за ее спиной, прижавшись ще-

кой к ее бритому затылку, обнимая ее не только, чтобы она его слышала. Все его существо сейчас тянулось вжаться в нее и нигде не отпустить: навсегда, навсегда... Стоял и думал, как странно разбегались, так близко приближаясь друг к другу, ниточки дорог – его и этой девушки. Ниточки судьбинных шрамов, заштопанных такими разными иглами.

А она вроде бы чувствовала себя спокойно и свободно. Казалось, любое упоминание – о чем бы то ни было – вызывает очередной эпизод ее пестрой и плотной жизни, такой многослойной и обоюдоострой, как если бы все байки и рассказы Владки кто-то собрал воедино и заставил его прожить их сейчас, вместе с Айей. Он просто не мог ей не верить: ни одна разведка в мире не могла бы все это сочинить и утрамбовать в единственную жизнь, да еще такой молодой особы. Никому бы в голову не пришло соединить все истории в одну судьбу, да и зачем? И рассказывала она спокойно, улыбочиво, с точными скупыми комментариями, с необходимыми уточнениями – вскользь, но в самое яблочко. И потому он ей верил: Желтухин их повязал, дядя Коля-Зверолов и «Стаканчики граненая»...

* * *

«Пенишет» они сдали на удивление гладко: уже на причале дружно, в четыре руки прибрали на судне, выбросили мусор, Леон за три минуты уложил свой чемодан, а Айе в ее рюкзачок и вообще-то складывать было нечего.

На дорогу он выдал ей свои лучшие итальянские джинсы, которые сидели на ней как влитые, голубую майку и темно-синий свитерок «унисекс», с круглым вырезом под шею («Это все – мне? даришь?! Нет, правда?! Какой ты добрый...») – все это, лучась от благодарности, так что хотелось биться головой о стенку). В Европе, куда она якобы намеревалась лететь, температуры сейчас были довольно унылыми. «Надо бы тебе обувь купить по погоде», – озабоченно заметил он. Она глянула на свои ноги в пляжных сандалиях, пошевелила большими пальцами и засмеялась...

В аэропорт добирались на автобусе и всю дорогу молчали, хотя держались за руки, как дети. И руки уже не скрывали ожидания разлуки: переплетались, спорили, умолкали в томительной ласке и вновь, оживая, панически сплетали пальцы в нерасторжимый замок.

Неужели она решила избавить его от всех своих внезапных, как выпад шпаги, «почему»?

Она – беглянка, твердил он себе в холодном отчаянии. Это болезнь, она неизлечима, ты же знаешь. Не дай себе пропасть: ты сдохнешь, обнаружив однажды пустой дом. И не однажды, а через месяц, самое большее – через год! Это в море легко, на кораблике, под зелеными звездами, среди кудрявых башковитых гор... Она такая сложная, с грузом всей ее жизни... Ты просто не вытнешь! Так скажи себе, наконец, что ты – артист, ты – Голос и себе не принадлежишь. Ты знаешь по своим хмурым утрам, по нервному молчанию в дни спектаклей: не всегда хочется ежеминутно предьявлять свое лицо даже самому любимому человеку; и не всегда хочется, чтобы тебя обнимали даже самые любимые руки.

Совсем некстати он вспомнил, как после спектаклей к нему в гримерку прокрадывалась Николь, двигаясь, как в наркотическом трансе, и когда он, усталый или не в духе, резким движением плеча сбрасывал ее вкрадчивую ладонь, только виновато улыбалась: о, настроение артиста – это такая тонкая вещь... Уверяла, что даже ночью ее преследуют волны его голоса. Подумал: Айя?.. Она ведь никогда, никогда не сможет услышать ни одной моей ноты. И – задохнулся; и презрительно, будто вслед самому себе плюнул: хорош гусь!

– Тебе нужны еще деньги? – спросил он.

И она воскликнула, воодушевленно раскрыв глаза:

– Что ты, шейх! Ты и так на меня потратил все нефtedоллары Саудовской Аравии...

В аэропорту у касс она замялась, выбирая направление. Может, к отцу смотаться? Давно не виделась... Или в Лондон? – в рекламное агентство Джеймса Беринга ее примут с распростертыми, но это такая скука...

– Купи мне билет до Бангкока, – сказала, наконец, – а там увидим. Тормозну у друзей на недельку-другую, подработаю. В крайнем случае перехвачу у них денег до Лондона...

(Нет, ни в какой такой Лондон ехать она не собиралась: слишком нервной была ее последняя тамошняя неделя; слишком быстро приходилось ей сматываться из паба через подсобные помещения, заведев кое-кого на ступенях входных дверей; слишком хорошо она помнила суровое лицо Большой Берты, возникшей, как скала, в кухонной пристройке, где Айя набирала в ведро кубики льда, и отрывистую ее немецкую речь, в которую Айя мучительно и обескуражено всматривалась... Слишком впечатлили ее пожелание Берты «никогда больше не возвращаться в этот дом!» и ее «Наи аб, Мädel!» (девчонка, улелетывай!) – и жесткая рабочая рука, оставившая в ладони девушки пятьсот фунтов – огромные, между прочим, деньги для Большой Берты!

Нет, вот уж в Лондон Айя совсем не собиралась...)

Леон вытащил из банкомата тысячу долларов по сотне, свернул трубочкой и молча закинул ей в карман джинсов. Она поймала его руку в своем кармане, прижала к паху, что обожгло его, напомним о минувшей ночи... (О минувшей ночи он думал каждое мгновение, все неотвязней, все заплотней, чувствуя холодок внизу живота, как бывало в детстве перед выходом на сцену.)

– Зачем, зачем... – твердила она, пытаясь вернуть ему деньги. – Я и так тебя разорила!

– Не пори чепухи, – сказал он мрачно. – У меня навалом денег. Я их горы напел.

И она благодарно рассмеялась своим медленным хрипловатым смехом:

– Тогда – гуляю!

В ней ни капли этих условных светских рефлексов, подумал он. Николь за любой подарок непременно чмокала в щеку. И с удивлением отметил, что эта вообще не слишком щедра на – как это Барышня называла? – «зализы бакенбардов». А на людях так вообще очень сдержанна.

До выхода на посадку ей оставалось часа полтора, и она оживленно повторяла: «У нас куча времени!» В толкотне аэропорта она еще больше *замедлилась*, вообще не спускала глаз с его губ, чуть забегаая вперед, когда шли рядом. Видимо, прикосновения помогают ей *слышать* собеседника только в спокойной обстановке, догадался он; господи, как же она работала в этих самых барах, где дымная пелена, толкотня у стойки и каждый требует своего напитка? Как она работала в венском кафе, плохо понимая немецкий? И вообще, чего стоят ей эти постоянные усилия *быть как все*, сколько же мужества, сколько силы ей требуется, чтобы...

Надо *скоренько* посадить ее в самолет, оборвал он себя, слышишь ты, говнюк? – тебе надо скорее от нее *избавиться*, не то у тебя неизбежно возникнет второй «синдром Владки», а тебе, с твоей жизнью, не хватало только ответственности за еще одного трудного ребенка!

– Правда, слушай, у нас еще куча времени!

– Ну тогда пойдем, Вечный Жид, покормим тебя перед дорогой...

Он завел ее в кафе, усадил за столик и отлучился в туалет...

Когда вернулся и не увидел ее там, где оставил, – испугался так, как в жизни не пугался, даже в самые страшные моменты своей, мягко говоря, *не кабинетной* карьеры. У него просто свело живот от страха! – забавная реакция человека, собирающегося избавиться от случайной девицы, с которой провел единственную, хотя и – да! – восхитительную ночь.

Вдруг увидел ее возле стеклянной витрины-этажерки в углу зала, вернее, себя увидел: джинсы, майку, бритую голову. Она выбирала десерт... И вновь накатило жутковатое чувство: будто он должен куда-то отправить самого себя, проститься с самим собой, от себя – отречься.

– Я заказала тебе апфельштрудель, правильно?

Он стоял и смотрел на нее во все глаза.

– ... Потому что ты заказал его там, в Вене. Я помню!

Потому что я заказал его в Вене, да... Вот кто стал бы моим идеальным агентом: невероятная наблюдательность, великолепная визуальная память, отличные мозги, умение читать по губам...

Никогда, ни за что в жизни! Лучше усрать ее на Северный полюс, пусть пингинов там фотографирует. Пусть борется сдохлым удавом.

– А себе взяла фруктовое мороженое...

Она села за стол, вытащила из рюкзака свой лэптоп, обстоятельно обустроилась...

Как ни странно, в этом кафе, на отшибе аэропорта, в одном из дальних рукавов к выходу на посадку, было спокойнее, чем всюду, и довольно малоллюдно.

– Слушай, ты ведь так и не видел мои рассказы! – воскликнула она. – Даже обидно. Хочешь глянуть?..

– Ну конечно, давай посмотрим... – без энтузиазма.

Ему сейчас не до фотографий было.

Лэптоп она содержала в идеальном состоянии. Принцип матрешки: на рабочем столе несколько папок, в них, как улы на пасе-

ке, – множество ячеек, в которых роились – видимо-невидимо! – цветные и черно-белые пчелки-снимки, при увеличении выплывавшие на экран в тонких черных рамках.

– Ого, – заметил он. – Мощная у тебя штука.

– Навороченный, – сдержанно согласилась она. – Подарок Фридриха. Он меня так в Лондон заманивал, во второй раз. Ну... что бы тебе показать? Вот смотри – заготовки к выставке «Человек Азии».

По экрану помчались-понеслись цветные пчелки (а еще это было похоже на стаи пестрых крошечных рыб, выпархивающих из губчатых складок кораллового рифа); проносились быстро-быстро, словно она, Айя, могла разглядеть и выбрать на такой скорости какую-нибудь одну. И действительно, выхватила в этом вихре некую смысловую опору, начало темы... Остановилась.

– Только не умри от ужаса, – предупредила. – Это я снимала здесь, на Пхукете. Их ежегодный веганский фестиваль, Тхесакан Кин Че. Они десять дней не едят ни мяса, ни рыбы, зато ходят босиком по раскаленным углям и шляются по улицам в таком виде, что можно сдохнуть, если нервишки не в порядке. Калечат себя, как только могут. Прокалывают лицо и тело всякими немислимыми штуками... Ты бы в обморок упал!

Леон улыбнулся: видимо, у нее сложилось свое мнение о степени его чувствительности.

– А ты не упала...

– Я – профессионал, – возразила она без улыбки. – Могу и казнь снять, не моргнув. Просто буду думать о ракурсе, об освещении, о глубине зоны резкости... Хотя сблевать иногда очень даже хотелось. Потрясающие увечья! Ну, смотри... Можешь закрывать глаза, когда будет страшно.

Она щелкнула по первому снимку, и на экран выплыло истекающее кровью лицо, проколотое шампурами по всем направлениям так, что черты лишь угадывались за металлическим частоколом: щеки, губы, брови, уши – гигантское подобие оцетинившегося ежа.

– Ого!

– Ну, это цветочки. Там дальше такое...

И действительно, вслед покатались, выплывая и заливая экран потоками крови, картины чудовищных самоистязаний: в дело шли иглы, копыя, топоры, мачете и даже пилы... Откровенно, ясно, рвано – чертовски больно смотреть!

– В Европе это должно иметь грандиозный успех, – сухо заметил Леон. – Ты прикасаешься объективом к открытой ране.

– Еще бы, этой выставки давно ждут в галерее Jetty.

– Отчего же ты?..

Она сердито мотнула головой, не потрудившись ответить. Нахмурилась: *Лондон. Недостижимый Лондон*. Внезапно захлопнула папку.

– Нет, не то, погоди! Наоборот хочу. Глянь лучше вот это: мои спасители...

И поплыли по экрану светлые доверчивые улыбки даунов – и молодых, и пожилых людей...

– Это тоже – коллекция? – спросил Леон. – Ты их специально разыскивала?

– Да нет, конечно... Просто однажды в Лондоне, когда мне было ужасно хреново, ну... совсем плохо, понимаешь, и я даже ду-

мала, что лучше бы мне... Но папа... он бы не пережил. Короче, я пошла и нанялась на фабрику по производству мороженой пиццы. Подвальный цех: как спустишься – сначала такой полумрак, с улицы не сразу освоишься. Но главное, вижу – все мне приветливо улыбаются. Другой мир в этом кошмарном городе, понимаешь? Подземный мир улыбок. Спасительный Аид. Минут через пять разглядела, что все они поголовно – с синдромом Дауна. И мне стало так смешно, и так грустно, и так с ними... уютно. Ну а назавтра пришла с фотиком и нащелкала их, всех и каждого. Там, понимаешь, все были счастливые. А я – больше всех. Потому что спасает только работа. Только твое дело. Вот. Этот рассказ называется «Улыбка спасителя».

Он сидел и смотрел на экран, с которого ему доверчиво улыбался даун Саид из Азари... Вот еще Саид, и опять Саид, и опять его улыбка: «Ты всегда мне будешь рассказывать интересные истории?» – что, в общем, объяснялось довольно просто: общими характерными чертами внешности людей, больных этим синдромом.

И опять подумалось – откуда ты взялась, мучительница, для чего обрушилась на меня с этими своими фотографиями, своими историями, своей пронзительной судьбой, с этими убийственными «почему»?! И почему, почему, почему мы с тобой оказались так странно, так многострунно, так невыносимо связаны!

У нее совершенно менялось лицо, когда она сидела напротив экрана и гоняла снимки, как голубей, вспугивая их нетерпеливой рукой или – нежными прикосновениями «мышки» – разглаживая тот или этот... Щеки втягивались, очерк скул становился аскетичным, взыскательно направленный взгляд сгущался до остроты пера. Ничего мягкого, ничего юного тогда не оставалось в ее лице: жесткий требовательный прищур профессионала.

Циклы снимков она называла «рассказами», и, как в библиотеке, каждый лежал под своей обложкой и помещался на определенной полке – огромная библиотека, созданная ею в ее странствиях по свету. Настоящее богатство, подумал он. Невероятно!

Им принесли заказ на пластиковом подносе, но Айя нетерпеливо отодвинула его от компьютера.

– Обидно... хочется многое тебе показать, а время тикает... Ну, вот, островные сценки, тоже на две хороших выставки: Дила в гамаке, песню поет... Кажется, гамак качается, да? Я ракурс поймала: у нее рот открывался в такт движению гамака. Главное, ее знаменитое платье, как чешуя в свете луны. И луна качается, смотри, как удачно снято – через сетку гамака: плененная луна. А здесь у меня мильён кадров с Праздника ушедших предков.

– Похоже на первобытную оргию, – заметил он. – Ночь, факелы... Какие-то камни...

– ...Это надгробные памятники, кладбище. А ритуал прост, как дискотека: все танцуют на кладбище, и все вусмерть пьяные. Так они предков поминают.

– ...Они, случаем, не каннибалы? – хмыкнул Леон.

Она засмеялась:

– Да что ты, это же морские цыгане, очень мирные люди. Народ «шао-ляй».

– Так они – что, не тайцы? – он подался ближе к экрану, проворчал, рассматривая: – Да, другой тип лица... Более острые черты, прямой разрез глаз.

– У Дилы две версии их происхождения, – пояснила Айя.

Она на дикой скорости пролистывала десятки репортажных кадров, выводя на экран лишь некоторые, на ее взгляд, особенно выразительные.

– ...И обе мне нравятся. По одной версии, они прибыли из Малайзии лет триста назад. По другой, их предками были португальские пираты. Эта эффектнее, да? Я так и назвала рассказ: «*Морские цыгане, потомки пиратов*»... – и самой себе проворчала под нос: – Здесь еще куча работы, сырой материал, из которого...

– Но они – буддисты? – неожиданно перебил Леон, вдруг вспомнив Тассну.

– Нет, мусульмане, – отозвалась Айя. – Но такие, стихийные. У них до сих пор все в кучу свалено: семейные духи, Аллах, Будда, племенные божки...

– Ах, они мусульмане, – повторил он.

Отправил сообщение в некий умозрительный бокс, где хранились не только факты, но и догадки, и подозрения, и даже смутные тревожащие тени мыслей.

Итак, Тассна с Винаем мусульмане... Это пикантно: в доме Иммануэля, куда являлся цвет политической, разведывательной и прочей элиты Израиля. Это пикантно... И с какой стати все решили раз и навсегда, что они не понимают иверита? И где хранились их молитвенные коврики? Или они не молились...

Придвинул к себе чашку с кофе, разорвал пакетик с сахаром, высыпал, помешал ложкой, продолжая гоняться за напряженной и ускользающей мыслью. Значит вот как, хм...

– Нет! – сказала Айя. – Не хочу это – на прощанье! Я тебе лучше... – и помедлила, мысленно перебирая свои богатства. – Знаю! Вот что я тебе покажу. А ты угадай – где это.

И опять по экрану снизу вверх пузырьками воздуха взлетали целые стайки желтых папок, начиненные сотнями снимков-икринок. Наконец движение замедлилось: нужная папка была найдена.

– Вот! – торжественно проговорила девушка и щелкнула по конвертику.

Он мгновенно узнал это место – не только потому, что трудно отыскать более значимое в христианском мире сооружение, но и потому, что многие годы его окрестности были служебной вотчиной Леона. Да он и в темноте узнал бы каждый закуток, каждую колонну и ступеньку в Храме Гроба Господня; кстати, как и лицо едва ли не каждого монаха и священнослужителя.

– Этот рассказ называется «Опоры света», – проговорила Айя.

Одна фотография этого рассказа была лучше другой – уже готовые к выставке. И правда: опоры света, ибо снято солнечным утром и в полдень, когда световые столбы косо падают в гулкую утробу храма. Мощный луч из верхнего окна под крышей пронзает высоту, вернее, глубину бездонного колодца времени, и в этом луче, вылепленная солнцем и тенями – темная фигура монахини, ограненная светом с левого бока. Ее ослепительная щека в об-

рамлении черного головного платка, трагическая линия нижней губы, изломанная бровь.

Он сидел рядом, глядя в экран, – ничего не говорил, только тихо сжимал левую ладонь Аи, лежащую на его колене.

Да, он знал здесь каждый закуток, помнил многие лица, узнавал их на снимках: вот абиссинский монах Шуи в своей высокой темно-красной феске, торопится по освещенному солнцем переулку к двери в придел эфиопской церкви. Вот безжалостно высветленная ветхая лестница над дверью Храма, забытая каким-то рабочим лет пятьдесят назад. Вот горящая серебром на солнце невесомая борода армянского священника, ветхими пальцами перебирающего листы старинной книги. Вот путаница желтых язычков прерывисто-го пламени тонких свечей в круглом шандале у входа в Кувуклию...

Ая повернулась к нему с лукавым и требовательным видом:

– Ну, ты догадался – где это?

Он собирался сказать: «Понятия не имею...», но удержался, вспомнив, как, не спрашивая, она заказала ему его любимый афпельштрудель...

– Ясно, что храм. Но необычный. Может быть... в Иерусалиме?

– Точно! – радостно воскликнула она. – Это одно из самых богатых на рассказы мест на земле – Храм Гроба Господня. Я прожила там дней десять.

– Где? – не понял он.

– В Храме, – просто ответила она. – Братство фотографов, понимаешь? Это как солдатское братство. Там один из греческих монахов, Георгиос, – очень неплохой фотограф. У него есть пара уникальных снимков в интернете, на нашем форуме. Мы и познакомились в интернете, я выложила свои работы, он мне написал. И когда встретились в Иерусалиме, подружились... Ходили по Старому городу, *охотились* вместе... И он разрешил мне остаться в Храме на ночь... Знаешь, в первую ночь я полчаса сидела одна в Кувуклии... Это было так странно! Мне чудилось: какие-то голоса пробиваются *ко мне, именно ко мне* – сквозь мою глухоту, будто она была частичкой молчания вечности... Как будто... она была мне пожалована, моя глухота, – ну, вроде привилегии у дворян, что ли (ты не смеешься?). Пожалована, как титул, – для более глубокого понимания, что ли... погружения... – ее говорящие руки захлебывались в словах, замирали в паузах, задумывались над тем, что она хотела сказать, бессильно падали на колени...

– Уф! Нет, не смогу я этого объяснить! Лучше просто *смотреть* рассказ... Вот, на рассвете я снимала молитву греков и после – молитву армян. Смотри, это было даже смешно: они притащили компьютер, расчистили тот шандал, где горят свечи за здоровье и упокой. Поставили на него комп, наладили скайп... и стали петь!

– А почему здесь написано: «Молчание Голгофы»? – спросил он и осекся: конечно, *молчание*... У нее же все происходит – в молчании...

А ваша минувшая ночь, *кретин ты этакий*, – разве она не произошла в молчании, ваша единственная прекрасная ночь, – в упоительном, бесконечном и исчерпывающем молчании двух непрерывно беседующих тел...

Он опять вспомнил, что сейчас она исчезнет, растворится в толпе; сейчас ее выметет ветром из его жизни... И за мыслью немедленно последовал гулкий обвал где-то внутри – он называл это «поддыхом». Нет, это черт знает что, подумал он в яростной досаде на себя самого – ты что, сдурел?

– А этот рассказ называется «Тишина восточного базара», – сказала она. – Могу только вообразить, какой там стоит вопль и гвалт – по воздуху: он такой... густой, как студень; густой от запахов специй, мяса, рыбы, хлебов... людских выдохов и, конечно, голосов, криков, зазывов, стонов и проклятий! Там арабские торговцы чуть не силой в лавки затаскивают: «Наташа, Наташа!» – все русские женщины у них «наташи», даже если говоришь с ними по-английски. Как-то чувт. Они вообще ушлые.

Перед ним проплывали мягко подталкиваемые ее рукой цветные лоскуты снимков – так кошка или собака носом подталкивает своих детенышей в нужном направлении.

Стена с целым рядом цветных арабских платьев – болбочущие, перебивающие друг друга голоса кумушек, вышитые золотыми и разноцветными нитками... Белая чашечка с засохшей на дне кофейной гущей, забытая на каменном столбе: еле заметны буквы древней латыни, выбитые чьей-то рукой две тысячи лет назад: «Стоянка десятого римского легиона...»

Глаза старика-раввина: все лицо в тени, а глаза попали в резкую полосу света от полуприкрытых ставней – пронзительный, невыносимый взгляд, переживший воинов того самого десятого римского легиона.

А вот отдраенной медью горят тарелки на голубой стене: столовка грека Косты на одной из кривых и узких улочек Старого города. Затрапезное заведение, одно из многих, – если б не экзотическое библейское блюдо, которое там подают: голубь, фаршированный рисом и кедровыми орешками, – едали, не раз едали у Косты его фаршированного голубя...

– Постой! – вдруг сказал Леон. – Верни предыдущую...

Снова на экран выплыл серебряный чан, доверху заполненный мелкозернистым, узловатым, колючим крошечком разномастных вещиц: янтарные, коралловые, бирюзовые, чернено-серебряные бусины, агатовые четки, кованые заколки, крошечные медные светильники, цепочки, кресты, и подсвечники, и маленькие бронзовые ханукии... Под фотографией надпись: «Лавка минувшего времени».

– Нет-нет, еще до этой... Там, где в разных руках – две одинаковые монеты.

– А-а! – протянула она одобрительно. – Это моя любимая. Если ты оценил, покажу ее *в настоящем виде*.

И вывела на экран тот же снимок, но в черно-белом варианте.

– Ты уже понял, что не каждая фотография имеет право стать черно-белой? – уточнила она. – Вот говорят: «Глаза не врут». На самом деле – врут отлично! О человеке врет все: одежда врет, прическа, даже лицо... Но руки – в последнюю очередь. И если на портрете «выключить» цвет, то с ним автоматически уходит все неважное, ненастоящее. И проявляется суть человека.

Леон молча рассматривал изображение на экране. В данную минуту ему было плевать – цветное оно или черно-белое. Ему вообще было не до художественных достоинств этого снимка. Он знал эти руки: и левую, сильную, мужскую, рабочую, со вздувшимися венами, и вторую – детскую, беззащитную, навсегда оставшуюся в *минувшем времени*... В каждой лежало по совершенно одинаковой старинной серебряной монете.

– Знаешь, в чем соль этого фото? – заговорщицким тоном спросила Айя и сразу же ответила: – В том, что это – руки одного и того же человека.

– Да неужели... – пробормотал Леон, мгновенно ощутив испарину: значит, не ошибся.

– Ну да! Постой, покажу исходник... Я ведь работала над снимком: *отсекла ему руки*... Вообще, это была впечатляющая встреча, знаешь... Ну где же эта чертова папка... А, вот!

Она щелкнула, погнала по экрану множество крошечных заплаток – как стаю пестрых рыбок в расщелине рифа, стаю пестрых рыбок, в которых только автор мог разобраться. Чуть замедлила их бег, удовлетворенно произнесла:

– Вот она. Поймала...

Леон молча впился глазами в фотографию...

Конечно, она разительно отличалась от того окончательного «рассказа», который был способен заморозить любой взыскательный взгляд. Но ценность *этой* фотографии была в другом: в дате. Снимок был сделан за день до убийства Адиля.

Живой, обходительный антиквар взвешивающим движением демонстрировал некоему импозантному господину (а тот заинтересованно слушал) две одинаковые серебряные монеты. Адиль любил этот фокус: вначале объяснить, как отличить фальшивую монету от подлинной, а после непременно уточнить, лукаво прищурив глаз, что в наше время фальшивая стоит дороже подлинной, будучи раритетом подделки двухтысячелетней давности...

Выразительную сценку портила, частично заслоняя, чья-то случайная смазанная фигура: крепкая спина в джинсовой рубашке, такой же крепкий затылок.

– Теперь понятно, – легко проговорил Леон, рассматривая знакомые витрины магазина, морщинистое лицо Адиля, его хитроватую улыбку, столь идущую хитрой детской ручке. – А кто это рядом с... торговцем?

– Так это же Фридрих... – и, поскольку Леон продолжал недолго молчать, укоризненно воскликнула: – Я тебе рассказывала: Фридрих, мой немецкий дядя, вернее, дед... Он как раз тогда оказался в Иерусалиме, и я его прогуливала. Он обожает все эти лавочки, ювелирки, антикваров... Готов шляться по всем свалкам до второго пришествия. А в той лавке мы вообще провели чуть не полдня: даже кофе пили раза три. Роскошная лавка была! Старичок, понимаешь, и коврами торговал... А Фридрих... это ж его тема – ковры.

– Я думал... – после паузы медленно проговорил Леон, преодолевая неистовый порыв тряхнуть ее, посадить перед собой и *допросить* по всем правилам. – Ты, кажется, говорила, что он –

немец? А внешность у него... не то чтобы слишком немецкая. Что-то восточное – в глазах, в скулах.

– Ну, он же и казах, – спокойно отозвалась она. – Наполовину. Как и я.

В гуле аэропорта возникла звуковая плешь. Просто у Леона заложило уши, на мгновение он оглох от смысла этого слова, от его простого очевидного смысла, от догадки...

– Ка... за-ах? – медленно переспросил Леон, выпрастывая свою ладонь из-под ее руки, пытаюсь унять взрыв довольно дикого ощущения: смеси ликования и отчаяния.

– Ну да, это ж длинная семейная история, – сказала она, словно бы отмахивалась от давно надоевшей чепухи. – Дед, война, немка там, в Берлине... их безумный роман. Такой телесериал, только взаправду. Ну и родился Фридрих... который потом-потом, сто лет спустя, разыскал нас. В Казахстане...

«Рызыскал нас в Казахстане...»

– ...Казахстан – второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение...

– ...В 1996 году в печати мелькнуло: Казахстан тайно продал Ирану три советских ядерных боеголовки...

– ...Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ, а после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон...

– Казах... – повторил он заворуженно. И, добивая тему, спросил: – Как же ты говоришь с ним? По-английски?

Она невесело усмехнулась, дернула плечом:

– Я с ним давно уже ни по-каковски не говорю. После некоторого происшествия... Но, вообще-то, знаешь, как он чешет по-русски! Как мы с тобой. Он же учился в Москве – давно, конечно. Ну, у него и жена русская. Елена...

Вот, собственно, и все, что требовалось узнать...

Секретарша в офисе компании Иммануэля утверждала, что Андрей Крушевич говорил по-русски, называя собеседника – «Казак». Девочка просто ослышалась, обозналась. Казак-Казах... Казах-Казак...

Да какая разница! От тебя требуется лишь поскорее сообщить кое-кому эту новость, пусть кое-кого по следу. Ты сделал огромное дело, и ты – частное лицо, ты – артист, конец маршрута...

Откуда же это обреченное чувство огромной потери? А вот откуда: оказывается, хитрый лис, ты, в глубине своих подлых потрохов, все же надеялся удержать при себе эту свою глухую находку! Вернуться, разыскать, схватить и бежать... Вот только – куда? Где бы вы оба могли укрыться?

Зато теперь ты ясно и здраво осознаешь, что просто обязан отвалить из ее жизни. Ты и так слишком близко подобрался к жерлу вулкана... Слышишь?! Вы с ней, с твоей глухой канарейкой, стоите на равно опасном расстоянии и от «Казаха», и от конторы...

Когда Айя сделала движение – погнать стаю цветных рыбок дальше, Леон протянул руку и накрыл ее ладонь.

– Погоди... – сказал он. – Мне нравится эта картинка. Так много деталей, столько... всяких диковинок. Хочется рассмотреть. Ты не могла бы мне ее подарить?

– Да ради бога, но в этой много мусора. Эта не имеет художественной ценности.

– Ну да, да: «Не каждая фотография достойна стать черно-белой»... А мне как раз интересен цветной мусор бытия... Я человек банальный и тоже обожаю барахло.

– Так что, перекинуть ее тебе? Давай адрес.

– Запиши сюда... – поколебавшись, он достал из кармана флэшку, такую крошечную, какой Айя еще не видала. Она восхитилась, покрутила ее в пальцах, сказала: «Похожа на лекарственную капсулу, хочется проглотить!» (он удержался от того, чтобы не ответить: «Для того и сделана»), вставила в один из портов своего ноутбука и... И лавка Адиля, со всем добром и коллекциями антиквариата, меди, золота и серебра, с книгой о сладостном пении райских птиц, помеченной экслибрисом Дома Этингера, с закладкой-фантиком на странице смертельной опасности, с двумя разными монетами в разных руках покойного антикара и с ценнейшей фотографией Казаха (да-да, «Казаха», а не «Казака» – вот для чего старая изуверка-судьба заставила тебя сделать крюк на маленький остров, вот для чего предъявила эту девушку, вот для чего, старая сука, окунула тебя в тишь и глубину ее объятий, а сейчас отпихивает тебя от нее ногой, как шелудивого пса, поскольку сейчас твое дело – десятое)... – да, именно: лавка Адиля вмиг перекочевала в мини-капсулу Леона, чтобы через считанные часы пуститься в свое стремительное плавание, размеченное лоцманами *конторы*.

– И тогда уж и другую?... – спросила Айя. – Настоящую, а то мне обидно... – и перенесла на флэшку черно-белые руки Адиля, в которых он, возможно, в последний раз в своей жизни держал две монеты императора Веспасиана.

* * *

– Что... пора? – чуть ли не весело проговорила она, проследив его взгляд, брошенный на табло полетов.

Как она ориентируется во времени, отрешенно подумал он, который время чувствовал селезенкой или чем-то там еще внутри. Объявлений она не слышит, часов у нее нет. Наверное, все продала за тарелку супа – там, на чертовом райском острове. И мысленно беспомощно заметался: ей надо было купить все, все – она не одета, не обута...

Объявили выход на посадку. Они выскочили из бара и направились в зал отлета, где на контроле ручной клади, с пластиковыми шайками (напоминавшими банные, только дырчатые) теснилась довольно длинная очередь.

– Так я пошла? – легко спросила она, глядя в его лицо, в его губы... Выждала секунду и сказала: – Ну... было классно, правда?

– Выучи какое-нибудь другое слово! – в тихом бешенстве на себя, на нее, бог знает на кого еще процедил он, не двигаясь.

И она с облегчением бросилась к нему, с силой обняла, толчками выдохнула в ухо:

– Спа! Си! Бо! Шейх!

Отбежала на пару шагов... Вернулась.

– Слушай... – неуверенно проговорила она, перетаптываясь с рюкзачком за плечами. – Не в моих правилах вешаться на шею, но... может, ты просто не догадался дать номерок телефона – иногда эсэмэску отобью?

Он покачал головой, вымученно улыбаясь.

– Нет? – пораженно уточнила она. – Ну да, у тебя же, у дурака, нет телефона. Ну... ну тогда – мэйл? Привет-привет или что-то вроде... раз в году?

Он продолжал стоять, не двигаясь, молча на нее глядя. Если б сейчас она подалась к нему, как минуту назад, он бы сгреб ее в охапку и бросился куда-нибудь на край света, где бы их не достали ни *контора*, ни Фридрих – «Казах»... Сердце его колотилось, как бешеное, как на чертовой глубине, на исходе последнего дыхания.

– Айя-а-а... – выдавил он.

Кто, кто придумал тебе такое имя: имя – стон, имя-боль, имя-наслаждение... Ай-я-а-а, радость моя, чудо-находка, мой глухой фотограф, мой мастер дивных рассказов, мой бритый затылок, мои груди-наперегонки... Да черт поберу! Черт меня поберу!!!

Она сосредоточенно глядела, уперев взгляд в сердцевину его губ. Кивнула...

Сказала:

– Понятно.

Повернулась и пошла...

Даже не плакала. Просто приняла эту подлость как должное.

Как еще одну подлость на своем пути.

* * *

Он купил в киоске глянцевую открытку с видом очередного белого пляжа на Ко Ланта, неотличимого от пляжа на Патайе; выбрал самую большую, с самым чистым полем для письма на обороте. По упрямой привычке он предпочитал обходиться без мобильного. Электронной почте не доверял никогда, а уж телефоны аэропортов прослушивались наверняка. Старая добрая почтовая весточка от довольного жизнью туриста – скорее всего, пожилого оригинала, предпочитавшего такой вот милый привет престарелой подруге всем достижениям безликой цивилизации «нового времени». Дойдет она быстро, дня за два – в аэропортах почта циркулирует отменно. Вот именно: старая добрая весточка сделает свое дело и в то же время подарит ему день-два на обдумывание...

«Дорогая Магда, вот и я пишу тебе открытку – что для меня, согласись, случай экстраординарный...»

Писал он по-английски, неразборчиво – ничего, Магда наденет очки и после первых попыток пробиться сквозь паутинку нарочито корявого почерка догадается, что *это письмо* предназначено во все не ей.

А там уж тот, кому следует, разберет сигнал и выйдет на связь.

«...Очередной отпуск в пленительном Таиланде, особенно встречи с природой *и людьми* потрясли меня настолько, что сейчас я, навидавшись тайцев, пожалуй, не отличу казака от казаха – прости за каламбур – особенно если ныне казах обитает – о наш перепутанный мир! – например, в Лондоне...»

...И так далее, еще несколько фраз, вполне на посторонний взгляд бессмысленных или банальных, вроде упоминания о «прекрасных рынках Востока», где можно увидеть все, что душе угодно, «вплоть до настоящих персидских ковров, которым так фанатично предан твой супруг»...

Главным сейчас было: уберечь Айю, не дать *им* ее нащупать безжалостными лапами. Скрыть ее, увести от нее *их* интерес, как лиса уводит от норы преследователей. И все это время – пока выбирал открытку, пока сочинял письмо, пока выводил неразборчивый текст – он напряженно думал, как это сделать.

Запечатывать послание в конверт не стал – вернее дойдет, кому интересны отпускные излияния очередного туриста на захватанной картонке. Написал адрес и опустил открытку в почтовый ящик.

Все! Разматывайте клубок сами, катите его от Лондона... хоть до Тегерана, только ее не трогайте.

Что касается меня – я чист перед конторой, перед памятью Иммануэля, перед чертом-дьяволом и, кстати, перед Филиппом, которому больше не придется переносить даты релетиций и сроки контрактов. Баста! Вот уж этой поездкой я сыт по горло.

Затем бездарно слонялся по залам аэропорта в ожидании своего рейса – отупевший, истощенный, пустотелый внутри, чувствуя тоску и омерзение к самому себе, безнадежно пытаюсь себя уверить, что по возвращении в Париж *жизнь наладится, успокоится и распоеется...*

В самолете забылся рваным сном, пытаюсь выпутаться из красной рубахи, пеленавшей его по рукам и ногам, как мумию...

И опять бежал по горящему лесу на горе Кармель – как много лет назад, когда их автобус, полный солдат-отпускников, был остановлен пожаром в районе Йокнеама: пылающая магма, дунам за дунамом, пожирала деревья, подбираясь все ближе к месту, где Леон застрял, запутавшись в красной рубахе Айи... Огненная лавина грянула с неба, и огонь льнущей конницей – шшш-шшш-шшш-шарх! – вылизал языками траву, взлетел на ближайшую сосну, выбил вверх острое копьё, и вдруг вся сосна ахнула, коротко и мощно всхлипнула, взвыла и запылала. И один неуловимый миг – остался от нее черный скелет, разбросавший руки по сторонам...

Его вежливо растолкали.

«Вы кричите», – кротко сообщила ему девушка слева – полная, с детскими пушистыми глазами, с благодатным профилем матроны. Складывая руки на груди, она – из-за трех подбородков – становилась похожа на резную деревянную сирену с носа какого-нибудь фрегата. Справа сидел молодой человек – невозмутимый, с узким орлиным лицом мстителя. Всю дорогу он играл в карты на своем айпаде – с загадочной улыбкой и с такими сосредоточенными глазами, точно шифровку в Центр посылал.

Геннадий Беззубов

КУТЛ

* * *

Что-то ели, что, не помню точно,
И ко сну стелили на полу.
Раскладушек лежбище непрочно,
Вот и тянет спрятаться в углу,

Там, откуда видится иначе
Чёрное ветвление аллеи –
То ли ночь на незнакомой даче,
То ли пристань утлых кораблей,

Но не дом, не крепость, не защита,
Не форпост, где год идёт за три.
Только ночью, вне семьи, вне быта
Этот голос восстаёт внутри.

Что ему до девок и футбола,
До соседских вороватых рыл –
То ли зуд, то ль жжение глагола,
Как вчера учитель говорил.

Рассвело, и он уже невнятен,
И опять не держится в руке
То, что там, в чередованьи пятен,
Вяжущих узор на потолке.

* * *

Стихи, бывает, а бывает, нет,
А просто так – крапива по дворам,
Бурьян, что не слагается в портрет,
А шелестит, открытый всем ветрам.

А тот, кому об этом говорить
Пристало бы, прямую речь держать,
Проходит, и не просит закурить,
И никому не хочет подражать –

Ни сорнякам, цветущим под стеной,
Ни ткани, сшитой на живую нить,
Ни жизни незаёмной, но земной,
Где он не в силах слова изменить.

* * *

Трамвай, просвеченный насквозь,
Проходит мимо, жизни часть,
И электрическая гроздь
За ним стремится, волочась.

Прощай, трамвайное пятно,
Тебя, пожалуй, не сотрёшь,
Ведь ты уже занесено
Над рынком, как внезапный нож,

Как гильотина, поперёк
Зеркальных жизненных услад,
Неотвратимых, словно рок,
Который сам себе не рад.

ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО

Неужто Михал Клеофас
Не оглянулся бы на нас,
Заслышав здесь, на перекрёстке,
Свой опус, кровный и живой?
Да, да, вот здесь, на мостовой
Его и пилят на расчёске.

Верней, конечно, на пяти
Бренчащих струнах. Не найти
Следов, ни выхода, ни входа,
Куда мелодию ведут,
Где обрывается маршрут –
Так достигается свобода.

Он был бы сильно удивлён –
Здесь, на скрещении времён,
В глуши, восточнее Востока,
Где саз перебивает уд,
Такой ли музыке дают
Сознание ворошить глубоко?

Как ни дивись, но это так.
Всей страсти, может, на пятак,
Да послевкусье слишком длинно...
Суша теория, мой друг.
Привычный размыкая круг,
Не умолкает мандолина.

* * *

Что помнится? Какие-то куски.
Так гвозди выпадают из доски,
Так мебель рассыхается на части,
Так зарастают бурьяном дворы,
Так страны в тень уходят до поры,
До наступленья неизвестной власти.

Да, память – избирательная вещь,
И ты в других не остаёшься весь,
А по частям, как на полотнах Брака,
И ты ли это, ясно не вполне,
Хотя портрет, висящий на стене,
Отсвечивает отблесками лака.

Как ни гляди, картина неполна.
Такая жизнь, такие времена,
Такая память – выбросы, пустоты,
Провалы, где зияет темнота,
И если есть доступные места,
Оттуда не дойдёт созвучной ноты.

КИТЛ

Этот белый халат подошел бы врачу
В пятидесятых, где-нибудь на Печерске,
В виду Мариинского дворца,
На Печерске, где мы никогда не жили,
Разве что наезжали к родне
На троллейбусе, с дальней Шулявки,
Мимо моста, мимо нового цирка,
Позади оставляя новый базар,
Каштаны бульвара, полированный памятник,
Кричащий вокзалу «прощай!»,
Не раскрывая рта,
Чтоб не уловили акцента.
Какого? Вы знаете идиш?

Этот белый халат подошел бы хирургу.
Сейчас нас режут в зелёном,
А тогда было принято в белом,
И отец мечтал увидеть сына
Именно в этом наряде,
С растопыренными руками –
«Скальпель! Пинцет! Зажим!», – ну,

Что там дальше? Не помню.
Главное – не бледнеть при виде крови,
А он и по сей день не бледнеет,
Хотя не стал ни хирургом, ни шойхетом, ни убийцей
И если к пролитию крови причастен,
То разве что косвенно. Ну как все.
А как – все?

Белый китл отцу моему не достался.
Нет, одно время он носил китель
Офицерский, с погонами лейтенанта,
Но не углядел здесь связи,
Хотя эта связь очевидна.
Носил и халат работника общепита,
Тоже белый и сравнительно чистый –
Сам ведь ничего не готовил,
Лишь указывал, как это делать,
В том числе и своей невестке –
Излагал рецепт легендарной рыбы,
Подлинной, не из банки.

Голова этой рыбы была объектом,
Означающим некое превосходство,
Хотя вслух это не говорилось.
Когда он садился «разбирать голову»
С сосредоточенностью хирурга,
Это было зрелище не для слабонервных.
Когда он рассуждал о Судном дне,
Исторгая глаголы типа «постить»,
Лишённые возвратных частиц,
Становилось ясно, что прошлое безвозвратно
И что в картине не хватает детали –
Чего-нибудь белого, пятна, что ли,
Нет, не скатерти, не салфетки,
На неё ведь обязательно капнет.

В Йом-Кипур нет и речи о рыбе,
И вообще о еде нет речи,
Рыбью голову уже съели,
Чмокая, обсасывая кости,
Становясь не хвостом, а головою,
Стеклenea взглядом от вождельня.
Теперь другое время,
Надо от всего освободиться,
Надо обрести лёгкость,
Чтоб слова падали, как капли,
На общее поле.

В Йом-Кипур, затянутый в белый китл,
Я каюсь в грехах народа,
Молю о себе, о жене, о детях и внуках
(Хотя в Йом-Кипур не бывает «я», только «мы»),
О душе отца тоже, хотя это – другое,
Для этого есть день смерти,
Но в этот день мы не ходим в белом,
А в Йом-Кипур все в белом.
Гул молитвы то растёт, то стихает,
Капают дальние отголоски
В тишине неправдоподобной,
И прощальный шофар выпадает каплей
На белом, на белом.

Иосиф Букенгольц

ВОЗДАНИЕ

Моей жене

1

Потом я пытался вспомнить, что же заставило меня в тот полусонный вечер сесть за руль и направиться в Ашкелон, к морю. Возможно, мне захотелось выбраться из дышавшего пылью Иерусалима, а заодно хоть чем-нибудь порадовать Иру, давно уставшую говорить об однообразии нашей с ней жизни. Она, в отличие от меня, море обожает. А может быть, именно в тот вечер я решил, что пришло, наконец, время вынырнуть из болота уютной меланхолии. Хотя бы ненадолго.

Мне так и не удалось этого вспомнить, как не удалось вспомнить даты, чтобы привязать произошедшее к осязаемым временным вехам. Причуды обленившейся памяти: события хранятся в ней ворохом перетасованных видений, реальность которых неразличима. Впрочем – и не важна.

Обесцвеченный сумерками пляж был немногочислен. Над загустевшим морем полыхал роскошный закат, располагавший к размышлению о вечном. О вечном как-то не думалось. Я просто стоял на берегу, вдыхал соленую прохладу и, не отрываясь, смотрел на склонившийся над горизонтом раскаленный диск. Где-то под ним плавала моя жена. Неостывший еще песок ласкал босые ноги. Я прислушивался к своим ощущениям, пытаюсь разбудить в теле радость слияния с природой.

В самом разгаре этого благотворного процесса ко мне вдруг подошел коренастый мужчина средних лет в длинных неопределенного цвета шортах и в сдвинутой на затылок выцветшей панаме и сказал: «Привет!» Причем таким тоном, словно мы с ним если не родственники, то во всяком случае старые знакомые. На поводке за ним волоклась несуразная собачонка. Не могу сказать, что это слишком меня удивило – последнее время я стал замечать, что моя внешность обрела необъяснимую привлекательность для определенного рода людей и животных.

– Привет, – я безрезультатно напрягал расслабленную закатом память.

– Я, наконец-таки, решил немецкий вопрос! – двинул мужчина без всякой предварительной подготовки.

К своему стыду, я даже не подозревал о существовании такого вопроса и в смущении пробормотал что-то типа: «Надо же! Кто бы мог подумать!» Возглас получился явно неубедительным. Родственника это несколько не смутило, видимо, ему была привычна дремучая неосведомленность населения.

– Они вот решали еврейский вопрос, – он старательно установил ноги, готовясь к пространному объяснению, – а я понял, как решить немецкий.

Он смотрел на меня в упор, готовый к изумлению и вопросам, а в моей голове замелькали картины, где вереницы немцев под конвоем израильских солдат направлялись в газовые камеры.

Однако все оказалось не так просто.

Вступление меня, мягко говоря, насторожило:

– Ребята, к примеру, хотели отравить водопровод в Гамбурге и Нюрнберге. В общем, для начала неплохо. Только мелковато, мелковато... Думаю, сотня-другая тысяч, не больше, плюс-минус... Мелковато... Хотя понятно: что же еще можно было сделать в тех условиях?

– Зачем, это, отравить? – холодная змейка пробежала по моей спине и затаилась где-то в животе. – Какие ребята?

– Какие-какие! Наши! Про организацию «Накам» слышал когда-нибудь? Не слышал? А про «Дин»? Ладно, потом расскажу. Только это мелковато. Не тот масштаб. А я-то, наконец, понял, как решить этот вопрос кардинально. Они шесть миллионов, а мы – подчитую! Смотри...

Когда мне удалось справиться с первым испугом, я уже потерял логическую нить его рассуждений и решил, что искать ее бесполезно и что я имею дело с одним из неадекватно мыслящих соплеменников, каковых на удивление часто можно встретить на просторах Святой Земли. Я приготовился терпеливо дожидаться конца и, чтобы не возбуждать оратора, смотрел, как он перебирает длинными пальцами крепких кривоватых ног, торчавшими из растоптанных сандалий, словно аккомпанируя себе на невидимой клавиатуре. Собачка уютно расположилась между нами и, судя по ее умильной физиономии, не только полностью разделяла взгляды своего хозяина, но и явно наслаждалась красотой их изложения.

Краем уха я слышал, как в его темпераментной речи упоминались каббалистические термины, мистические пристрастия Гитлера и антисемитизм Далай-Ламы, вероломно благословлявшего нацистов. Я не перебивал, но когда мне показалось, что монолог уже близится к благополучному завершению, он вдруг заговорил о том, что память об Амалеке должна быть стерта с лица земли.

Не то чтобы я был с этим не согласен, скорей – наоборот. Но судя по всему, вопреки моим ожиданиям разговор возвращался к далеким временам исхода из Египта, а это грозило тем, что придется еще очень долго добираться до наших дней. Поэтому я позволил себе проявить неосторожность и спросить:

– Ну, с немцами-то понятно. Хотя и немцы, согласитесь, тоже разные бывают. Но при чем тут, извините, Амалек?

В голосе моего собеседника заскрежетало раздражение. Он заговорил как по писаному:

– Три заповеди надлежит нам исполнить в час, когда поселимся на земле Израиля: поставить себе царя, возвести себе Храм и уничтожить потомков Амалека. Сегодня невозможно доподлинно объяснить, каким путем нацистские лидеры унаследовали его гены, но и отрицать генетическое родство между ними невозможно. Талмуд однозначно указывает на прямую связь между Германией, так написано, и Эдомом, то есть с потомками Эсава. Ты понимаешь, о ком идет речь? Это страна, откуда вышли северяне с бледной кожей и светлыми волосами. Врубаешься?

Я многозначительно промычал.

— А что касается твоих разных немцев, — он запустил руку глубоко в карман, вытащил оттуда сложенный вчетверо листок, аккуратно разгладил и уперся в него носом. При свете заката казалось, что бумага залита кровью. — Не кто-нибудь, сам Эйнштейн сказал. Вот послушай: «Немцы как народ ответственны за массовые убийства и как народ должны быть за это наказаны... За нацистской партией стоит немецкий народ, который выбрал Гитлера...» Врубашешься? Они нас — шесть миллионов, а мы их — подчистую!

Неожиданно для себя я вдруг проникся жалостью к немцам. Конечно, об ужасах Катастрофы я читал и слышал немало. Вся семья моей матери погибла в Минском гетто. Фильмы, книги, леденящие душу фотографии, воспоминания тех, кому удалось уцелеть. Уже здесь, в Израиле, мне приходилось встречать людей с нестираемыми номерами на руках. И хотя все это было далеко, еще до моего рождения, от этого оно не становилось менее ненавистно и страшно. Тем более теперь, когда чудище юдофобии снова пробуждается.

Но сейчас, когда этот странный человек заговорил о справедливом отмщении, чувства мои смешались. Уничтожить целый народ, пусть даже породивший кровожадного монстра? Позволено ли нам, открывшим миру категории морали, уподобиться исступленным варварам, жаждущим кровавой мести?

Мужчина, словно прочитав мои мысли, рывком приблизился и выдохнул мне в лицо:

— Мир бы смотрел на Израиль по-другому, если бы евреи умели мстить за свою кровь!

Несколько безмолвных мгновений мы стояли, почти соприкасаясь лбами. Его глаза — две черных пропасти, казалось, втягивали меня, а в их глубине мерцала раскаленная магма. Мое сердце толкалось где-то под кадыком.

Он отстранился и повернулся лицом к закату:

— Конечно, если бы Израиль существовал во время войны, — он мечтательно смотрел на полуутонувший в море огненный шар, — можно было бы сбросить на Германию атомную бомбу. Только говорить об этом поздно, время упущено.

— Так что же теперь делать? — мысль об упущенном времени слегка огорчила меня.

— Что делать? — он обернулся ко мне и впервые за время нашего разговора улыбнулся. Рубиновые искры брызнули по золоту зубов. — Что делать? Внедрять новые методы, более тонкие, более конструктивные.

— Какие же методы? — я совершенно не представлял, что может быть тоньше и конструктивнее, чем атомная бомба.

— А вот какие, — мужчина снова основательно расставил ноги. Вскочившая было собачка опять улеглась. — Знаешь ли ты, что такое пульса де-нура?

— Ну... слышал, конечно... — на самом деле все, что я слышал об этом мрачном магическом ритуале, казалось мне не более чем пережитком средневекового мракобесия.

— Слышал? Слышал, конечно... Так вот: классическая пульса де-нура, молитва-проклятие, воздействует только на евреев. При-

Дем безотказно. Вспомни: Троцкий, Рабин, Арик Шарон... Потому-то и не добрались ни до Сталина, ни до Гитлера, ни до прочей мрази. А теперь на минутку представь, – он сделал многозначительную паузу, – нечто подобное, только поражает тех, в ком течет хоть капля этой гребаной арийской крови. Причем не одного, а всех одновременно и поголовно. Где бы они ни обретались. Догоняешь?

– И что, есть такая молитва? – я, кажется, догонял, мне стало жутковато. – Где же она?

– Вот здесь, – он указал пальцем на свой лоб. – На меня снизошло.

– Если снизошло, так почему про немцев? Они ж и так осознали. Повсюду носятся со своим комплексом вины. А вы посмотрите вокруг – террористы, исламисты...

– Сначала с этими поквитаемся, а потом и до тех очередь дойдет. Разберемся, уж не сомневайся!

– И что теперь?

– Что теперь, что теперь? Действовать надо! Чтобы время опять не упустить.

– А как?

– Ишь ты какой прыткий! Торопиться, брат, нужно аккуратно, чтоб наверняка. Сначала необходимо миньян собрать. Из подходящих людей. Вот я и собираю...

– И вы что, меня?..

– Вот именно!

– А почему вы... почему вы думаете, что я подхожу?

Тут он снова приблизился ко мне вплотную. Из пропастей его глаз потянуло кладбищем:

– Так ты же только и мечтаешь о справедливом воздаянии. Всем и за все. Ты же не сомневаешься, что Боженьке все безразлично, потому-то ты на Него и обижен... У тебя это на лбу написано.

– Это... не совсем так, – я непроизвольно потер пальцами лоб. – Вы... не совсем правы.

– Правы-неправы! – он дохнул на меня запахом пепла. – Не тушуйся, дружище! Поверь, нет ничего на свете слаще мести! Не сравнятся с нею ни слава, ни бабы, ни карьера. Ничто никогда не доставит тебе такого наслаждения, как возмездие! Справедливое и неотвратимое... Когда ты его сам, своими руками... Вернее, мозгами... И потом – с немцами-то все ясно. Ты смотри глубже: коли Ему с нашими болячками недосуг валандаться – самим надо... Кто, если не мы? А тут у нас работы и без немцев – непочатый край! Все эти воры, бюрократы, миротворцы хреновы, Хамасы всякие... До всех доберемся...

Я тревожно огляделся по сторонам. Солнце окончательно погрузилось в потемневшее море. Ира, уже одетая, стояла поодаль, нетерпеливо поглядывая в мою сторону.

– Ну ладно, – произнес мой то ли родственник, то ли знакомый. – Потом договорим, а ты пока подумай. Я тебе позвоню.

И он удалился, ступая твердым шагом по уже остывшему песку. Собачка на прощанье обернулась и бросила на меня проникновенный взгляд.

Когда мы сели в машину, жена спросила:

– С кем это ты так долго разговаривал? Твой знакомый?

– Да какой знакомый? Чудик какой-то. Мне почему-то поразительно везет на таких странных людей. Да я тебе рассказывал, помнишь? Похоже, из той же компании. Этот деятель придумал, как одним махом со всеми немцами покончить. Снизойшло, говорит, на него. Не знаю, как в других местах, но мне кажется, что концентрация психов для нашей маленькой страны все-таки высоковата.

– Что ты молчишь? – Ира повернулась ко мне. – Это твой знакомый?

– Говорю же, – я повысил голос, – никакой не знакомый! Просто человек. По всей видимости, не совсем... не совсем, скажем, адекватный. Ему якобы открылось, что пришло время немецкому народу ответить за все, что они сделали с евреями. Снизойшло, утверждает, на него откровение, каким образом это осуществить. То ли молитва какая-то, то ли заклятье. Глупости, конечно, хотя... звучит заманчиво, я его понимаю. Пустые мечтания, хотя... есть в этом что-то. Знаешь, в какой-то момент эта идея меня зацепила. Я вдруг подумал: а почему бы и нет, ведь это, наверное, было бы справедливо! Представляешь? Чушь какая-то! Не зря говорят: безумие заразительно.

– Не хочешь говорить – и не надо! – она отвернулась к окну. – Только мне надоело постоянно тебя дожидаться.

– Дождаться? – я почувствовал раздражение. – А что, мне надо было человеку в лицо плюнуть? Он же ко мне со всей душой! И потом: а если все это действительно правда? Если на него действительно снизойшло? А если это работает? Ты представляешь, какие открываются возможности? Разве только немцы? Ведь на каждом шагу людям приходится утираться и терпеть беззаконие, хамство, равнодушие. Эти тут вытворяют, что хотят, а Он там молчит, будто так и надо. Все кричат о справедливости. А где она? Только в душещипательных проповедях и в голливудских блокбастерах. Здесь вещают: «Мне отмщение и аз воздам», а там приходят крутые парни и всяческие бэтмены, берут закон в свои руки, и в конце концов все решают мускулы. Примитивные мускулы, как в пещерные времена! Что же с тех пор изменилось? Только оружие. Ну, еще под занавес полиция приезжает. Это все, чему мы научились! А ты представь, если орудие справедливого воздаяния окажется в честных руках. И в руках не каких-нибудь тупоголовых суперменов, а серьезных, разумных людей, которые не носятся с пистолетами, а силой мысли...

– Все-таки хорошо иногда выбраться из города, – проговорила Ира сквозь дремоту, – и хоть немного побыть в тишине.

Она меня не слышала! Поначалу меня это расстроило – неужели и моя жена заразилась этой всеобщей глухотой? Но потом успокоился. Ничего не поделаешь, на очередном витке эволюции люди постепенно перестают слышать друг друга. Спрашивают на ходу: «Как дела?», вовсе не подразумевая, что кому-нибудь вдруг придет в голову ответить нечто более пространное, чем «нормально». Обзывают друг друга лжецами, предателями, фашистами, а спустив-

шись с трибуны, обнимаются, пьют кофе, дружат семьями. Потому что не слышат. И это не равнодушие, а признак душевного здоровья, торжество инстинкта самосохранения. Возможно, именно она, доброжелательная глухота, приведет когда-нибудь человечество к той всеохватывающей любви, о которой говорит Священное Писание. Как возлюбить ближнего своего, если у него на работе и дома одни неприятности, импотенция и гипертония на нервной почве, а он при этом еще и норовит тебе обо всем этом подробно рассказать? Самый надежный способ сохранить в душе хрупкий росток сердечного к нему отношения – не слышать.

И все-таки от моей родной жены, от той, с которой, как мне казалось, за почти тридцать лет мы стали одной плотью, я такого не ожидал. Конечно, за эти годы ты достаточно натерпелась от моих капризов и «творческих озарений», от всплесков эйфории и приступов самоистязания, от склонности к патетическим монологам. Все это я, несомненно, понимаю, и более того, ценю. Однако сейчас, моя дорогая подруга, ребро мое ненаглядное, ты могла бы быть чуть более снисходительной. Возможно, тебе смешно и ты думаешь, что я стою на пороге очередной «гениальной идеи», которых, ты скажешь, было уже немало. Возможно, ты и права. А если наоборот? И речь идет о по-настоящему серьезных вещах, которые могут перевернуть не только нашу с тобой жизнь, но и жизнь всего человечества! Не говоря уже о немцах.

Я взглянул на Иру, она, склонив голову, дремала.

И вдруг мне пришло в голову, что дело тут вовсе не в банальной глухоте. А если то, что я пытался рассказать, настолько значительно, что обычный человек не в состоянии это услышать? Я-то сам никогда не сталкивался, но читал о том, что информация, нисходящая из высших космических уровней, простым смертным недоступна, как инфракрасное излучение или ультразвук. Мало того что недоступна, так еще и небезопасна.

По поводу собственной избранности я успокоился уже давно. Честолюбивые устремления юности сегодня выглядят по меньшей мере забавными. К сорока годам нелепые попытки удивить мир я благополучно оставил и, за неимением лучшего, принялся осваивать образ скромного созерцателя. А потому, обнаружив в себе некоторые способности к ясновидению и биоэнергетике, постарался внушить себе, что это, как музыкальный слух, не более чем задатки для возможной профессии. Решил, что укрощенное честолюбие тоже является показателем духовного роста.

И все же мысль о том, что мне доверена информация, предназначенная лишь избранным, приятно ласкала самолюбие.

Вслед за этим охватила тревога: если все это на самом деле так, то это уже не игра, здесь уже одним созерцанием не отделаешься. За порогом этой двери все взаправду. Здесь не размахивают бутафорскими мечами, здесь режут сталью по живому, здесь не размазывают по телу клюквенный сироп, а проливают настоящую кровь, не рассуждают о смерти, а творят ее. Всю жизнь я старался избегать ответственности. И вдруг каким-то невероятным образом на меня пал выбор, и то, что было до сих пор предметом досужего мудрствования, обратилось в реальность.

Мне стало страшно.

Лента шоссе, то вздымаясь, то опускаясь, неслась навстречу. В конце длинного подъема, на вершине перевала, открылась панорама: дома в гирляндах фонарей карабкались по крутому склону горы до самой вершины, вдали колыхалось море мерцающих огней.

Мы приближались к Иерусалиму.

3

Занятия медициной, пусть даже альтернативной, естественно, не предполагают, что обращаться к ней за помощью будут люди здоровые. Здоровые люди не курят, не читают газет, а играют в теннис и занимаются аэробикой. По утрам едят йогурт с овсяными хлопьями, а по вечерам смотрят мелодрамы. Все остальные в той или иной степени люди нездоровые.

Между пациентами обычных докторов и теми, кто обращается к энерготерапевтам, существенная разница. Разве придет кому-нибудь в голову рассказывать ортопеду или гинекологу о том, что науськанные соседями органы КГБ и Моссада по телефонным проводам закачивают в квартиру отравляющий газ?

Для целителя же различие между запором и неврастением, холециститом и депрессией заключается лишь в их энергетическом проявлении. По этой причине ему приходится выслушивать множество человеческих историй, в которых недомогание переплетается с обидой, физическая боль с одиночеством.

Но среди тех, кто обращается к нам, немало людей несколько более странных, чем банальные невротики или параноики. Это люди с идеей. Причем с идеей, не принятой окружающим социумом. С этими приходится труднее всего.

Вспоминается, например, человек, разыскавший потерянное колено Израилево. И не где-нибудь, а в Индии. И в количестве ни много ни мало, а десять миллионов душ. Долгие годы он безуспешно пытался прорваться к правительству с детально разработанным планом: поэтапно перевезти их всех в Израиль, а потом приступить к естественному расширению границ государства от Дамаска до Синая. Не добился ничего, кроме язвы желудка. С ней и пришел ко мне после безрезультатного хождения по гастроэнтерологам. А женщина, которая утверждала, что большинство голливудских фильмов без ее на то согласия снято про ее жизнь? Никакие снотворные не могли справиться с ее бессонницей.

Как же тут не задуматься о неповторимой энергетике Земли Израиля? Не зря же могучие религиозные империи рубились за этот крохотный клочок земли. Может быть, дело в особой Господней симпатии или в невероятном пересечении энергетических артерий планеты, а может быть, в том, что евреи со всех уголков земли, веками устремляя сюда свои помыслы, создали здесь такую духовную атмосферу, которая далеко не каждому по силам.

С годами я стал гораздо спокойнее относиться к влиянию Святой Земли на тех, кто так или иначе к ней прикоснулся. Так же спокойно я должен был бы воспринять и этот необычный разговор на ашкелонском берегу. Тем более когда вспомнил, что не оставил незнакомцу своих координат. Волнение мое постепенно улеглось.

Правда, ненадолго.

4

Какую реакцию, кроме бешеного сердцебиения, может вызвать телефонный звонок, если твой сын в армии, у тебя престарелые родители, а на часах три двадцать ночи? Пока я переводил дух, в трубке сначала что-то проскрежетало, потом раздался женский смех, а потом бодрый мужской голос сказал: «Привет!»

Я узнал его сразу, и у меня засосало под ложечкой. В течение недели я если и вспоминал о нем, то не более как о забавном эпизоде.

– Привет! – выдавил я.

– Что-то не слышно радости в голосе, – у него было явно хорошее настроение.

– Ну, почему... я в общем... А откуда у вас мой...

– Не задавай глупых вопросов. Слушай: сегодня к тебе придет Рами, и ты должен ему обязательно помочь! В контексте нашего общего дела. Понимаешь?

– Рами? Какой Рами? Ах, Рами! Вы его знаете? Откуда?

– Ну что ты заладил: откуда-откуда? Сказано тебе – в контексте нашего общего дела! Врубаешься?

– Кажется, да.

– Ну, вот и славно. А я тебе вечером звякну.

Ира застыла в дверях спальни:

– Кто это? Все нормально?

– Нормально, нормально! Ошиблись номером.

– Мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее.

Когда я вернулся в постель, она уже спала. А я, конечно же, не смог уснуть до утра.

5

Рами появился в моем кабинете года два тому назад. Когда он полушепотом описывал мне проблемы своего пищеварения, казалось, что содержимое его организма представляется ему лабиринтом, населенным кровожадными чудовищами. Его анемичные пальчики суетливо бегали по поверхности заметно выступающего живота, останавливаясь на мгновение там, где, как он говорил, сначала возникала боль, потом что-то давило вот сюда, а здесь было неприятно, что-то шевелилось, переползало ниже, а потом вот тут крутило, и отходили газы. И во рту какой-то странный привкус, и общее состояние...

Выходец из религиозной семьи, Рами был, казалось, озабочен только тем, как достигнуть мирного сосуществования с чуждым ему чревом, живущим своей непонятной, враждебной жизнью. Со своим рыхлым телом, оплывшими плечами и полусонными карими глазами он все тридцать лет своей жизни умиротворенно плыл по волнам веками устоявшихся традиций, не сомневаясь ни в чем, покорно и доброжелательно воспринимая мир сквозь пелену заученных с детства истин. Все было хорошо и спокойно, и вдруг этот злонамеренный живот...

Он внимательно выслушивал мои рекомендации, прилежно соблюдал диету, принимал травяные чаи, но неугомонная утроба выбрасывала все новые коленца: там, где раньше давило, теперь крутит, там, где раньше тянуло – болит, правда, редко, но как ножом... и потом вниз, вниз... и общее состояние...

Я искренне сочувствовал ему. Но еще с самой первой нашей встречи меня не оставляло ощущение того, что проблема Рами вовсе не в пищеварении. Однако при всем доверительном ко мне отношении на все мои осторожные попытки коснуться его душевной жизни он отвечал не более чем неизменным «слава Богу».

Однажды все прояснилось. В тот день поведение зловредного живота было совершенно невыносимым – болело и крутило теперь везде, даже там, где раньше не болело, не крутило, а только иногда тянуло. Пальцы Рами беспокойно бегали по животу, пытаюсь уговорить безумствующих внутри демонов. Речь его, и без того не слишком внятная, сыпалась тревожным шелестом, из которого я понял только то, что все это очень плохо еще и потому, что у него через неделю свадьба.

Когда мне удалось немного его успокоить, Рами заговорил о том, что почти два года его родственники безуспешно пытались его женить – религиозному человеку в его возрасте неприлично быть холостым. Сам он всегда ужасно этого боялся и втайне (прости Господи!) радовался каждый раз, когда родители девиц на выданье под разными предлогами отказывали. Ему было и так совсем даже неплохо, а тут жена, беспокойство... И вот почти год назад, на его беду, сватовство состоялось, она, правда, чуть постарше, ей тридцать два, но из очень приличной семьи. И потом – после того как он несколько раз с ней встречался и разговаривал – он просто обязан был жениться как порядочный человек.

Он все говорил и говорил, а я с восхищением вспоминал заветы великого Фрейда.

– Послушай, Рами, – сказал я, когда он, выговорившись, собрался уходить, – ведь это нормально. Ведь сказано: «Нехорошо человеку быть одному».

– Нехорошо, – согласился он и закрыл за собой дверь.

Рами вернулся через год. Выглядел еще более обмякшим, из-под неопрятного пиджака торчала не первой свежести сорочка, кипа чуть съехала набок.

Я, как принято, спросил о делах, о здоровье, и его руки суетливо забегали по животу. С пищеварением как-то все успокоилось, и вообще все нормально и даже хорошо, только... На этом «только» он запнулся и принялся рассказывать все сначала, как бы подгоняя себя, набирая разбег, чтобы перепрыгнуть через это «только». С третьего раза у него получилось: «Только детей у нас почему-то нет... не получается что-то...»

Я осмотрел его, он прибавил в весе, но был относительно здоров. Спросил его об эрекции. Он сказал, что ему кажется – вроде бы есть.

– Как же это может казаться? – поинтересовался я. – Эрекция, Рами, это такая штука, что она либо есть, либо ее нет. Тебе удается совершить проникновение?

– Да... но понимаешь... – его руки скакали по животу, иногда забегая в промежность – она как бы сначала есть, но потом ее как бы уже и нет.

Видя, что до меня не доходит парадокс наличия-отсутствия, Рами высыпал на меня поток шелестящих звуков, в которых, хотя пытался изо всех сил, я не понял ни слова.

Может быть, мое внимание отвлекали его руки, выделявавшие вокруг паха какие-то невероятные кренделя.

– Послушай, – прервал я его, устав от всей этой эквилибристики, – может быть, нужно поговорить с твоей женой?

– Правильно! – обрадовался он. – Тебе нужно срочно поговорить с моей женой.

– Тогда позвони мне, и мы договоримся.

– Так она здесь! Ждет в приемной.

– Ну, пригласи ее.

Он радостно выскочил из кабинета.

Открылась дверь, и в комнату сначала вплыла грудь. От восхищения у меня перехватило дыхание – такого размера мне еще не приходилось видеть. Силиконовые девы просто отдыхали! Вслед за этим грандиозным шедевром вплыла его обладательница, розоволицая дама с пронзительным взглядом из-под неуклюже сидящего парика. Рами семенил вслед: «Это моя жена, Адина».

Женщина по-хозяйски уселась, стул под ней жалобно скрипнул.

– Вот Рами тут говорит... – начал я, ощущая беспокойство под ее сверлящим взглядом.

– Ой, слушайте больше, доктор, этого Рами! – она, наконец, оторвала взгляд от меня и устремила его в потолок. – Он вам еще не такое расскажет...

– Он, собственно, ничего...

– Ну конечно! Он, естественно – ничего...

– Он только сказал, что у вас не... – я не знал, как подобраться к этой неприступной цитадели.

– Это у меня «не»? Что у меня «не»? – она устремила испепеляющий взгляд на мужа. Пальцы Рами судорожно забегали от лица к промежности. – Я вам сейчас, доктор, все расскажу... Только сначала я хочу, чтобы вы посмотрели у меня кое-что.

– Что именно? – я с облегчением почувствовал себя в своей тарелке. – Вас что-то беспокоит?

– Беспокоит, доктор, очень беспокоит! – выражение ее лица стало вдруг неожиданно жалким. – Мне кажется, что у меня в груди что-то есть.

– Вы имеете в виду уплотнение, вы его чувствуете?

– Нет, но я чувствую, там что-то есть...

– Я должен посмотреть.

– Конечно, доктор! Конечно, посмотреть! – Адина начала расстегивать платье. – А как же? Конечно, посмотреть!

– Нет-нет, вам не нужно раздеваться, – я слегка испугался. – Методика, которой я пользуюсь, позволяет диагностировать по состоянию энергетического поля. Одежда мне не мешает.

– Не мешает? – она посмотрела на меня подозрительно. – Со всем не мешает?

– Совсем, – я уже сосредоточился на осмотре. – Не волнуйтесь, я не вижу у вас ничего серьезного. Ничего, что могло бы вызывать беспокойство.

– Ничего? – она снова устремила на меня суровый взгляд. – Вы хорошо посмотрели, доктор? Может, еще раз посмотрите?

– Я посмотрел хорошо, – под ее взглядом мне было, мягко говоря, неуютно. – Я хорошо посмотрел.

Она молча уставилась мне в глаза, повисла тягостная тишина, руки Рами замерли в оцепенении.

– Мне кажется, доктор, – медленно проговорила Адина, – вы не очень хорошо посмотрели. Дело серьезное, надо бы посмотреть лучше.

– Ладно, – покорно согласился я, – давайте посмотрим лучше...

– Вот именно, доктор, – женщина, не вставая, на удивление грациозно освободилась от платья и сняла бюстгальтер, больше похожий на две сшитые между собой хозяйственные сумки, – пожалуйста, посмотрите как можно лучше.

То, что открылось, на мгновение ослепило меня: «Велики и чудны дела Твои, Господи!» Я невольно подумал, что на такой груди мог вполне разместиться скромный завтрак на двоих.

Дополнительный осмотр не принес ничего нового. Адина робко попросила ощупать, но я был непреклонен, и это явно ее разочаровало.

– А теперь, – эта, пусть и маленькая победа несколько приободрила меня, – теперь давайте поговорим о главном.

– А что говорить? – так и сидела, не поправляя одежду. – Стыдно людям в глаза смотреть, все спрашивают, спрашивают: ну что... ну почему...

На глазах ее появились слезы, руки Рами забегали с новой силой.

– Скажите, – я уже обрел равновесие, а заодно бодрый голос, – вам удастся осуществить половой акт?

– Удастся? – Адина всхлинула. – Не удастся!

– Почему? Ваш муж мне сказал, что эрекция у него есть. Может быть, вы не готовы?

– Я не готова? – женщина возмущенно утерла нос. – Я только в постель ложусь, и уже готова. Мне это очень нравится – я не готова!

– Так в чем же проблема, Рами?

Рами что-то прошелестел, руки его убежали куда-то за спину.

– Я ему говорю: Рами, я уже готова, я уже вся влажная, – Адина обратила ко мне заплаканное лицо. – Так что вы думаете? Он же мне не верит, сомневается, надо, говорит, проверить, достаточно ли ты готова. И отправляется туда (она показала) удостовериться. А когда возвращается, у него уже все!

Я представил себе, что на столь долгом пути туда и обратно через холмы и просторы такого тела, могла бы потеряться эрекция и у более ретивого мужика.

– Рами, – спросил я строго, – почему ты не веришь Адине? Когда она говорит тебе, что готова?

Рами что-то пролепетал и опустил голову.

– Вот, доктор! Вот такое мое счастье! – Адина стала неторопливо одеваться. – Вот такой мне достался человек!

– Почему, Рами? Ну почему тебе не поверить ей? Она ведь тебе не чужой человек. Она тебе жена!

Рами молча встал и, насупившись, двинулся к выходу. Прикрыв за ним дверь, женщина обернулась и подошла ко мне:

– Доктор, мне тридцать три года, – ее грудь почти касалась меня, лицо истекало мольбой, – а я еще девственница.

– Адина! – я непроизвольно отодвинулся. – Господь милостив, все в Его руках.

Помню, что когда она, наконец, удалилась, я подумал о том, что все было «хорошо» и даже «хорошо весьма» в те первые дни, когда еще не совсем утомленный творением Господь хозяйским взглядом озирает плоды своего труда. И вдруг, на шестой день, Он впервые сказал: «Нехорошо». Нехорошо, сказал Он, человеку быть одному. Возможно, это было проявлением сострадания, от которого Всемилостивый впоследствии напрочь избавился. Сам вкусивший горечь одиночества, Он возжелал тогда хоть чем-нибудь облегчить судьбу Своего чада, сотворенного по образу и подобию.

Но предполагал ли Он, разлучая безмятежно уснувшего Адама с его ребром и одевая ребро это в грациозную плоть, что тем самым созидает меж ними самую непреодолимую в мире пропасть. Пропать, в которой мгновения, столетия и эпохи, микроны, километры и световые годы одинаково неразличимы. Пропать, которую не заполнить ни пролитыми во имя любви реками крови и слез, ни руинами разрушенных городов, ни памятью исчезнувших народов, ни миллионами исписанных страниц. Пропать, в которой разлученные части единой души обречены беспрестанно искать друг друга, и в этом их поиске Господь направляющим перстом составляет самые невероятные комбинации, словно пытаюсь методом проб воссоздать разрушенную Им же Самим гармонию.

С тех пор они не появлялись, а накануне этой злосчастной ночи Рами неожиданно позвонил и попросил о встрече.

6

Рами не произносил ни слова, но был необычайно взволнован. То садился на стул, жалостно смотрел на меня, и его суетливые руки теребили лацканы пиджака, то вскакивал и смотрел в окно, словно искал нужные слова среди огней и звуков вечерней улицы. Наконец он остановился, прислонился спиной к двери, ухватившись за ручку, чтобы, видимо, иметь возможность при необходимости мгновенно выскочить из кабинета. Я старался быть невозмутимым. Однако и его поведение, и то, что предшествовало его визиту, вызывало во мне нешуточное беспокойство, а потому я не выдержал:

– Рами, что стряслось?

– А что, вы сами не знаете? – дрожащий голос, умоляющий взгляд. – Вы же все и так видите!

– Рами! Я же не ветеринар! Я же могу спросить, а ты можешь рассказать.

Эта фраза всегда придавала мне уверенности. Я освоил ее давно и многократно ею пользовался в тех случаях, когда недо-

верчивые пациенты требовали подтверждения моих ясновидческих возможностей.

– Понимаете, моя жена... Адина... – он оставил дверную ручку, и пальцы его забегали от живота к вискам и обратно, – моя жена Адина... Ну, вы понимаете?

– Не понимаю.

– Моя жена Адина... – он глубоко вдохнул, – она хочет... вернее, она просит, чтобы вы нам помогли.

– Конечно, Рами. Разве об этом нужно просить? – волнение мое возрастало. – Это же моя работа. И заработок. Разве я когда-нибудь отказывал тебе в помощи?

У меня запершило в горле, слово «помощь» застряло там воспоминанием о ночном звонке. Рами снова вцепился в ручку двери:

– Моя жена... Адина... ну, и я, конечно... просим вас сделать... ну... сделать это самое... ну, то, что у меня не получается. – Он облегченно вздохнул.

– Что ты имеешь в виду? – я, как мог, изобразил непонимание, хотя, конечно же, сразу понял, что именно он имеет в виду.

– Вы поймите, – Рами осторожно присел на краешек стула, – мы уже больше года... а ей уже тридцать три... а все спрашивают, намекают... а вы не бойтесь, никто не узнает.

– Да ты что, Рами? Вы в своем уме? – я даже привстал.

Рами метнулся назад к двери:

– Вам нечего опасаться! Никто... Мы никому...

– Что значит «опасаться»? Что значит «никому»? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь?

Из меня сам собой вырвался нервный смешок – ситуация до безобразия походила на истертый до дыр анекдот, но при этом перед глазами почему-то всплыла необъятная Адинина грудь, а в ушах слова: «Я еще девственница». Я, отгоняя видение, бессознательно взмахнул рукой:

– Ладно, Рами. Ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал. И забудем об этом. Как о смешном недоразумении.

– Ну почему? – он опять присел. – Мы все обсудили... Адина сказала... Она вас просит... Вам что, трудно? Вы что, тоже не можете?

– При чем здесь «не можете»? Только это... Ты сам подумай!

– В том-то и дело, что мы подумали... И поэтому...

– Послушай, Рами... Ну попробуй еще разок, сосредоточься, прими «Виагру», в конце концов...

– Ну, вы же знаете, без рецепта не дают, а еще в аптеку... И потом, у меня же кишечник... Вы же знаете...

– Да Господи Боже мой! Почему именно я? Конечно, среди ваших ортодоксов желающих не найдется. У вас же там одни праведники! Поэтому вы решили ко мне?

– Желających-то найдется – хоть отбавляй! Только вы – человек надежный, порядочный. Неважно, что без кипы. Мы вам доверяем!

– Ладно, Рами! – это уже было утомительно – Шутки шутками, но довольно об этом! На свете, слава Богу, и без меня хватает порядочных людей. Наверняка найдется тот, кто согласится вам помочь. А меня уволь!

– Людей-то хватает, только жена моя... Адина... вас, сказала, просить.

– Да почему, черт возьми?

– Ей один цадик сказал. Обратись, сказал, к нему, то есть к вам. Он тебе, сказал, поможет обязательно.

– Какой еще цадик? – в моем животе что-то повернулось – Откуда он меня знает?

– У Котеля. Седой такой, борода длинная. – Рами перешел на шепот. – Жена моя... ну, Адина и я, пошли к Котелю... ну, помолиться, попросить... а он там сидит, цдаку собирает. Я его там раньше никогда... Может быть, вы его там видели? С ним еще собачка...

– Собачка? – во мне шевельнулось подозрение. – Не видел. И что?

– Ну вот. Адина ему целых десять шекелей дала, а он и говорит: знаю, говорит, твою беду, женщина. Но ты, говорит, не печалься. Есть, говорит, один человек, который может тебе помочь. Проси его, говорит, чтоб он вместо твоего мужа твой сосуд открыл. Для зачина. Про стыд забудь, а потом, говорит, у вас и без всякой помощи все само собой устроится. Он человек сердечный. Не стыдись, говорит, попроси его, он не откажет. Имя ваше назвал. Адина, моя жена, сначала вскинулась, а потом ему еще десять шекелей дала. А потом мы посоветовались, и она меня к вам послала...

– Значит, так, Рами! – я встал, давая понять, что не намерен продолжать разговор. – Никаких цадиков с собаками я не знаю и знать не хочу! Делайте, что хотите, только меня оставьте в покое. Пусть я буду бессердечным. Единственное, что могу обещать – я забуду все то, что сегодня услышал. Передавай привет Адине. Твоей жене.

7

Не прошло, по-моему, и минуты после того, как за Рами закрылась дверь – зазвонил телефон:

– Ну что, сдрейфил? – знакомый ночной голос, только с явным оттенком язвительности.

– Почему сдрейфил? – я смутился. – Совсем нет. А в чем, собственно, дело?

– А то ты не догадываешься! Я же просил тебя по-человечески: помоги ему, помоги Рами.

– Да вы что? – я лихорадочно соображал, какую выбрать интонацию, гневную или насмешливую. – Вы хоть понимаете, о чем идет речь?

– Я-то понимаю! А вот ты – видать, не совсем. Совсем не понимаешь!

– Так объясните! – я все-таки решил рассердиться.

– А что тут объяснять? Люди страдают, ты им помочь можешь, а не хочешь. Так кто ты после этого? Целитель называется! Какой же ты после этого целитель?

– Может, я целитель и никудышный, только не вам об этом судить. Делаю, что могу.

– А этого, значит, не можешь? А насколько мне известно – еще очень даже...

– Могу, не могу – не ваше дело! Все имеет свои границы!

– Какие границы, если твой ближний страдает? Можно сказать, на грани гибели. А если они на нервной почве что-нибудь нехорошее над собой сделают. Ты же ее видел – темперамент! Она же ни перед чем не остановится! Как ты потом с этим будешь жить? Как будешь людям в глаза смотреть?

– Послушайте! – я кричал, мой мобильник, казалось, съежился в моей ладони. – Оставьте меня в покое! Это, наконец, невыносимо!

Я отключил телефон. Через мгновение он зазвонил снова:

– Ты только не кипячись, – он говорил уже вкрадчиво. – Ты прав, это невыносимо. Но согласись, еще более невыносимо видеть, как молодые жизни пропадают ни за что. Ты можешь на это спокойно смотреть? Я, например, не могу. Но дело не только в этом, есть тут и другой, наиважнейший нюанс. Ты помнишь наш разговор у моря?

– У моря? – сердце мое забилось сильнее – Помню. А при чем здесь море?

– А при том, голуба моя: если мы на такой грандиозный проект нацелились, то в каждом человеке необходимо быть уверенным стопроцентно. Понимаешь?

– Не понимаю!

– Что тут непонятного? Каждого, кто в миньян войдет, нужно проверить досконально. Чтобы знать, на что он способен. Догоняешь?

– Не совсем.

– Дело нешуточное. Здесь, брат, каждому придется через себя переступить. А если ты такой простой мицвы сделать не можешь, как же можно на тебя полагаться? А вдруг ты в последний момент смалодушничает. Тогда всем крышка! Силы-то тебе откроются немереные! Ты ж – избранный, не забывай!

– Я не забываю, – мне показалось, что мой кабинет закачался на волнах, а у меня начинается морская болезнь, – но вы поймите, нехорошо это, неправильно!

– А что же здесь нехорошего? И благое дело сделаешь – людей хороших выручишь, и тебе приятно. Ведь приятно же! Заметил, какие у нее аксессуары?

– Ну почему именно мне такое... испытание? Нельзя ли что-нибудь другое?

– Разве мы выбираем? Нас выбирают! И что, ты бы хотел, чтобы эти богобоязненные люди доверились какому-нибудь проходимцу? Чтобы он потом по всем углам трепал их честное имя? И фамилию? Ты это можешь допустить?

– Нет... не могу, – я чувствовал, как мое тело потихоньку деревенеет.

– Вот и я говорю! – он перешел на пронзительный шепот: – Ты подумай, наше предназначение – установить, наконец, в этом поганом мире настоящую справедливость. Чтобы тех, кому положено, настигла заслуженная кара, а тех, кого Господь обошел своей милостью, облагодетельствовать. И каждому будет отмерено по заслугам его. В этом-то суть истинного воздаяния. И в твоих руках – свершить его. А ты – «нехорошо», «неправильно». Как это может быть неправильно, если речь идет о справедливости? Врубаетесь?

– Да... конечно, – губы с трудом повиновались мне, – но что я скажу жене?

– Не бойся. Объяснишь, она поймет. Она у тебя умница. Да и потом, если уж на то пошло, коли она по собственной воле соединила свою жизнь с таким человеком... с избранным, то уж извините, хочешь не хочешь, а надо соответствовать. Непросто, конечно. А кто обещал, что будет просто? А жене Аввакума было просто? А женам декабристов? Чем же она хуже? Поймет, не сомневаюсь.

– Ну... я не знаю... – мне хотелось только одного: чтобы этот разговор поскорей завершился.

– А чего тут не знать? – он заговорил ласково. – Чего тут не знать? Переговори с супругой, позвони ребятам, обрадуй, назначай дату, и вперед!

– Хорошо... я попробую...

– Что там пробовать? Действуй! Восстанавливай справедливость! И не тушуйся, я в тебя верю!

8

Душная, бессонная ночь. Сгущенный пылью воздух, скрипя, протискивается в ноздри, пощипывает гортань. Нашествие беспорядочных мыслей.

Как я мог согласиться? А если кто-нибудь узнает? Позора не оберешься!

Кто узнает? Они-то гораздо больше тебя заинтересованы в сохранении тайны.

Поразительно, как легко удалось ему меня уговорить. Мою волю будто парализовало. В который раз я уступаю слезливой жалости.

Жалости? А разве такое безусловное доверие не возбуждает тебя? Разве не убеждает в том, что ты особенный? Ты – благодетель. Он тебя боготворит, а она покорно ложится, раздвигает ноги, открывает лоно... Ну, не топ-модель, конечно, но какая фактура! В паху-то у тебя тогда шевельнулось, не правда ли?

Жалкий развратник! Твоя натужная интеллигентность – притворство, штампованная маска, умиляющая доверчивых простаков. А под ней – беспринципный похотливый демагог.

Может, и так. Но если выбор пал на меня, значит, есть во мне что-то, чего нет у других. Да и что в этом такого по сравнению с предстоящим? Тот, кому предоставлено право вершить справедливый суд, должен быть невозмутим. Ему не пристало бояться испачкать руки в навозе человеческих слабостей.

Как я мог согласиться? Позорная бесхарактерность!

А почему нет? Ведь никто не узнает...

И так по кругу...

За окном неторопливо просыпался желтоватый рассвет. По холмам поплыли заунывные распевы муллы, в недалеком Бейт-Лехеме вздрогнули колокола, мой сосед, шаркая торопливыми ногами, направился в синагогу.

9

Ира прослушала мой сбивчивый монолог, не сводя с меня внимательных глаз. Целый день я готовился к этому разговору, подбирая слова, аргументы, мысленно выдвигал за нее возражения,

отвечал на них, и все казалось мне более-менее убедительным. Но вечером, когда я, наконец, решился заговорить с ней, мысли мои смешались. Я вскакивал, ходил по комнате, замирал у окна, глядя на россыпь городских огней, садился напротив, старательно избегая ее взгляда. И говорил, говорил... Говорил путано, мямлил, заикался, начинал сначала, лихорадочно вспоминая заготовленные фразы и чувствуя, что мои слова разбиваются о ее молчание, как о неприступную стену. Я не мог посвятить ее в подробности секретного проекта, позволил себе несколько раз лишь туманно упомянуть о некой «глобальной задаче», «избранности» и «воздаянии». О том, что «высокое предназначение» порой требует переступить через устоявшиеся принципы, дабы совершить восхождение на более высокий уровень миропонимания и обрести право вершить судьбы. Слово «справедливость» во всех возможных его формах настолько переполняло мою речь, что я сам от него в конце концов устал. И потому, прервав теоретическую часть на полуслове, коротко рассказал о проблеме Рами и его жены, об их просьбе и о том, что уже договорился с ними и что эта благотворительная акция назначена на сегодняшний вечер.

Жена смотрела на меня не отрываясь:

– В котором часу?

– В восемь.

На часах было без пятнадцати семь.

– Тогда тебе нужно собираться, – она встала и пошла в спальню. – А то перед людьми будет неудобно. Ты всегда опаздываешь.

– Собираться? – я, несколько ошарашенный ее реакцией, поплелся вслед за ней. – И ты больше ничего не хочешь мне сказать?

– Что я должна сказать? – Ира переодевалась в домашний халат. – Ты все уже решил, договорился, у тебя на этот счет целая теория, в которой я, правда, ничего не поняла. Так что же теперь говорить?

– Чего ты не поняла? – я чувствовал, что мне явно чего-то не хватает.

– Я не понимаю, в чем связь между твоей «глобальной идеей» и тем, что ты собираешься сегодня сделать?

– А что тут непонятного? Я же, хоть и недипломированный, но врач. Мое предназначение – помогать людям. Любыми средствами.

– Если бы люди знали, что такими средствами можно было бы помогать, – она копалась в комод, – все бы бросились в целительство.

– А что в этом особенного?

– В общем-то, ничего, – она была спокойна до безобразия. – Только я раньше думала, что в медицине можно использовать лекарства, приборы, руки, в конце концов. А об остальном – не догадывалась.

– Ты не понимаешь! Это только повод проверить свои возможности перешагнуть...

– Ладно. Не понимаю, и не надо. Но, как я понимаю, тебе нужно надеть чистые трусы. Лучше новые. Чтобы не стыдно было перед посторонними людьми. И носки, конечно.

– При чем тут носки??? – я был в полной растерянности.

– Как при чем? А что обо мне подумают? Что это, скажут, за жена, если у нее муж такой неухоженный? И душ не забудь принять.

Пока я был в ванной. Ира выгладила мне сорочку, обтерла туфли, свежее белье лежало на стуле.

– Послушай, – я смущенно опустил глаза, – мне нужен твой совет.

– Да??? – она стояла передо мной и поправляла воротник рубашки. – Удивительно.

– Как ты считаешь?.. Мне нужен?.. Мне нужен этот... ну, как его... презерватив?

– Презерватив? – она задумалась. – Скорей всего, да. Ты же врач, ты должен блюсти гигиену. А то люди подумают: что же это за врач, если не соблюдает?

– А где же его взять? – я растерянно оглядывался по сторонам. – Аптека уже закрыта.

– Где взять? – она задумчиво заглядывала в кухонные шкафчики. – Где взять? Где... взять?

Она подошла к телефону:

– Милаша? Привет! Извини, подруга, я сразу к делу: у тебя случайно нет презерватива? Да, да, презерватива! Какого? А какие бывают? Ладно! Ну хоть какой-нибудь есть? Только чтоб в упаковке. Никакого нет? Да не мне... мне уже давно... Мужу моему. Для работы. Да, подруга, такая работа. Да? Ну спроси. И перезвони, а то он опаздывает. Да! Представь себе!

Положила трубку:

– Сейчас она у соседей поспрашивает, потом перезвонит.

Несколько минут прошли в молчании, Ира смотрела в окно, я беспокойно топтался у двери.

Звонок.

– Да? Со вкусом клубники? Ну, спасибо! Выручила! Я тебе верну... в ближайшее время, – повернулась ко мне: – Заскочи по дороге.

Мы стояли друг против друга, нужно было что-нибудь сказать, но я не находил слов. Ира смотрела на меня, а я на нее. Ее глаза... Я вдруг подумал, как давно я не заглядывал в ее глаза...

Она медленно, как бы через силу, проговорила:

– Ну, иди. Трудись хорошо. Будешь задерживаться – позвони.

Так она говорила всегда, провожая меня. И всегда, провожая, целовала. Я приблизился к ней, поцеловал в щеку, уткнулся в локоны над ухом и вдруг ощутил запах, неповторимый запах, который мне не спутать ни с каким другим. Я называю его «запах нашей молодости». Так пахли ее волосы, когда я в первый раз танцевал с ней. Так пахли ее губы, глаза, руки, так пахло ее тело в те хмельные ночи, когда мы жадно вдыхали друг друга. Этот запах был с нами всегда. Его обступали запахи суеты, обид, потерь, а он не исчез, только забился в укромные уголки, появляясь, словно преднамеренно, в самых неожиданных ситуациях и неизменно возвращая меня туда, где мы были счастливы, а впереди была вечность.

Боже мой! Что я делаю?

Я уже готов был броситься перед ней на колени и крикнуть: «Прости, ради всего святого, прости!»

Ирино лицо вдруг обмякло и покрылось мертвенной бледностью. Глаза закатились. Она упала в обморок.

Хамсин отступил. Прохладная ночь струилась в открытое окно. Усталость переполняла меня, но уснуть я не мог. Лежал рядом с женой, прислушиваясь к ее ровному дыханию. Лежал и ненавидел себя за то, что, как всегда, не нашел сил, чтобы укротить свою сраную мужскую гордость и сказать, как на самом деле я ей благодарен. Картины прошедшего вечера вспышками мелькали в голове: жуткая маска смерти на ее лице, аккуратно сложенное на стуле белье и то, как она, едва открыв глаза, проговорила непослушными губами: «Позвони, люди ведь ждут. Неудобно».

Больше мы не разговаривали, будто опасаясь потревожить хрупкую исцеляющую тишину, наступившую после пронесшегося урагана.

Телефон Рами, к счастью, не отвечал.

Огни ночного города тускло освещали комнату. По потолку изредка проносились всполохи света. Я смотрел на них и старался расслабиться. От ног к голове текли мягкие, гудящие токи. Топотные мысли постепенно стихало, тело в преддверии сна наливалось приятной теплой тяжестью.

Неожиданно я почувствовал, что поток энергии, словно прорвав незримую плотину, стремительно нарастает. Через минуту уже казалось, что сквозь меня проходят высоковольтные провода, а в затылке загудел мощный трансформатор. Мне стало не по себе – похоже, резко подскочило кровяное давление. Решил на всякий случай встать. Это потребовало на удивление немалых усилий – тело не слушалось. Наконец раздался треск, будто разрывались тысячи нитей, привязывавших меня к постели, и мне удалось сесть. Звук был настолько явственный, что я обернулся посмотреть, не разбудил ли он Иру. Обернулся и оторопел: жена безмятежно спала, а рядом с ней неподвижно лежал я.

Первая мысль, которая пришла мне в голову, вернее, туда, где у меня должна была бы находиться голова: наверное, я умер. Как раз недавно прочитал статью о том, что в последнее время среди мужчин за пятьдесят и с избыточным весом участились случаи смерти во сне. Особенно среди тех, кто при этом еще и храпит. Под эти критерии я подхожу идеально.

Я совсем даже не испугался. Наоборот – умереть безболезненно и быстро – мечта каждого интеллигентного человека. И если это так – значит, мне, можно сказать, повезло. Достойное завершение всех этих безысходных «поисков смысла», всех этих смешных потуг доказать себе и окружающим собственную значимость! И жене моей возлюбленной – облегчение. Избавится, наконец, от меня, от которого ни покоя, ни радости, одни переживания. Погорюет, конечно, но что поделаешь? Успокоится и поживет еще нормальной жизнью. Тут я вспомнил, что моей душе, то есть мне, семь долгих дней придется смотреть, как меня оплакивают. Стало грустно.

Вдруг Ира пошевелилась во сне, вздохнула и повернулась на другой бок. Я всполошился: проснется она, бедная, глаза откроет, а рядом холодный труп. Пусть даже мой, но разве от этого легче?

Я стремительно улегся и, словно в привычную одежду, вошел в свое тело. Пошевелил ногой, рукой, подвигал челюстью – все дей-

ствует! Похоже, я все-таки не умер. Не могу сказать, что это меня расстроило – в конце концов, с этим делом можно и подождать.

Но что же тогда произошло? Неужели тот самый «выход из тела», рассказы о котором всегда вызывали во мне жгучую зависть? С самого начала занятий парапсихологией безрезультатные попытки его добиться меня неизменно удручали. А ведь это же самый что ни на есть реальный показатель избранности!

А тут все получилось само собой! Я еще не до конца поверил, но самолюбие уже ликовало: значит, есть во мне нечто такое!.. Значит, я действительно!.. Только хорошо бы убедиться, что это не случайность.

Сосредоточился, стараясь не поддаваться волнению. Поток энергии нарастал, и когда гудение в затылке показалось мне достаточно сильным, попробовал сесть. Раздался треск, я обернулся и снова увидел свое тело. Встать оказалось труднее, пришлось хватиться за стул, чтобы оторвать себя от собственной задницы.

Огляделся по сторонам. Комната была той же, только потолок и стены колыхались, словно разомлевший студень. В бледно-фиолетовом тумане мерцали полупрозрачные очертания знакомых предметов. То тут, то там вспыхивали колючие огоньки.

Эзотерической литературы в молодости я начитался предостаточно. Красочные описания астральных путешествий, некогда будоражившие воображение, со временем превратились для меня в недостижимую заоблачную абстракцию. А чаще представлялись плодами неумной фантазии тех, кто так или иначе подвизался на туманном поприще мистики. Только сейчас было не до иронии – сейчас, по всей видимости, это происходило со мной, а потому любопытство просто распирало меня. Поймал себя на том, что с трепетом ожидаю встречи, например, с ангелами или с духовными наставниками, снизошедшими из высших сфер, дабы благословить меня, посвятить в клан избранных и, естественно, приобщить к сакральным знаниям. Так, по крайней мере, живописали счастливые приобщенные. Но даже если сегодня этого и не произойдет, если я этого еще не вполне достоин (хотя почему, собственно?), то вполне можно было надеяться увидеть нечто сюрреалистическое, подобное картинам Босха, Брейгеля или, на худой конец, Сальвадора Дали. Что, может быть, и не столь высокодуховно, но, в общем, тоже небезынтересно.

В предвкушении невероятного я, не раздумывая, прошел сквозь стену и очутился в салоне нашей квартиры.

Меня ожидало разочарование – никого из представителей высших миров там не было. Более того, не было там и всей нашей мебели. Лишь подаренный мне старшим сыном аквариум находился на своем обычном месте, разве что висел в воздухе, а над ним порхали разноцветные рыбки. Неподалеку от входной двери безликий дородный мужчина судорожно запихивал какие-то тряпки в огромную дорожную сумку. Рядом, уткнувшись лицом в ладони, стояла на коленях женщина, плечи ее вздрагивали. Около стены, над тем местом, где раньше располагался наш диван, застыло на невидимом ложе, укрытое простыней угловатое тело старика с окаменевшим, изрезанным морщинами лицом. Ребенок лет пяти, сидя на полу посреди комнаты, сосредоточенно перебирал кусочки

ярко раскрашенного картона. Время от времени он поднимал голову, оглядывался и, обращаясь неизвестно к кому, жалобно восклицал: «Никак!» Возле окна, уходя корнями в пол, раскинулось узловатое увешанное яблоками дерево. Неосызаемый ветер раскачивал ветви, яблоки глухо стучали в стекло. Под потолком парил обнаженный женский торс. Из угла в угол со скрипучим шепотком бродили причудливые желеобразные фигуры.

Удивительным было то, что я не испытывал ни малейшего удивления, будто эта несуразная мизансцена всегда была неотъемлемой частью интерьера нашей квартиры. Про мебель я почему-то сразу забыл. Но и мое появление не вызвало никакой реакции присутствующих. Либо, подумал я, для них в этом тоже не было ничего из ряда вон выходящего, либо я попросту невидим. Словно в ответ на мои мысли, на противоположной стене вдруг оказалось неизвестно откуда взявшееся зеркало. Направился к нему, заглянул и вначале не увидел ничего. Так и есть – я бесплотный невидимый дух!

Не могу сказать, что меня это обрадовало, да, в общем, и не огорчило, но пока я, тупо уставившись в зеркало, пытался осмыслить свои ощущения, из его сумрачной глубины начали проступать размытые очертания, постепенно обретавшие четкость. Через несколько мгновений я уже видел перед собой лицо.

Лицо это было не моим.

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

– Ну что смотришь? Не узнаешь? – медленно произнес тот, кто находился по другую сторону стекла. Он говорил, не шевеля губами, слова беззвучно достигали моего слуха.

– Почему не узнаю? – так же беззвучно ответил я, ощутив дрожь во всем том, что осталось от моего тела. – Узнаю.

– Что ж ты ближнего своего на произвол судьбы оставил? Я ж тебя просил как человека...

– Так ведь жена моя...

– Ну что жена твоя? Ну, бухнулась в обморок, а ты и рад. У баб такое бывает. Уж больно она у тебя чувствительная, а все в себе держит. Не восточный у нее темперамент. Училась бы у аборигенов.

– Это вас не касается!

– Как это не касается? Мы с тобой на такое дело нацелились, а если ты в последний момент соскочишь? Мол, извините, моя благодетельная в обмороке. Это меня очень даже касается!

– О каком деле идет речь? Там, у моря, вы говорили о действительно серьезных вещах. А сами что? Послали меня с чужой женой совокупляться. И это вы называете делом?

– Ты, брат, не кипятись. Я же тебе объяснял – это испытание. Как же иначе, сам подумай. Ведь тебе может быть доверено оружие невиданных возможностей. Не забывай – ты избранный!

– Избранный? В чем же она, моя избранность?

– Как в чем? А ты сам не понимаешь? Ты же можешь то, чего не могут другие. Посмотри вокруг, чем люди живут? Политика, секс, деньги. По утрам бегают, разными электронными прибабками обвешиваются, носятся по границам, будто и так не ясно, что везде одно и то же. Глянь – вся твоя квартира завалена их примитивными мыслеформами. Ни пройти, ни проехать! А ты? Ты

же созерцатель, ты же проникаешь вглубь! На кой тебе все эти заграницы, если ты в Иерусалиме, в центре земли?

– Ну, не знаю...

– Зато я знаю! Кому как не тебе можно доверить право вершить справедливый суд, кому как не тебе должна быть открыта сакральная формула воздаяния?

– Скажите, – тут меня осенило, и если бы я находился в своем теле, меня бы наверняка прошиб холодный пот, – вы что, Сатана? Вы что, мою душу?..

– Фауст ты мой недоделанный! – лицо в зеркале тряслось от смеха. – Скажу тебе как близкому другу: ты, конечно, парень неординарный, но я, будь на месте Сатаны, на твою душу раскошеливаться бы не стал.

– Извините, я не хотел вас...

– Ерунда! Это, конечно, комплимент, только это, брат, не наши с тобой высоты. Хотя и мы с тобой тоже кое-чего сумеем. Сказано: «Праведник постановляет, а Всевышний исполняет. Всевышний постановляет, а праведник отменяет».

– Какой же я праведник? Я вот курю, выпиваю... иногда... И женщины мне нравятся...

– Не тот праведник, голуба моя, кто водку не пьет да на женщин не смотрит, а тот, кого избрали для великой миссии. Так что успокойся и готовься, тебе еще многое предстоит. Мы тебя, уж извини, еще испытаем на прочность. А пока возвращайся-ка ты в кровать, продрог совсем....

– А как же Рами, Адина?

– Да Бог с ней, с Адиной. Сами управятся.

Лицо в зеркале медленно растаяло.

Миг – и я оказался внутри своего тела. Пошевелил руками, ногами, подвигал челюстью – все действовало. Это было приятно, как возвращение домой. Открыл глаза. Огни ночного города тускло освещали комнату. По потолку изредка проносились всполохи света.

11

С Эммануэлем я был знаком с самого детства, в Минске мы жили в одном доме, только он был лет на десять постарше. Потом пути наши разошлись, он уехал в Израиль, а я учился в институте и никуда уезжать не собирался. Встретились случайно в Старом городе. Он был все тот же: щуплый, подвижный, небрежно одетый. Те же печальные с медовым отливом глаза, тот же добродушно-ироничный говор. Только редкая бороденка и пейсы окрасились серебром, а из-под замусоленной кипы выглядывала лысина. Он был неподдельно рад нашей встрече, у него, слава Богу, шестеро детей, четверо внуков. А ты как? Тоже, слава Богу, все нормально. Дальше разговор не клеился, обменялись телефонами и разошлись.

К религии Моня, как называла его мама, Толстая Бася, обратился еще в Союзе. Бася запомнилась мне своей непобедимой добротой, свистящей отдышкой и тем, что частенько жаловалась моей бабушке на своего ненаглядного сыночка. Попомните, Сима, мои слова, хрипела она, когда-нибудь своим кашрутом и своими

книгами он доведет меня до инфаркта на нервной почве. Так в конце концов и получилось, Толстая Бася умерла прямо на улице. Это случилось в одно солнечное утро, когда она, как обычно, бежала куда-то покупать для своего Мони кошерное молоко. С тех пор и до самого переезда в Израиль в слове «кашрут» слышалось мне что-то зловещее.

Целые дни Моня проводил за толстыми истрепанными книгами, дважды в день бегал в синагогу, покосившееся двухэтажное здание, затерявшееся в заброшенном районе среди ветхих деревянных домишек, и подолгу беседовал там с такими же ветхими стариками.

Оставшись один, он не изменил уклада своей жизни, но Толстая Бася, похоже, была его ангелом-хранителем. С ее уходом у Мони начались неприятности. После визита участкового уполномоченного Моне пришлось устроиться на работу. Не профессором, конечно, как мечтала его бедная мама, а кочегаром в котельной неподалеку. Работал из рук вон плохо, жильцы жаловались, а домоуправ, добродушный алкаш, неоднократно заставляя Моню за чтением на рабочем месте, увещевал его терпеливо и безрезультатно.

Но и терпение домоуправа иссякло, когда Моня обратился в официальные органы за разрешением уехать в Израиль. До большой алии девяностых было еще лет пятнадцать, и потому на общем собрании работников ЖЭКа Моню заклеили как изменника и пособника сионистов. С работы, естественно, уволили.

Через несколько дней его пришли арестовывать. Моня только что вернулся из синагоги и был не столько напуган визитом милиционера, сколько возмущен тем, что его решили обвинить в тунеладстве не только в такой знаменательный день, а было 14 мая, но еще и с самого утра.

Надо же было такому случиться, что в этот же день в местном отделении милиции проводились занятия для молодых сотрудников. Целый взвод здоровых деревенских парней, будущих стражей порядка, маялся бездельем в тесном, пропахшем казармой помещении, дожидаясь лектора, который по неизвестным причинам запаздывал. Сюда же привели и рецидивиста Моню, велели сидеть тихо, пока за ним не приедут и не заберут куда следует.

Проблема в том, что Моня, если в руках у него не было книги, был просто не в состоянии сидеть спокойно. Ну и, конечно, обида за потерянный день сыграла свою роль.

Моня встал и торжественно произнес:

– Всем присутствующим наверняка известно, что именно в этот день, 14 мая 1948 года, было провозглашено государство Израиль...

В комнате наступила гробовая тишина, а Моня, сделав многозначительную паузу, продолжал:

– Но, несмотря на признание Организацией Объединенных Наций, молодое государство сразу же подверглось агрессии со стороны окружающих его арабских стран, которые...

Дальше он, не вдаваясь в подробности, коснулся исторических предпосылок, затем упомянул декларацию Бальфура, заклеил британский мандат и с плохо скрываемым сарказмом описал план ООН по разделу Палестины. Когда Моня перешел к рассказу о

войне за Независимость, лейтенант, который привел его и до сих пор, как и остальные, слушал, открыв рот, бросился в свой кабинет к телефону. Не прекращая повествования, Моня краем уха слышал, как тот кричал в трубку: «Сколько можно ждать? Приезжайте и заберите этого сиониста, а то он здесь нам все нервы перегрыз!»

Евреи самоотверженно сражались с численно превосходящим противником и, судя по реакции, будущие советские милиционеры сочувствовали им всей душой. Волнение охватило ребят не на шутку. Когда Моня дошел до того, как вновь прибывшие репатрианты, только ступив на Святую Землю, шли в бой с криками «За родину! За Сталина», кто-то из присутствующих не выдержал: «Так их! Знай наших!» Несколько голосов подхватили.

К тому времени, когда за Монеи, наконец, пришли, израильтяне уже захватили Храмовую гору. Меж двух дюжих охранников, бережно державших его под руки, Моня выглядел растрепанным худосочным подростком. Он уходил бодро, а в дверях остановился и обернулся к погрустневшим слушателям:

– Друзья мои, посмотрите на карту! Израиль такой маленький, а вокруг него сотни миллионов арабов. Так почему же вам не оставить Израиль в покое? Пусть он живет!

– Пусть живет!.. Пусть живет!.. Пусть живет! – прокатилось по залу.

Под этот жизнеутверждающий гул Моня отправился в КПЗ.

Можно было предполагать, что ожидало тщедушного религиозного еврея, впервые оказавшегося в пресловутой советской тюрьме. Моня никогда не рассказывал о том, что ему пришлось там пережить. На все расспросы улыбался и отвечал только: «Благословен Господь! Живущий под покровом Всевышнего под сенью Всемогущего обитает». Позднее, когда Моня был уже в Израиле, кто-то из его бывших сокамерников, по случаю, собутыльник нашего Степана, рассказывал, что «Учила», такую Моне присвоили кличку, в «хате» вел себя «по понятиям», достойно выдержал «прописку», блатные его уважали. Может быть, за десять лет, прошедших после суда над Бродским, замашки наших славных органов изменились, а может быть, власти в нашей сонной провинции поленились устраивать показательный процесс – как бы то ни было, Моню без суда и следствия промурыжили чуть больше месяца и отпустили. А вскоре он получил разрешение и уехал.

Попытки осмысления произошедшего в последнее время раздирали меня противоречиями, голова раскалывалась от мыслей, с упорным постоянством менявших свое направление. Мне было просто необходимо как-то определиться, услышать непредвзятое мнение разумного, неотягощенного личными симпатиями или антипатиями человека. Среди близких мне людей, во всех отношениях достойных любви и уважения, я не находил никого, кто настоящему беспристрастно помог бы мне расставить все по своим местам. К тому же появление в моей жизни странного незнакомца, которое порой представлялось моему воспаленному воображению до ужаса похожим (смешно сказать!) на сюжеты Булгакова и Гете, вполне могло вызвать у моих друзей либо снисходительную иронию, либо опасения за мое душевное здоровье.

И тогда я вспомнил об Эммануэле.

Он жил неподалеку от рынка, в Геуле, тесно застроенном районе, напоминавшем кварталы старого Минска. Комната, куда Моня привел меня после того, как представил своей жене, худощавой неприветливой на вид женщине в темной косынке, была удивительно мне знакома. Казалось, каморка, где Моня жил со своей мамой, переехала сюда из нашего минского дома вместе с запахом, полками и массивным столом, заваленным книгами.

После соответствующих приличию «как дела?», «как самочувствие?» Моня предложил мне сесть, поставил на стол бутылку минеральной, два пластиковых стаканчика, уселся сам и обратил на меня свои печальные медовые глаза, всем видом показывая, что готов уделить разговору не слишком много своего драгоценного времени.

Я не был готов к такому приему, а потому, признаться, сконфузился:

– Знаешь, Эммануэль, в последнее время... как бы это сказать поточнее...

– Ты говори, как получится, – его доброжелательная интонация напомнила мне Толстую Басю, – а потом разберемся.

– Понимаешь, в последнее время... у меня накопились некоторые вопросы... на которые я сам...

– Спрашивай! – он смотрел на меня с неподдельным вниманием.

Я понял, что возможности для разгона нет, и решил быть конкретным:

– Скажи мне, пожалуйста, каким образом можно стереть память об Амалеке?

– Раши, благословенна его память, так разъясняет значение слов «сотри память об Амалеке», – Моня говорил, не отводя от меня взгляда. – Истреби и мужчину, и женщину, и дитя, и младенца, и быка, и агнца, чтобы не упоминалось имя Амалека даже в связи со скотиной, чтобы не сказали: «Это животное принадлежало Амалеку».

– Что, вот так? Всех? Подчистую? – его категоричный тон обескуражил меня.

Моня оставил мой вопрос без внимания:

– Заповедь «стирания памяти» об Амалеке в своем первичном буквальном значении предполагает полное истребление этого народа. Истребление, предписанное царю Шаулю, которое он выполнил не со всей строгостью, в результате чего Амалек сохранился, смешался с другими народами, но при этом по-прежнему, не боясь Бога, стремится уничтожить Израиль. Но даже в древние времена эта заповедь уничтожения не носила абсолютного характера. Во всяком случае она не отрицает в амалекитянах свободу выбора, в том числе их возможность и право принять иудаизм. Согласно Рамбаму, уничтожение Амалека не является чем-то безусловным – Амалек волен отказаться от идеи уничтожения евреев и тем самым сохранить себе жизнь.

– Понятно, – я почувствовал некоторое облегчение. – А как же это сделать? Можно ли его, Амалека этого, ну... переубедить, что ли? Или все-таки придется?..

– Наступит время, – Моня откинулся на спинку стула, – и Всевышний, благословенно Его Имя, надрумит нас. Что еще ты хочешь знать?

– А скажи, пожалуйста, Эммануэль, – я уже чувствовал себя несмышленым школяром, – вот, к примеру, перед тобой человек... Как понять, праведник он или нет?

– Это, Ося, слишком обширная тема. В двух словах не ответишь, но я тебе вот что скажу, – он оперся локтями о стол: – Сказано: закликают ангелы душу еврея перед рождением: «Будь праведником и не будь злодеем!.. Но даже если все на свете будут говорить тебе, что ты праведник, относись к себе так, будто ты – злодей!»

Моня встал, давая понять, что время, отпущенное мне, истекло. Я тоже поднялся:

– У меня еще один, последний вопрос. Очень важный!

– Слушаю. Только, если можно...

– Конечно, конечно! А может ли случиться так, что человек... сам того не заметив... совершенно случайно... без всякого корыстного умысла... ну, как бы это сказать... – я глубоко вдохнул: – Короче, может ли человек... сам того не понимая... продать душу дьяволу?

– Неужели ты думаешь, – Моня расплылся в улыбке, обнажив далеко не полный набор пожелтевших зубов, – неужели ты думаешь, что можно продать то, что тебе не принадлежит?

У выхода он ласково похлопал меня по плечу: «Добрых вестей! Аминь!»

Я возвращался домой в прекрасном настроении. Разговор с Моней успокоил меня, хотя и оказался гораздо короче, чем я предполагал. Во-первых, и это главное – моя душа по-прежнему была при мне. Ну, или я при ней. Во-вторых, думать о себе как о злодее было привычней, а потому гораздо удобней – я с детства плохо переношу любые перемены. И наконец, последнее, и тоже немаловажное: дабы извести потомство Амалека, вовсе не обязательно уничтожать его физически, если есть возможность, согласно Рамбаму, благословенна его память, кардинально перекроить единокровников неистребимого юдофоба гораздо более гуманными методами.

Тогда я еще не предполагал, что с проектом подобного гуманного воздействия мне предстоит познакомиться в самое ближайшее время.

В кабинет ввалился далеко не в меру упитанный мужчина со всеми атрибутами ортодоксального иудея. Взвесив меня снисходительным взглядом, он уселся в кресло и, превозмогая отдышку, без лишних церемоний принялся объяснять мне, что все проблемы со своим здоровьем он успешно решает сам. Более того, готов помочь каждому, включая меня. Не предоставив мне возможности воспользоваться его предложением или хотя бы выразить благодарность, он щедро отсыпал несколько, скорей всего, полезных для здоровья советов и с фамильярностью профессионального коробейника разразился рекламой новейшего китайского прибора, избавляющего от любых болезней и созданного на основе древней, сакральной, китайской же медицины. Вслед за этим, естественно, последовало нескольких душераздирающих историй, в которых чудодейственный агрегат спасал безнадежных больных, от которых отказались все на свете профессора с мировым именем.

Я уже было перестал воспринимать его как пациента, когда он неожиданно запнулся. Продолжение было несколько неожиданным, поскольку выпадало из предполагаемой композиции – после недолгого молчания он смущенно признался, что при всем при этом не может понять только одного: почему ни врачи, ни его расчудесный аппарат не в состоянии распознать причину ноющих болей, которые мучают его вот уж который месяц. Причем не где-нибудь, а в изгибе локтя левой руки.

Тут мой визитер милостиво позволил себя осмотреть. Как и следовало ожидать, организм этого человека представлял необъятное поле деятельности как для древней китайской, так и для современной медицины. Я сообщил ему об этом с максимальной невозмутимостью, неосознанно стараясь восстановить свой авторитет, изрядно поблекший на фоне его немереных познаний в медицине, и потому обильно пересыпая свою речь туманными изотерическими терминами. Но главное в том, глубокомысленно заключил я, что нарушение общего энергетического статуса обусловлено значительным искажением эфирного поля на эмоциональном уровне. Не уверен, что суть сказанного в полной мере дошла до сознания моего пациента, но завершающая фраза явно впечатлила его. Тон стал доверительным, и я удостоился сообщения, предназначенного, по всей видимости, исключительно для избранных ушей.

– Ты прав, – сказал он, – я нахожусь под тяжелым душевным давлением.

Так и сказал: «Под тяжелым душевным давлением», а это значило, что мне, как обычно, необходимо просто набраться терпения и слушать.

– Смотри, – он перешел на пронзительный шепот, – я сейчас осуществляю два проекта. Один – на европейском уровне, другой – на мировом.

Европейский проект меня особо не впечатлил, и мой пациент, а я уже опять решил воспринимать его как пациента, сразу почувствовал это. Он собирался наводнить всю Европу своими чудодейственными аппаратами, начав почему-то с Германии (странное совпадение!), с которой его связывало происхождение семьи и знание языка. Пока он рассказывал о своих планах завоевания рынка, я думал, что есть нечто захватывающее в том, что ортодоксальный иудей собирается лечить немцев китайскими приборами.

– Но это, в сущности, мелочь, – провозгласил он, – по сравнению с проектом мирового значения!

Не знаю почему, в моей голове мелькнула мысль: неужели он собирается написать книгу? Абсолютно не понимаю, откуда она, эта мысль, взялась. А я ведь и сам в то время подумывал о необходимости записать свои умозаключения, казавшиеся мне чрезвычайно важными и глубокими.

– Я собираюсь написать книгу! – торжественно провозгласил он. – Вернее, я уже ее написал.

Помню, тогда, в порыве самоиронии, я подумал, что мои безысходные намерения взяться за перо привели ко мне этого человека специально для того, чтобы показать, как это выглядит со стороны.

– Я открыл ужасно важную вещь! – он встал, и взгляд его, направленный вдаль, наполнился сиянием. – Я понял, как любить Бога!

Он сделал паузу, посмотрел на меня в ожидании возгласов изумления и, не дождавшись, снова устремил взор в поднебесье:

– Люди глупы! Они не знают, как любить Бога, и в этом их проблема. И я решил объяснить им, как это делается... Книга как бы немаленькая, восемьсот страниц... Я написал ее на немецком (опять!) языке... Потом переведут на все остальные.

– Почему же не на иврите?

– А ты не понимаешь? Евреи слишком умные, они не будут покупать такую дорогую книгу. А вот гои... Гои – совсем другое дело. Моя книга написана для гоев. Она для них – откровение. Через гоев она завоюет весь мир.

Далее он развернул передо мной картину, где толпы гоев немецкой национальности, измученных блужданием по бездуховной пустыне, с облегчением припадают к животворящему источнику, бьющему со страниц его книги. Я не решился спросить, в чем же суть всепобеждающей идеи, да и автор старательно обходил эту тему. Видимо, открытый им способ любви к Создателю представлял собой коммерческую тайну. На самом деле, меня несколько не занимало просвещение гоев в одной отдельно взятой германской стране, усиленное прибором, напичканным древней китайской мудростью. Гораздо важнее было это странное созвучие идей, совпадение устремлений, и главное – многостранично обоснованная бескровная возможность покончить с генетическим наследием Амалека. Я внезапно ощутил нечто похожее на уверенность в том, что мир действительно стоит на пороге фундаментальных изменений и близится время по-настоящему справедливого воздаяния.

– Так оно! – завершил он, довольно болезненно хлопнув меня по плечу.

Я был уверен, что тема нашей встречи исчерпана, однако мой посетитель неожиданно, вместо того чтобы удалиться, вновь уселся в кресло. Возможно, подумал я, в изложенном мной эзотерическом диагнозе его не устраивает отсутствие каких-либо конструктивных предложений касательно конкретного локтевого изгиба, хотя, по-моему, сказанного было вполне достаточно, чтобы уразуметь, что это необъяснимое недомогание располагается далеко не в самом начале обширного списка более актуальных проблем. Похоже, он не разделял мою точку зрения. Более того, встретившись с его пытливо-сверлящим взглядом, я вдруг почувствовал, что дело вовсе не в локте, а в том, что все сказанное до сих пор было лишь прелюдией и сейчас он, наконец, собирается приступить к изложению истинной причины своего визита.

И не ошибся.

– Смотри, – медленно начал он, не сводя с меня глаз, – написать книгу – это только часть дела. Согласись, значительная часть. И я уже это сделал. Теперь осталось немного: нужно ее издать. Иначе как же она дойдет до тех, кому она адресована?

– Конечно! – я и не подозревал, к чему он клонит. – Конечно, надо издать! Как же иначе? Иначе не дойдет.

– Вот и я говорю! Только как это сделать?

– Ну, сегодня это проще простого! – я наводил порядок на своем рабочем столе, показывая тем самым, что у меня есть дела поважнее, чем обсуждение столь незначительных вопросов.

– Вот и я говорю! – он уложил руки на живот, доходящий почти до подбородка, и принялся рассматривать свои переплетенные пальцы. – Только ничего в этом мире не делается бесплатно.

– Несомненно! – согласился я, раздумывая про себя: а собирается ли он вообще-то платить за прием. – Бесплатно ничего!

– Вот и я говорю – ничего! Поэтому я к тебе и пришел.

– Что вы имеете в виду?

– А то, что ты можешь помочь нашему общему делу.

– Каким же образом? – я делал вид, что ничего не понимаю, хотя догадывался, о чем пойдет речь.

Среди моих пациентов встречалось немало тех, кто приходили ко мне с жалобами откровенно материального свойства. Одно время это повторялось так часто, что я даже подумывал о том, чтобы повесить на дверях своего кабинета объявление: «По поводу недостатка денег и отсутствия секса не обращаться». Но так этого и не сделал.

– Каким же образом? – повторил я с нескрываемой иронией – Вы что, действительно думаете, что я могу оплатить издание вашей книги?

– Разве я похож на сумасшедшего? – воскликнул он, демонстративно обводя взглядом более чем скромный интерьер. – Разве я не понимаю, где ты, а где деньги?

– Так что же вы от меня хотите? Приглашаете вместе ограбить банк?

– Ну, зачем так примитивно? – он натужно захихикал. – Хотя что-то в этом есть... Нет, уважаемый, никакого криминала! У меня имеется для тебя по крайней мере два варианта... Причем без всякого насилия. Смотри...

Первый вариант оказался примитивнее, чем ограбление банка. Вместе с моим пациентом посещает синагогу один невероятно богатый человек, который, по его собственным словам, и сам точно не знает, сколько у него денег. Человек-то религиозный, но – что порой случается с нашим братом евреем – скупой невероятно. Песка в пустыне не допросишься.

Вот к нему-то и нужно подкатить с идеей издания духовного бестселлера.

– Прекрасно! Только я-то тут причем?

– Вот я и говорю! – специалист по Господней любви снова уперся в меня сверлящим взглядом! – Смотри, я раздобуду тебе его фотографию, а ты своими силами, ну, как ты, говорят, умеешь «энер-ге-ти-чески», произведешь на него соответствующее позитивное воздействие. Чтобы он нам на книжку миллион и отвалил. У него этих миллионов все равно не считано, одним больше, одним меньше. Зато человечеству какая польза! Ну и нам с тобой...

– Миллион? – я оторопел. – Зачем вам столько?

– Интересно! А мне гонорар? А тебе за труды? Миллиона, может, и маловато будет... Только мы же с тобой не какие-нибудь хапуги! Нам лишнего не надо!

– Это же чистой воды грабеж! – у меня даже перехватило дыхание. – Неужели вы не понимаете, что это грабеж! И неважно, какое при этом оружие использовать! Эти силы даются для того, чтобы помогать людям, облегчать страдания, а вы...

– А я что, для собственной выгоды? – он возмущенно выпучил глаза, лицо его побагровело. – Разве я не для людей? Разве не для облегчения их страданий?

– Вы поймите, никто не вправе... – я вдруг испугался, что его хватит удар. – Вы только не волнуйтесь. Но поймите, никто не вправе пользоваться силой, чтобы отбирать... Нехорошо это... Неправильно... Даже ради самой достойной идеи...

Похоже, мой смущенный лепет подействовал на него успокаивающе. Он криво усмехнулся:

– Я, помню, как-то книжку читал. Русского писателя, между прочим. Давно это было, название забыл. Так там тоже один все ходил-ходил и все мусолил: «Дрянь я дрожащая или реальный мужик?» Ну-у-у, надоел! А в результате старушку соседскую то ли топором, то ли утюгом тяпнул. Это я понимаю – грабёж! Разве я тебе такое предлагаю? Я тебя что, прошу из него миллион утюгом выколачивать. Ты просто применишь такой неординарный метод убеждения. Энер-ге-ти-ческий! Разницу не улавливаешь?

– В принципе, разницы никакой! – я почему-то чувствовал жуткую усталость. – И покончим на этом! У вас там был второй вариант, и если он такой же, то лучше и не начинайте.

– Ты пойми, я же не для себя стараюсь, – он заговорил вкрадчиво, и в его голосе послышались пугающе знакомые интонации. – Вспомни, то, что мы задумали, должно изменить весь этот мир, а этого, брат, в белых перчаточках не совершить. Тут, брат, необходимо переступить через свое чистоплюйство интеллигентское. А ты из-за каких-то бумажек беспокоишься. А что будет, когда дело до дела дойдет?

– Когда дойдет, тогда видно будет, – я едва сдерживал раздражение. – Если хотите еще что-нибудь сказать – говорите, а то уже поздно, мне домой пора.

Мой собеседник бросил на меня сочувственный взгляд, помолчал и, не обращая внимания на мой неприязненный тон, неторопливо сунул руку за пазуху и вытащил оттуда сложенный вдвое продолговатый бледно-розовый бумажный листок.

– Что это? – я, признаться, подумал, что он достанет оттуда что-нибудь типа гранаты.

– Я-то надеялся, что мы сойдемся на более простом варианте, – он грустно вздохнул и протянул бумажку мне. – Этот для тебя позакковыристее будет, зато и наварить можно покруче.

– Так что же это? – я в недоумении вертел невзрачную бумажку, усыпанную сверху донизу цифрами.

– Что, не видишь? Карточка лотереи! – он крякнул, возмущенный моей тупостью: – Темнота!

– И что мне с ней делать?

– Как что? – он вскочил и забегал в промежутке между креслом и окном. – Боже мой! И этого человека избрали для осуществления высокой миссии! Что делать, что делать? Заполнять, конечно!

– Не понимаю!

– Ну что тут понимать? – он склонился надо мной и заговорил нарочито сладким голоском: – Ты, голуба моя, должен выбрать шесть номеров из тридцати семи и вот здесь под каждым поставить черточку. Понял?

- Нет, – я-то понимал, но мне ужасно хотелось его разозлить.
- О Господи! Когда ты выберешь шесть из тридцати семи, то под каждым поставь черточку. Шесть, и не из ста, а всего лишь из тридцати семи! И все. Понял?
- Понял. А под какими номерами?
- Это ты, ты сам должен узнать. Сам, понимаешь?
- А как же я узнаю?
- Слушай, ты ненормальный или прикидываешься? Кто из нас экстрасенс, ты или я?
- Ладно, – я вдоволь насладился его нервозностью, – что вы от меня хотите?
- Я хочу, чтобы ты воспользовался своим талантом и угадал шесть номеров из тридцати семи.
- И что? – меня удивляло, что такая простая и плодотворная идея не приходила ко мне в голову раньше. – И что дальше?
- Дальше мы получим пять миллионов, – он торжествующе плюхнулся в кресло, – издадим книгу, а остальные пополам!
- Пополам? – это выглядело забавно, но и возмущение столь вопиющей несправедливостью оказалось сильней. – Почему пополам?
- Ну хорошо, сорок на шестьдесят! – глаза его обратились в щелки, и я понял, что он просто так не уступит. – Тебе за труды, мне за идею.
- Тридцать на семьдесят! – меня тоже заело. – Иначе я даже не прикоснусь к этой жалкой бумажонке!
- Договорились, – он обиженно заерзал. – А ты, брат, крохобор! Только оригинал останется у меня. А ты уж постарайся! Розыгрыш через три дня.
- Уж постараюсь! – я изумленно слышал себя со стороны, словно моим голосом говорил кто-то другой. – А насчет крохобора – аккуратнее! Моя-то работа требует особого дара – это вам не старушек топором уговаривать. Так что вам и тридцати многовато.
- Я понимаю, это, конечно, будет потрудней, чем чужих жен дефлорировать! – его глаза сверкнули раскаленными угольками. – Только будем надеяться, что на этот раз до обмороков не дойдет.
- Не надейтесь! – у меня засосало под ложечкой – Не дойдет!
- Так оно! – провозгласил мой пациент, вернее, мой напарник, и попытался хлопнуть меня по плечу, но я вовремя отстранился. – Будем на связи!
- Он, пыхтя, протиснулся в дверь и исчез, а я еще некоторое время сидел, бездумно разглядывая усыпанный цифрами бледно-розовый листок.

Дорогу из клиники домой, через весь город на южную окраину Иерусалима, мой старенький автомобиль давно уже знал наизусть, и пока он пробирался сквозь играющую огнями сутолоку вечерних улиц, я доверился ему и бессознательно перебирал числа, среди которых притаилась заветная шестерка, отмеченная на этот раз капризной рукой Фортуны. Я не предавался глупым мечтаниям, знакомые практически каждому скромному труженику сладостные прожекты на популярную тему «Как правильно распорядиться не-

ожиданно свалившимся с неба богатством» не загромождали, как сказал классик, моего воображения. Гораздо больше меня занимали мысли о возможности проникнуть в будущее и овладеть им. Теоретически я был знаком с техникой этого действия – однажды, совершенно случайно мне попала слепая копия какой-то невероятной тайноведческой книги – однако до сих пор у меня так и не хватало решимости попробовать и встретиться с тем, что при этом могло открыться. Да что говорить обо мне, если со времен Адама тайна, скрывающая будущее, не беспокоила только двоих – Всевышнего да змея-искусителя.

Но сейчас задача была узкоутилитарной, и можно было не опасаться столкнуться с чем-нибудь таким, чего лучше не видеть и не знать. Речь идет просто о комбинации чисел, которая уже состоялась и откроется скоро, а потому уже существует где-то неподалеку, говоря языком эзотерики, в ближайших информационных слоях. Нужно только сосредоточиться и прочесть то, что уже записано в нескончаемую летопись событий, которую Господь сочиняет играючи, но которая нами воспринимается как преднамеренно выстроенная последовательность успехов и поражений. Ему наверняка и невдомек, что незначительная для Него разница между «тройка-семерка-туз» и «тройка-семерка-дама» для нас, смертных, обращается в непреодолимую дистанцию между вершиной удачи и пропастью разочарования.

А может быть, прав этот радетель духовного преображения говев и гораздо проще да и безопаснее было бы не вламываться в запретные владения Творца, а раскрутить нашего богатея на миллиончик-другой? О способах подобного воздействия сегодня можно прочесть даже в интернете. Тем более никто не отнимает у него последнее.

Нет, все-таки насилие есть насилие, и незачем строить из себя Робин Гуда. Я должен буду вглядываться в его лицо на фотографии, подавлять его волю и навязывать ему свою. А потом? А потом оправдывать себя тем, что отнял у него деньги на благое дело?

Нет, все-таки брать то, что пока не принадлежит никому – гораздо приличнее. Нужно только сосредоточиться, совершить предписанные ритуалом действия и увидеть числа, слепым случаем предназначенные для каких-то виртуальных, неизвестных пока никому счастливых. А они, эти счастливычки, не пострадают, потому как даже и не догадаются о том, что их обобрали. Тем более что с самыми высокодуховными намерениями.

Внезапно в мои размышления ворвался непонятный стук – кто-то барабанил в окно моей машины. Я повернул голову. Рядом ехал на мотоцикле полицейский.

– Остановиться у обочины!!! – прокричал он.

Я в недоумении подчинился.

– Открыть окно!!! – видно было, что этот черноглазый парень в короткой форменной куртке и каске раздражен невероятно.

Я покорно опустил стекло.

– Ты только что чуть не убил меня!!! – он не кричал, он вопил. Проезжавшие мимо водители замедлили ход. – Ты преступник!!!

– Преступник? – я действительно ничего не понимал. – Что я такого сделал?

– Ты – преступник дорожного движения!!! – по силе голоса и интонациям в нем легко можно было распознать потомка выходцев из северной Африки. – Нет, ты не просто преступник! Ты – убийца!!!

– Я? Убийца?

– Да, именно ты!!! Ты – почти убийца!!! Ты почти убил меня!

– Господи! О чем ты говоришь?

– О чем я говорю? Ты поворачивал направо? – он продолжал, сидя на мотоцикле и не снижая ни тона, ни уровня громкости. Неподалеку стали собираться любопытные. – Ты направо поворачивал, признавайся!

– Ну, поворачивал.

– А почему ты не посмотрел налево? Я ведь ехал тебе наперез! Это счастье, что был промежуток между машинами, и я вовремя успел увернуться. Ты же мог меня убить окончательно!

– Я посмотрел.

– Нет! Ты не посмотрел! Я видел! Ты обманываешь! Мало того что ты преступник, так ты еще и обманщик!

– Поверь, уважаемый, посмотрел, – я, правда, был в этом не совсем уверен. – Мне показалось, что ты еще далеко, и думал, что успею....

– Я же тебе сигналил!!! Ты что, не слышал? – он наклонился и, глядя на меня в упор, продолжал на той же ноте: – Посмотри на себя, немолодой уже человек, сидел бы дома, смотрел телевизор. Так нет! Ты специально сел за руль, чтобы убивать людей!!!

– Мне очень жаль! – сказать по правде, я не слышал никакого сигнала. – Я обычно езжу очень аккуратно. Я действительно очень сожалею!

– Посмотрите на него! – он возмущенно огляделся по сторонам. – Этот человек сожалеет!

Обличительная тирада вспыхнула с новой силой, хотя было видно, что он уже немного подустал. Снова и снова, несмотря на мой почтенный возраст, я был преступником, убийцей, обманщиком и человеком, не только не способным подождать немного, но и не желающим сидеть дома у телевизора. Я слушал, смиренно склонив голову, и думал о том, что вот сейчас он выкричится, потом потребует мои водительские права и выпишет повестку в суд. Хорошо если удастся отделаться только штрафом. Мне хотелось, чтобы все уже поскорей закончилось, но когда он, наконец, остановился, то ли для того, чтобы приступить к официальной части, то ли, чтобы просто отдышаться, я почти не сомневался, что дело пахнет тюрьмой. На всякий случай решил вставить:

– Поверь мне, я искренне сожалею. Ты прав – я виноват. Слава Всевышнему, все закончилось благополучно и никто не пострадал.

Полисмен полоснул меня суровым взглядом и, устремив глаза в темное небо, воскликнул:

– Вот так всегда! Вот так всегда мы предпочитаем надеяться на Бога вместо того, чтобы подождать две минуты! А еще взрослый мужчина! Всего тебе хорошего!

Он резко крутанул ручку газа и, обдав меня облаком удушливого дыма, укатил.

Только сейчас до меня дошло, что я только что едва не убил человека. Холодная волна накрыла меня, некоторое время я не мог пошевелиться. Попробовал думать, что все не так страшно, все обошлось, а этот темпераментный парень, как и принято в нашем народе, несколько сгустил краски. Потому что, если бы действительно – он бы меня так просто не отпустил. Может быть, у него у самого неприятности, и ему нужен был повод выплеснуть на кого-нибудь накопившиеся эмоции.

А если и в самом деле он был на волосок от гибели и дыхание смерти, пронесшейся рядом, испугало его настолько, что он напроць забыл о наказании преступника?

Я преступник?! Я мог стать убийцей?! Это слово застряло в горле и душило меня. Руки дрожали.

Спокойно, спокойно! Слава Богу, все обошлось. Все живы и здоровы. Впредь нужно быть внимательней и не думать за рулем о разных глупостях.

Кстати, о чем же я думал? Ах да, эта чертова лотерея....

Двигатель продолжал работать, я аккуратно передвинул рычаг скоростей и осторожно направился домой.

Ужасно хотелось спать.

Весь следующий день, несмотря на все мои старания не вспоминать о вчерашнем досадном эпизоде, глупый вопрос «как такое могло случиться со мной?» тарахтел в мозгу, не находя ответа. Вечером рассказал Ире о моей встрече с полицейским, как о забавном курьезе со счастливым концом. Рассказ ее не впечатлил.

Запершись в дальней комнате, я без всякого энтузиазма достал лотерейную карточку. Не почувствовал к ней ничего, кроме непреодолимой антипатии. Решил отложить тайноведческий обряд до завтра.

За дверью, в салоне негромко шепелявил телевизор, кресло дружески обнимало меня, я закрыл глаза. В голове, как в доме, пережившем наводнение, среди наступающего затишья плавали обрывки невнятных мыслей. Окутывала ласковая пелена, тело растворялось...

И вдруг – это длилось всего несколько мгновений – я увидел себя внутри гигантской паутины, сотканной из тончайших разноцветных нитей. Она опутывала все вокруг: улицы, дома, людей, птиц, облака, деревья... Нити пересекались, сплетались в узлы, свивались в затейливые узоры, и среди них я различал знакомые силуэты, лица, взгляды. Во всем этом не было ничего угрожающего. Скорей волнующее ощущение того, что стоит только пошевелиться, даже просто вздохнуть, и вся эта необъятная сеть придет в движение. И во все ее немереные дали по вздрогнувшим нитям понесутся волны, затягивая или развязывая узлы, свиваясь в новые узоры. И все изменится...

Мне хотелось удержать это видение, войти в него, попытаться уловить хоть какую-нибудь закономерность головокружительных сплетений и, может быть, приблизиться к Тому, кто наверняка обитает в самом центре этого невообразимого клубка. Но тщетно! Картина, словно рисунок на прибрежном песке, неумолимо размывалась и таяла.

Всего несколько мгновений, но их оказалось достаточно, чтобы беспорядочные, на первый взгляд, эпизоды последних дней сложились, как фрагменты мозаики.

Бабочка взмахнет крыльями в Айове, и ни Лоренц, и никто другой не сможет предугадать, чем обернется дождливый сезон в Индонезии. Аннушка купит бутылку подсолнечного масла, женщина-комсомолка поведет трамвай по обычному маршруту, и обе они даже не догадываются, что в связи с этим кто-то расстанется со своей головой. Кому из смертных доступно постичь логику, по которой линии наших жизней, моей и этого славного блюстителя порядка, пересеклись именно так? Тысячи мельчайших случайностей могли привести к тому, что мы могли бы и вовсе не встретиться или произошло бы непоправимое. Мы можем рассуждать о карме, можем в меру сил блюсти заповеди, но разве в мире, где все связано со всем, нам дано предвидеть, к чему приведет безобидный поступок, жест, чем «отзовется слово», а тем более прикосновение к будущему? К каким последствиям может привести моя попытка магическими выкрутасами притянуть удачу, изменить то, что предготовлено хозяином головоломной паутины? А если вслед за этим где-то, на каком-нибудь перекрестке меня или кого-то другого настигнет несчастье, не предназначенное нам изначально?

Словно непосильная ноша свалилась с плеч, сердце мое наполнилось благодарностью. Я мысленно благодарил этого бравого полисмена, который возник на моем пути, чтобы столь неординарным способом напомнить о неотвратимом законе причинности. Причем, что немаловажно, совершенно бесплатно. Я благодарил преподобного Фрейда, открывшего таинство подсознания – ведь это оно проделало за меня всю аналитическую работу и услужливо развернуло передо мной ее красноречивые результаты. Самому подсознанию я, естественно, был благодарен отдельно. Кроме того, с первой же минуты я, если говорить откровенно, очень сомневался в том, что действительно смогу отгадать счастливую комбинацию, а потому был искренне рад, что нашлась вполне убедительная причина не прикасаться к тому, что, скорей всего, было мне недоступно, и тем самым, что называется, сохранить свое реноме.

Как я и предполагал, пациент-напарник позвонил ночью:

– Как наши дела? – на фоне звучали веселые голоса, наяривал игривый мотивчик.

– Записывайте! – я посмотрел на часы, было без четверти три. – Три...

Дальше, глядя в потолок и сохраняя соответствующую интонацию, я называл цифры: день рождения Ленина, номер своей квартиры, цену «Мальборо», количество министров израильского правительства, число томов Большой советской энциклопедии... Когда я назвал свой размер обуви, мой собеседник, до сих пор напряженно сопевший, удивился:

– Этот, вообще-то, лишний, да и номера-то всего до тридцать седьмого!

– Ты прав! – легкомысленно отпарировал я. – Это уже из следующего блока.

– Что ж, – в его голосе звучало сомнение, – теперь осталось только дождаться достойного воплощения нашей благородной идеи.

– С божьей помощью! – я положил трубку и с наимприятнейшим чувством исполненного долга отправился досыпать.

Вечером следующего дня он снова звонил и, порой всхлипывая, порой переходя на крик, долго разглагольствовал о враждебном окружении, об иранской ядерной угрозе и о равнодушии Евросоюза, которое погубит Израиль. Я слушал вполуха. Из того же, что касалось лично меня, мне удалось понять, что возможность судьбоносного издания может быть безвозвратно упущена, поскольку некоторые безответственные граждане позволяют себе наглость угадать только четыре номера, а шестидесяти семи шекелей, полученных в качестве выигрыша, хватит разве что на приобретение успокоительных капель для автора, пережившего в связи с этим тяжелую душевную травму.

14

Прошло недели две, а может быть, и три; то был для меня один из тех периодов отстраненности от окружающего, когда отпечатки безликих дней теряются в однообразии мутного потока времени. Ты отмечаешь в сознании начало недели, день первый, бездумно окунаешься в накатанную последовательность суетных действий и вдруг обнаруживаешь, что уже наступил день шестой: рутинная хозяйственная беготня, как чистка зубов перед сном, праздничный ужин – бодрящая приправа к анемичному вареву будней – и плавное стекание в благословенную неподвижность шабата... В такие времена происходящее вокруг представляется затянувшейся мыльной оперой без начала и конца, где основная сюжетная линия настолько затерялась среди банальных эпизодов, что каждое утро необходимо напоминать себе содержание предыдущих серий.

После того, что произошло, вернее, не произошло, мне, похоже, не оставалось ничего, кроме как смириться с тем, что я не достигаю до уровня, необходимого для воплощения глобальных миссий. Что поделаешь, если «в минуты роковые» кому-то предназначено выйти на поле, а кому-то – лишь глазеть со стороны? Конечно, червячок ущемленного самолюбия просыпался порой и покусывал, но я успокаивал себя тем, что, в конце концов, честно возделывать свой маленький, соразмерный дарованию огород – занятие, вполне достойное уважения.

15

Я был практически уверен, что мне уже нет места в могущественном миньяне, среди вершителей справедливого воздаяния, в достаточной степени разочарованных моими более чем скромными способностями. Но оказалось, что это далеко не так. Мало того, но и «немецкая тема» еще не ушла из моей жизни.

Позвонил мой давний пациент Шимон. Шимоном он стал в Израиле, а до этого был просто Сеней. Человек симпатичный и во всех отношениях положительный, он отличался тем, что не за-

труднял себя по отношению к собеседнику никакими обязательствами, поскольку слова в его пользовании походили на грубо обработанные заготовки, и распознавание их смысла требовало немалой сноровки и сообразительности. Переезд на историческую родину добавил к его лексикону десятка два ивритских слов, применение которых в смеси с русскими Сеня-Шимон почему-то считал особым шиком. Его нисколько не беспокоило, что тем самым задача понимания его речи усложнялась по крайней мере вдвое. С тех пор как однажды мне удалось ему помочь, я пользовался его особым расположением, и это выражалось в том, что в разговоре со мной он повторял каждую фразу трижды.

Некоторое время понадобилось мне для адаптации в своеобразной атмосфере Шимонова мыслевыражения. К тому же он был не на шутку взволнован, что, само собой, усложняло и без того нелегкую задачу расшифровки передаваемой информации.

С третьей попытки мне удалось понять, что бедная Галит в гипсе, бедная Наташка – в коме, а бедная мама – в шоке. Еще некоторых усилий стоило уразуметь, что мама – это его мама, Наташка – это его сестра, а Галит – дочь. В другое время восхитительные особенности Сениного повествования заслуживали бы большего внимания, но сейчас, к сожалению, их придется опустить, дабы не отвлекаться от сути.

Наташка (на самом деле Ирма, но эта метаморфоза объяснилась потом) в свои сорок восемь «облазила весь земной шарик вдоль и поперек». У нее же пружина в заднице! То в пещеры попрется, то в пустыню, то в горы. То на лыжах, то на плотах, то на велосипедах. То на стену к китайцам, то на Мачу-Пикчу к инкам. А тут Галитке, дочери, исполнилось шестнадцать. Ну и Наташа уговорила в Индию, в какой-то штат (названия я разобрать так и не смог, как ни старался). Мол, на джипах, через джунгли – незабываемый подарок ко дню рождения. Так и получилось – незабываемый! Поехали втроем, а Софка, жена (это просто счастье!), не захотела, дома осталась. Намучились – мошкара, духотища! Две ночи не спали. В общем, Сеня задремал за рулем, джип скovyрнулся в канаву. На самом-то, смешно сказать, только пара синяков да царапины, у Галит – двойной перелом бедра и еще ключицы, а Наташку бедную так без сознания в Израиль и привезли. Сейчас в «Шаарей-Цедек». Дышать-то дышит, только вывести ее из комы никак не удастся. Врачи только руками разводят. Может быть, можно сделать хоть что-нибудь?

– Может быть, можно сделать хоть что-нибудь? – повторил он троекратно.

Через полчаса мы с Шимоном были по дороге в больницу.

Со случаями коматозного состояния мне приходилось сталкиваться всего несколько раз. Греки называли его глубоким сном, современная медицина – патологическим угнетением функций центральной нервной системы. Но какими бы заумными терминами ее ни определять, кома всегда выглядит одинаково печально: осиротевшее тело бездумным автоматом функционирует само по себе,

а неподалеку мается душа, которая отделилась от него, но по неизвестным причинам задержалась и не вознеслась в поднебесные просторы. Не зря эзотерические писания говорят о связывающей тело и душу «серебряной нити», ее не разорвать без повеления свыше. А повеление еще не прозвучало.

Человеку, далекому от биоэнергетики, трудно в это поверить, но при соответствующих навыках можно увидеть, как они, тело и душа, страдают рядом друг с другом – ни соединиться, ни расстаться. Это и есть кома.

Что происходит во время пребывания на границе бытия-небытия? Ведь это может продолжаться дни, месяцы, годы, а то и, рассказывают, десятки лет. Возможно, Всемогущий Судья, подобно нам, смертным, подвержен сомнениям и держит паузу, чтобы поразмыслить о дальнейшей судьбе своего творения? А может быть, сам человек, облеченный свободой выбора, ступив на полшага за порог смерти, терзается мучительным вопросом «быть или не быть»? Вернуться ли его душе в истерзанную жизнью плоть? Бороться, страдать, смириться или сделать еще шаг и «уснуть и видеть сны»?

Те, кому предначертано исцелять, не могут позволить себе роскошь даже задаваться подобными вопросами. Им положено не рассуждать, а действовать во благо жизни. Их предназначение – сделать все, чтобы вернуть душу в оставленное ею тело. Всеми доступными средствами, какими невероятными они бы ни казались.

У дипломированных врачей свои методы. Целитель же стремится к контакту с обездоленной душой: ищет с ней общий язык, уговаривает вернуться, убеждает, настаивает, а в случае необходимости вдыхает в нее энергетический импульс. И если удастся, то все это помогает душе совершить свой выбор, и появляется надежда, что чаша весов в деснице Милосердного, внявшего ее устремлению, склонится в сторону жизни.

Дважды мне это удавалось...

17

Я плохо переношу атмосферу больниц. Мало того что это не самое радостное место на земле, каждый раз необходимо прикладывать усилия, чтобы отгородиться от удушливого пространства, насквозь пропитанного страданием. Здесь все дышит им: и картины на стенах, и цветы в горшках, и нежно-зеленые одежды врачей. Да и название этой больницы – «Шаарей-Цедек» – «Врата Справедливости» – само по себе неизменно наводит на печальные размышления.

Когда мы пришли, был уже поздний вечер. Бессонная тишина неторопливо заполняла тускло освещенные коридоры. Дежурная медсестра проводила нас невидящим взглядом. Вслед за Шимоном я вошел в палату. Застоявшийся воздух вздрагивал от хрипловатого дыхания, вдалеке слышалась тихая мелодия. Наташина постель возле темного, усыпанного звездами окна была отгорожена плотным серым занавесом. Под одеялом угадывалось крепко сбитое тело, крупное лицо обрамляли аккуратно уложенные светлые волосы. Если бы не капельница у изголовья, не пучки прово-

дов на белизне простыни и не тревожно мигающие огоньки мониторов, можно было бы подумать, что женщина безмятежно спит. Впечатление покоя усиливалось еще и тем, что на стуле рядом с кроватью, приложив к губам длинную деревянную свирель, сидела смуглая хрупкая девушка. Самозабвенно закрыв глаза, она едва слышно наигрывала незатейливый мотив.

В ответ на мой вопросительный взгляд, Шимон, нисколько не смущаясь, громким шепотом объяснил мне, что это одна из тех бродячих волонтеров-буддистов, которые утверждают, что пациентам отделения интенсивной терапии очень помогает медитативная музыка. Врачи смирились и не обращают на них внимания, ну и он, Шимон, не возражал. Пусть себе пиликает, хуже ведь от этого не будет.

– Хуже не будет, – согласился я, – только мне нужна тишина. И чтобы без посторонних.

– Понятное дело!

Шимон бесцеремонно положил руку на плечо девушки. Она вздрогнула, огляделась по сторонам, опустила свою дудочку. Поднялась со стула, и на ее обнаженном животе, вокруг украшенного серьгой пупка, стала видна замысловатая, величиной с блюдце, татуировка.

Уходя, она неожиданно приблизилась ко мне и, сверкнув огромными карими глазами, прошептала:

– Только не отпускай ее!

Этот проникновенный взгляд показался мне на удивление знакомым...

Она-то ушла, а вот Шимон, судя по всему, вовсе не намеревался оставлять меня наедине с Наташей.

– Ты работай, работай! – он уселся на стул и развернул газету. – А я тут тихонечко, в уголочке... Ты же сам сказал, чтоб тишина и без посторонних...

Что было делать? Не заставлять же его ждать в коридоре? Я сделал несколько глубоких вдохов и принялся сосредотачиваться. Из всех сил старался отрешиться от окружающего, только ничего не получалось: Шимон сопел, ерзал, шелестел и даже несколько раз охал, возмущенно тыча пальцем в газетный лист. Когда, просмотрев последнюю страницу, он с треском сложил эту противную газетенку, я с надеждой подумал, что, может быть, сейчас он уснет и наступит, наконец, долгожданная тишина. Но не тут-то было. Минуту-другую он сидел неподвижно, пристально глядя на меня, а потом робко заговорил:

– Извини, не хочу тебе мешать. Ты мне только скажи – что происходит?

– Что происходит, что происходит? – я чувствовал, как меня охватывает раздражение, а это был явно нехороший признак. – Я пытаюсь сосредоточиться!

– Сосредоточивайся, конечно! Не хочу тебе мешать! – он сел поудобней. – Ты мне только скажи: ты сможешь вытащить Ирму?

– Не знаю, но я постараюсь!

– Не хочу тебе мешать, но ты уж постарайся, пожалуйста! Жалко будет, если Наташка не выкарабкается! Мама этого не перенесет!

– Послушай, – я уже понял, что мне вряд ли в ближайшее время удастся добиться желаемого, – а почему ты называешь сестру то Наташей, то Ирмой?

– Дело в том... – Шимон говорил медленно, как бы нехотя. – Дело в том, что она мне не совсем сестра.

– Как же так?

Не могу сказать, что меня это очень интересовало, но Шимон уже приготовился рассказывать, и не хотелось лишать его удовольствия. Тем более что за последний час я вполне приспособился к манере его речи. Кроме того, подробности биографии Ирмы-Наташи могли помочь мне настроиться.

– Меня назвали в честь моего прадеда, Шимона Шехтера...

Конечно, можно было предполагать, что он начнет издалека, однако я не ожидал, что из такого. Но было уже поздно...

Его назвали Семеном в честь прадеда, главного раввина в небольшом украинском городке неподалеку от Житомира. По приезде в Израиль Сеня просто восстановил свое настоящее имя. Прадеда арестовали в тридцать девятом, и с тех пор никаких сведений о нем разыскать не удалось. После войны из всей семьи уцелела только младшая Мирьям, бабушка Шимона. Четверо ее братьев ушли воевать и не вернулись, сестра умерла от тифа в далеком приуральском поселке. Мать семейства, прабабка Хана, погибла вместе со всеми оставшимися евреями – их было около двух тысяч. Не захотела бросать огромный дом, построенный еще ее дедом. Я знаю немцев, говорила она, провожая дочерей в эвакуацию, в четырнадцатом году они уже здесь были. Никого не обижали, и все «битте, битте». Вы-то поезжайте, эта суматоха когда-нибудь закончится, а я пока за домом присмотрю.

Только немцы пришли другие. Старую Хану вместе с семьей нового раввина и кантором городской синагоги закопали живьем в канаве, за оградой развороченного танками еврейского кладбища. В большом дедовом доме расположилось гестапо.

Когда бабушка Мирьям, Мария Семеновна Шехтер, вместе с дочерью, девятилетней Поленькой, вернулась после войны в родной город, все комнаты их уцелевшего дома были уже заселены. Марии досталась крохотная кладовка с узким зарешеченным окном.

Поленька, Сенина мама, родилась в тридцать шестом. Об ее отце, своем муже, бабушка никогда не заговаривала. Рассказывали, что он был красавец, из очень даже приличной семьи, но, как оказалось потом, «ходок», выпивоха и картежник.

В году, наверное, пятьдесят восьмом – пятьдесят девятом, в рамках стратегического сотрудничества между ГДР и Союзом, на военную авиационную базу, расположенную неподалеку от города, приехал немецкий инженер Генрих Зоммель, с женой и годовалой дочерью. Чем там он там занимался, Сене, конечно, неизвестно, но не прошло и года, как на центральной улице произошла редкая для небольшого городка авария – «Победа», в которой ехал немецкий специалист с женой, столкнулась с самосвалом. Жена погибла на месте, а у Генриха – перелом ноги и сотрясение мозга. Через неделю прямо из больницы его увезли в Восточную Германию и там упрятали в тюрьму. Ходили слухи, что на самом деле он был двойным агентом. «Штази» работало не хуже КГБ.

Дочери Зоммелей было года полтора. Пока решали, что с ней делать – мать погибла, отец-шпион в тюрьме за границей, поместили в «Дом ребенка». В том славном заведении бабушка, Мария Семеновна, работала воспитательницей. Детей она всегда предпочитала взрослым, а к этой белокурой голубоглазой девчужке просто душой прикипела. А та – к ней.

Когда девочке исполнилось три года, встал вопрос о переводе ее в детский дом. В городе-то детских домов не было, ближайший – в Житомире, километров восемьдесят оттуда. Только бабушка никак не хотела с девочкой расставаться, задумала ребенка удочерить. К тому времени она уже была депутатом горсовета, а может быть, народным заседателем, в общем – не последним в городе человеком. Связи свои задействовала, одна проблема – возраст, ей уж за шестьдесят было. В результате официально приемной матерью ребенка стала Полина, бабушкина дочь, у которой уже был на руках пятилетний Сеня, сын от первого брака.

Вообще, Полина, мама, замужем была пять раз, но так и осталась одна. А дочь немецкого инженера стала Наташей Соколовой – мамина фамилия по первому мужу, но жила-то, конечно, с бабушкой. Сейчас смешно вспоминать, но маленького Сеню это обижало, ему казалось, что бабушка любит Наташку больше.

Когда Наташе исполнилось двенадцать, какой-то бабушкин знакомец из органов сообщил ей, что Генрих Зоммель уже несколько лет как реабилитирован, что все обвинения с него давно сняты, и более того, что он в своей Германии опять в больших чинах. Бабушка себе места не находила, а потом решила отправить девочку к отцу. Только ненадолго, говорила, погостить, познакомиться с родственниками. Но когда Наташа уехала, бабушка со слезами призналась Сене, что лучше было бы ей там остаться насовсем. Мое сердце разорвется, повторяла она, но пусть ребенок хоть проживет по-человечески.

Месяц в Германии Наташа проплакала, каждый день писала бабушке письма. Ее не интересовали ни германские красоты, ни наряды, которыми ее завалили, да и к папаше, у которого уже была новая семья, никаких чувств в ней так и не пробудилось. Следующий раз она увидела отца уже на его похоронах.

Потом Наташа окончила школу, поступила в киевский мединститут, там же вышла замуж за еврейского парня, увлеклась туризмом, носилась по всей стране (у нее же пружинка в заднице), а в девяностом, в разгаре большой алии, вместе со всей семьей переехала в Израиль.

– Так что же, выходит, твоя сестра – немка? – это был, конечно, на редкость глупый вопрос, но он у меня вырвался сам собой.

– В том то и дело, что не совсем, – Шимон говорил неторопливо и внятно. – Когда здесь, в Израиле, она разводилась со своим прекрасным муженьком, который, между нами говоря, мне с самого начала не очень, так он, сволочь, чтобы Наташке нагадить, в раввinate заявил, что она, мол, не еврейка. Мы перепугались, уже думали – все, сейчас Наташку из страны попрут. Бабушка там плакала, семейные фотографии притащила, о своем отце-раввине рассказывала. Она ведь у нас хоть и общественница, но дома, потихоньку, все еврейские праздники соблюдала. В общем, мудрецы

посоветовались, посоветовались и вынесли вердикт: раз женщина чуть ли не с самого рождения росла в еврейской семье, да еще такой – быть ей полноценной еврейкой! Ты представляешь!.. Когда бабушка умерла, уж лет пятнадцать тому, Наташка имя сменила на то, которое родители ей дали. А фамилию – на бабушкину. Теперь она – Ирма Шехтер. Вот такая история.

Время приближалось к полуночи.

– Послушай, Шимон, – я чувствовал, что сказанного вполне достаточно, и мне необходимо остаться с Ирмой наедине, – ехал бы ты домой, а здесь еще посижу, попробую что-то сделать. А ты сюда завтра приходи, с утра.

– Понимаю. Я бы пошел, чтоб не мешать, так мне же нужно тебя назад отвезти.

– Не волнуйся, я как-нибудь доберусь.

– Ну, как знаешь. А я тогда завтра... с самого утра... – его слова опять напоминали полуфабрикаты.

И он ушел. В нахлынувшей тишине осталось лишь попискивание приборов и хрипловатое дыхание за занавеской.

Что же с тобой, Ирма-Наташа? Почему задержалась ты на границе двух миров? Если обуревают тебя сомнения, вспомни о тех, кому ты нужна здесь, о тех, кто любит тебя! Ведь уйти легко, но подумай, как тяжело тем, которые остаются и наедине со своей памятью обвиняют себя за то, что не сумели тебя уберечь. Что же заставило тебя отрешиться от своего тела, сделанного так добротно и предназначенного для долгой жизни? Что же? Что же?

Да, я вижу. Раздробленные кости таза, кровоизлияние в брюшной полости, перелом двух шейных позвонков. Кажется, я понимаю. Ты можешь вернуться, но ты уже никогда не будешь той, которой была всю жизнь – непоседливой, неутомимой, неугомонной. Ты станешь убогим, прикованным к коляске растением, нуждающимся только в уходе и сострадании. Разве ты можешь согласиться на это? И вместе с тем ты не уходишь. Неужели жизнь, даже такая, настолько важна для тебя, что ты не в силах расстаться с ней? Ты сомневаешься? Ты хочешь, чтобы я помог тебе принять решение?

От волнения у меня перехватило дыхание. Мне вдруг показалось, что от меня зависит судьба этой женщины, словно мне предоставлена, на меня свалилась тяжесть выбора: либо возвратить ее душу в изломанное тело, способное лишь на безрадостное бездумное существование, либо позволить ей освободиться окончательно и, переступив границу бытия, воспарить туда, где ее любимая бабушка наверняка ожидает ее. Сохранить жизнь, какой бы она ни была, или позволить смерти восторжествовать и тем самым принести избавление?

Наваждение длилось не более минуты. Я подошел к изголовью кровати, наклонился над Ирмой и прошептал:

– Прости, но я не стану убеждать тебя остаться. А дальше – будем уповать на Господне милосердие.

Когда я вышел из здания больницы, ночь была в самом разгаре. Чопорные фонари оттеняли черноту пронизанного звездами неба. На скамейке неподалеку от входа, зажав между коленей

свою дудочку, сидела знакомая мне большеглазая девушка. Ее хрупкая фигура излучала беспокойство. Я присел рядом и закурил.

– Я же тебя просила, чтобы ты ее не отпускал! – проговорила она неожиданно злобным шепотом.

– Просила. Ну и что? – я чувствовал, как в моем сердце разливается покой. – Я не мог позволить себе убеждать ее очнуться, чтобы стать безмозглым нечеловеком.

– Не мо-о-ог! Позво-о-олить! – девушка вскочила, размахивая своей дудочкой, как саблей. – А ее единокровнички, те самые немецкие выродки, которые нас травили, расстреливали и в печах жгли, могли себе позволить?

– А Ирма тут при чем? – я вдруг вспомнил, где я видел эти глаза. Ими на меня смотрела та несуразная собачонка на ашкелонском пляже. – При чем тут Ирма? Она ведь теперь наша, еврейка.

– Еврейка! Это по документам! А куда девать кровушку Амалекову? Она-то в жилах как текла, так и течет. Пусть бы и жила в утробе своей изломанной, не умирала бы, а мучилась. Так бы их всех, вот оно – справедливое воздаяние!

– Чушь собачья! – эта злобная пигалица не вызывала во мне никаких эмоций, кроме брезгливости. – Ты сама ненормальная, и хозяин твой псих!

– А ты – добренький! Сам небось, будь твоя воля, полмира бы передумал... А корчит из себя... Импотент!!!

Я, не торопясь, потушил сигарету, встал и направился к стоянке такси.

Она еще что-то кричала мне вслед, но поднявшийся ветер уносил ее слова в сторону военного кладбища на горе Герцля.

Назавтра вечером позвонил Шимон – Ирма умерла.

18

Знойные недели текли одна за другой, но их плавное однообразие больше не удручало меня. Впервые за полтора десятка лет в Израиле я ощущал принадлежность к этой земле, будто что-то во мне наконец состоялось, и она узнала и приняла меня. Я бродил по разомлевшим от жары улицам, рассматривал истертые временем стены, вглядывался в лица, вспоминая их, и вновь обретал Иерусалим, словно блудный сын, возвратившийся сюда после долгих скитаний по чужим дорогам.

Среди этого неторопливого течения неожиданно объявился Рами. Его было не узнать – похудел, выглядел опрятно, всем видом демонстрируя еще не вполне обжитую самоуверенность. Просто шел мимо и зашел сообщить, что все нормально, живот его больше не беспокоит и что Адина, между прочим, беременна. Говорил сначала несколько вызывающе, но потом долго жал мне руку, даже шутил, подмигивал, благодарил за моральную поддержку. Я был искренне рад за него.

Жизнеутверждающий визит Рами вернул меня к мыслям о ретивых радетелях всепобеждающей справедливости. Похоже, они, разочаровавшись окончательно, оставили меня в покое, а я не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления. Скорей на-

оборот, старался не вспоминать о своей глупой увлеченности их несуразными идеями.

Только куда деваться от мыслей? Во всей этой истории, само собой разумеется, мучительно недоставало одной детали, пусть и небольшой, но без которой, как в любом порядочном детективе, никак не удавалось связать разрозненные куски в единую стройную композицию. Ее отсутствие будоражило воображение.

Отправился в Старый город. Никто из профессиональных нищих – постоянных обитателей площади перед Стеной Плача – не мог припомнить старика, которого я им описывал. Тем более с собакой. Собакам вообще сюда вход запрещен, доверительно сообщил мне торговец благословениями и средствами от сглаза.

В отделении реанимации больницы «Шаарей-Цедек» никто никогда не видел девушек-волонтеров с татуированным животом и серьгой в пупке. Ни со свирелью, ни с другими посторонними предметами.

Позвонил Шимону. Тот долго не мог понять, о чем я говорю, потом, так, по-моему, и не поняв, принялся рассказывать о знакомых ему явлениях, сопровождающих депрессию и нервное истощение, только у меня не хватило терпения расшифровывать его речь.

Не оставалось ничего, кроме как смириться с неизвестностью. Я уже давно стал замечать, что по мере взросления категории, казавшиеся мне раз и навсегда понятыми и потому составляющими фундамент моего мироощущения, теряют свою незыблемость, рушатся, рассыпаются в песок и просачиваются меж пальцев, а на их месте возникают наивные, безответные вопросы, которых становится все больше и больше, гораздо больше, чем ответов. Так что не было ничего экстраординарного в том, что к ним прибавилась еще один вопрос.

Осень вступала в город: на улицах появились стайки школьников с разноцветными рюкзаками, а на прилавках – мед в затейливых баночках, заметно прибавилось автомобильных заторов, а в прожитом календаре оставался один неперевернутый лист. С приходом Рош а-Шана меня, как и всегда в дни еврейских праздников, охватывала грусть. Как ни старайся, невозможно отрешиться от того, что впитано с детства. Можно понять, что начало года гораздо легче связывается с завершением уборки урожая, чем с малоубедительной датой рождения одного из бродячих иудейских учителей, прихотью случая возведенного в ранг Спасителя. Можно стараться думать, что в эти дни Небесный Судия выносит Свой, закрепленный печатью вердикт о судьбах мира. Но любимый с самого детства праздник, снежный, елочный, дедморозовый, трудно совместить с яблоками, медом и пыльной раскаленной добела осенью. Однако праздник, независимо от концепций и конфессий, – всегда праздник, потому как человек, выросший на лоне широкодушевной русской культуры, всегда готов с благодарностью принять любой повод для встреч, застолий и возлияний.

В первый день нового года мы с друзьями собрались поехать к морю. Жене моей было безразлично, а я предложил направиться в Ашкелон, надеясь, кроме всего прочего, встретить там моего таинственного знакомого-незнакомца. Договаривались выбраться по-

раньше, но утро пролетело в бестолковой суете, потом накатила жара – в общем, выехали из Иерусалима после обеда.

Вавилон по сравнению с ашкелонским пляжем мог бы показаться безлюдной пустыней. Среди разноязыкого гомона, дыма мангалов и нагромождения тел всевозможных расцветок и комплекций носились мотивы восточной музыки и окрики спасателей. Мои спутники во главе с Ирой, не теряя времени, ринулись в море, хотя, чтобы добраться до воды, требовалось нешуточное усилие, а я принялся бродить вдоль берега, старательно присматриваясь к своим отдыхающим согражданам и не без удовольствия отмечая в них отсутствие следов длительного голодания или озабоченности темой всеобъемлющей справедливости. Моего памятного собеседника среди них не было, но я шел и шел, пока песчаный пляж не уперся в подножие подернутой зеленью скалы. Едва заметная тропинка повела меня вверх, и там, на узкой площадке, возвышающейся над беспокойной пенистой водой, я увидел небольшую группу празднично одетых мужчин, по всей видимости, совершавших молитву. Остановился, чтобы не мешать, но в это время церемония уже завершилась, мужчины бережно закрывали свои молитвенники и, тихо переговариваясь, начинали расходиться. Когда они приблизились ко мне, я увидел среди них Мою.

– Эммануэль! – я вдруг почувствовал, как мне была необходима встреча именно с ним. – Какими судьбами ты здесь?

– Хорошего года! – Мона выглядел умиротворенным. – Да вот приехал. Друзья пригласили встретиться у них Рош а-Шана. А я давно мечтал провести этот день у моря.

– Да, конечно, здравствуй! – я немного смешался от неожиданности. – И тебе хорошего года! И печати!

– Амен, амен! – Мона был явно не расположен к разговору. – А ты что, приехал в море помочиться?

– Да. Вроде того.

Некоторое время мы шли молча, обходя стороной шумный пляж.

– Послушай, Мона, – наконец не выдержал я, – может быть, это глупый вопрос, но он не дает мне покоя.

– Если не дает покоя, – он резко обернулся ко мне, – спрашивай!

– Скажи мне... что такое... Амалек? – я с трудом подбирал слова. – Господь повелевает стереть память о нем, но как это сделать, если я не чувствую в себе способности ответить ненавистью на ненависть?

– Ненавидеть – это просто! – янтарные Монины глаза пронизывали меня насквозь. – Так же просто, как искать Амалека вне самого себя.

Я еще долго стоял и смотрел, как он удаляется семенящей походкой уже далеко не молодого человека. Потом вернулся на опустевшую площадку на скале. Море внизу беспокойно пенилось и шептало эхом произнесенного здесь:

– И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши.

ноябрь 2012 – февраль 2013, Иерусалим

Марк Вейцман

ПО, ЧТО БЫЛО НАМ ДОВЕРЕНО

* * *

...И пролился дождик редкий,
Как предсказано – местами,
И украсилась сурепка
Желтоватыми цветами.

И, как в Песах богомолки –
За вином и за мацою,
К ней пожаловали пчёлки
За нектаром и пыльцою.

И края с такой же травкой
Сотворились из тумана,
Сопряжённые с затравкой
Среднешкольного романа,

Что к сюжету привязало
Иудейскую пустыню,
Да ещё и обязало
Молодую героиню

Появляться временами
За взаимностью в погоне
Меж библейскими холмами
На янтарном этом фоне.

* * *

В больничном коридоре
Оркестрик «Автотранса»
Врачует наши хвори
Посредством танцев Брамса,

А тем, кто тихо стонет
Иль бредит, умирая,
Внушает мысль о том, что
Они в преддверьи рая.

И веет страстью прыткой
И молодостью дерзкой
От музыки австрийской
И удали венгерской.

И можно в чистом поле
Скакать, подняв забрало,
Когда б душа от боли,
Как мышь, не замирала.

* * *

Не впечатлил. Не показался.
Не убедил. Не победил.
Остервенился. Нализался.
В водоотстойник угодил.
В реанимацию. В палату.
В больничный морг и на погост.
Зажилил долг. Не внёс квартплату.
Подвёл невесту. Вот прохвост!

* * *

Ни ветерка, лишь нервно вздрагивает
И мелко зыблется овёс
Там, где змея мышонка втягивает
В себя, как мощный пылесос.
Теперь ни солнышка сияние,
Ни трав упругость под пятой
Нас убедить не в состоянии,
Что мир спасётся красотой.

НАПУТСТВИЕ

Не вздыхай напрасно
И не суетись:
Без тебя прекрасно
Смогут обойтись,

Вытерпеть невзгоды,
Выиграть бои
Без твоей заботы,
Без твоей любви.

Ну а в кущах райских,
Вне сердечных смут,
И без аусвайса,
Кто ты есть, поймут.

Подпоёшь негромко
Ангельской трубе –
И твои потомки
Вспомнят о тебе.

ИЗ ДЕТСТВА

Я не видел, как площадь мостят,
И каток не пошёл заливать:
Тётя Настя топила котят,
Потому что – куда их девать?

Под стихи про героев труда
И призывы кастрюли лудить
Отправлялись они в никуда,
Тёте Насте дабы угодить.

Лишь один до того свою прыть
Не умел ни умерить, ни скрыть,
Что потом только с третьей попытки
Тётя Настя смогла закурить...

РЫНОК

Вплывает звон кимвала
В круженье карнавала,
В статичность вернисажа.
Хлопочет зазывала,
Лопочет надувала,
Клокочет распродажа.

Водянка у Максуда,
У Хаима простуда,
У Цили катаракта.
В кофейне Розенпуда
Вибрирует посуда
В предчувствии теракта.

А ты, стишков кропатель,
Неважный покупатель
Не потому, что злобен, –
На лбу твоём открытом
Написано петитом:
Неплатежеспособен.

Тебе не по карману
Приобрести дурману,
Напиться, уколоться.
А то, что вправду может
Помочь и обнадёжить,
Увы, не продаётся.

* * *

Когда я, самый молодой,
За газированной водой
Гонял для старших и за пивом,
То и не думал, что потом
Бумажным сделаюсь кротом,
Подслеповатым и ленивым.

Но, знаясь много лет с людьми,
Смекнул однажды, что они –
Почти что все – меня моложе,
И потому-то им не влом
Порой смотаться за бухлом.
Всё повторяется, похоже.

Из мглы, податливой, как воск,
На свет является киоск,
Подпёртый списанным поддоном
И время тает, как свеча,
И жизнь проносится, бренча
Эмалированным бидоном.

* * *

Бессребреник бледнолицый,
Романтик длинноволосый.
Стишата кропал. Девицы
Слетались к нему, как осы.

Блистательно начинал он,
А кончил весьма печально.
О смерти его узнал я
Лет двадцать спустя, случайно –
Из фразы весьма нейтральной
Одной из его поклонниц,
У коей на кофте сальной
Петровский сверкал червонец.

«Зачем?» – я спросил.
Размыслив,
Сказала: «Такая мода...»
За партой одною мы с ним
Сидели четыре года

И вместе на Днепр ходили,
И в баню, и в цирк. И вчуже
Училку когда любили,
То вечно одну и ту же...

* * *

В баре два дедка спорили, курили,
Банки две пока не уговорили.

Мир сверкал, как страз, и звенел трамваем,
Но на этот раз был неузнаваем.

Множились огни, предвещая площадь,
Но не к ней они двигались наощупь –

Шли на робкий свет с тайной подоплёкой
Знаков и примет юности далёкой.

Чёрная волна двигалась натужно.
Точка. Ни хрена более не нужно.

Только бы ничья не настигла жалость.
Да ещё ладья малость задержалась...

* * *

Был смешливым – стал слезливым,
Перебрался на кровать,
Левантийскую оливу
Стал берёзой называть.

Неопасный шизофреник,
Автор формулы простой:
Коль связать не в силах веник,
Пробавляйся красотой.

Светит солнце, блеют козы,
А в тени от парника
То ль оливы, то ль берёзы –
Не видать издалека.

* * *

Спасибо, Ли Бо,
Что прочим слабо
С тобою тягаться,
За прелесть того,
Что из ничего
Умеет слагаться.
Из блеска луны,
И стона струны,
И лепета страсти.
Из веры в строку,
И мне, дураку,
Понятной отчасти...

* * *

Ненароком написалось:
«Были в юности дружны,
Но с годами оказалось,
Что друг другу не нужны».

Написалось ненароком
И отнюдь не в чью-то честь.
Пошутил, а вышло боком:
Хошь не хошь, а так и есть.

* * *

По свидетельству учёных,
Обмишурился Кручёных
Со своими «дыр бул щыл»,
Этот спился, тот заврался,
Велимир перестарался,
Казимир переборщил.

И как следствие – расплата,
За утратою утрата,
Бездна чёрного квадрата,
Мир, разъятый на куски,
Брат войной идёт на брата...
Доигрались, мудаки?!

* * *

С разной степенью бестактности
Завершаются метания
То на станции Астапово,
То у города Нетания.

И досадуем, старея, мы
В Тель-Авиве или Пуцино,
Что пространства нам и времени
Недостаточно отпущено.

Впрочем – может, и намеренно,
Чтоб растратить не успели мы
То, что было нам доверено
С неопознанными целями,

И, на сладенькое падкие,
Погрязая в изобилии,
За корректности нехваткою
Ничего не разлюбили мы.

Юлия Винер

ПУШКИН НАПИСАЛ НАЧАЛО...

...Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: вообразил беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное, доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу... и остается недвижим...

Я назвал молодую мать преступницею. Не таково мое истинное мнение об ней, и, однако, удивительно ли, что за такую счел ее муж, увидя новорожденного своего сына. Его страстно любимая красавица-жена, прямой росток славного Рюрикова древа, чьи волосы отливали чистым золотом, чьи глаза позаимствовали, казалось, синеву свою от моря, чья кожа прозрачной своей белизною возбуждала всеобщую зависть женщин, – родила ему темнокожего младенца.

Роженица приподняла с подушки ослабевшую голову и подарила супруга счастливой, лучезарной улыбкой. Как описать ее изумление, ее отчаяние, когда в ответ Вениамин шепнул ей на ухо отвратительное, постыдное слово и стремительно кинулся прочь из спальни.

Повивальная бабка, пряча ухмылку, поднесла младенца матери. Та впервые могла видеть его. Руки ее, простертые для объятия, упали, как плети, голова откинулась на подушку, глаза закрылись, чувства оставили ее.

Первым побуждением Ронского было изгнать изменницу из своего дома вместе с ее выблядком. Однако он любил ее, любил безумно. Мягкое его сердце не могло вынести картины, тотчас нарисованной ему воображением. Родные не примут ее. Свет, легко прощающий пристойно скрытые измены, не простит измены столь явной, с доказательством столь разительным. Куда пойдет она, изнеженная, привыкшая к роскоши, еще не окрепшая после родов? Кто позаботится о ней, где достанет она средств содержать себя и ребенка? Вениамин представил себе ее, одинокую, неприютную, бредущую без цели по улице, с ребенком в объятиях. В душе его шевельнулась жалость. Простить? Но как простить такой жестокий обман? Он доверял ей беспредельно, никакая сплетня, никакая клевета не поколебала бы его уверенности. Но клевета, сплетня и не посмели бы никогда прежде коснуться ее имени. А теперь? Какой поток издевок, злорадного ехидства хлынет на эту прекрасную, чистую голову... И тут же воображение рисовало ему ужасное черное создание, вышедшее из ее лона. Простить! Да если бы и простил он, как мог бы он выносить рядом с собой ее постоянное присутствие, ее самое и ее отродья...

И что могло послужить ей в оправдание? Что она не сумела совладать с неодолимой страстью, что это была минута, одна лишь несчастная минута забвения? Но где, как могла она сойтись с неведомым своим черным любовником? Ронский содрогнулся, представив себе единственного чернокожего, когда-либо виденного им. То был фореитор придворного медика, вывезенный из африканских джунглей. Дикий его вид, огненные глаза с красными белками, вывороченные красные губы, черная, как ночь, кожа – все в нем вызывало отвращение и страх. Нет, нет, это не мог быть он! Но тогда кто?

«Ах, что мне в том, что мне в том!» – твердил Ронский, хватаясь за голову. Даже плакать он не мог. Раздирающая душу боль сменялась холодным отчаянием. Жить долее казалось ему невозможным.

Мучительная, но спасительная мысль мелькнула вдруг в его воспаленном мозгу. Тот же фореитор, подстергши ее в темном переходе из бального зала в дамскую уборную комнату, мог... И что же, она не закричала, не позвала на помощь? И никто не видел, не слышал? И после она, как ни в чем не бывало, вернулась на паркет, и плясала, и кокетничала, и улыбалась ему? А позже, дома, не бросилась к нему на грудь, не выплакала отчаянными слезами ужасное свое унижение? Насилие... он бы убил насильника, но ее мог бы простить...

В комнату робко постучалась горничная Настюша:

– Барыня просят вас к себе... Велели сказать – умоляют...

– Скажи, сейчас буду.

Даже на круглом лице простодушной Настюши чудилась ему ехидная усмешка. Люди всегда знают все про своих бар. Эта же самая Настя, хотя и искренно любит добрую свою барыню, не замедлит, разумеется, передать скандальную новость своим товаркам из других домов.

– Барин, оне нехороши...

– Что такое? Обморок, припадок? Так принесите солей, наша тырю там... что знаете. Ступай же, ступай.

Сжимая зубы, Вениамин переоделся, сменив шлафрок на легкий боливар, пригладил вспотевшие волосы и, захватив шляпу и трость, вошел в спальню жены. Он хотел, чтобы она поняла сразу: он сейчас идет со двора. Долгим объяснениям, мольбам и слезам нет места.

Бледное лицо Анны едва выделялось среди подушек. У груди ее лежал завернутый в кружева младенец.

– Мне сказали, вам плохо? – холодно проговорил Вениамин. – Хотите врача?

Анна открыла глаза. Они были полны слез, но ни вины, ни раскаяния он не прочел в них.

– Врача? Нет, зачем, – ответила она голосом слабым, но спокойным. – Да, мне плохо. Но тебе хуже стократ, бедный мой Вениамин...

– Ах, увольте! Избавьте меня хотя бы от вашей жалости. Если вам есть что сказать мне, говорите. А нет...

– Сказать? Что могу я сказать... Я сама не понимаю... знаю лишь, что это твой сын... но ты не поверишь мне.

– А, вы упорствуете. Пытаетесь изобразить себя Данаей под золотым Зевесовым дождем! Прекрасно. Я и не ждал иного. Вели-те же принести вам кушанья, питья, подкрепите ваши силы. Они вам скоро понадобятся.

– Вениамин! – простонала Анна с мольбой, но он уже захлопнул за собой дверь.

Вениамин Ронский был единственный сын мелкопоместного подмосковного дворянина. Род их, хотя и древний, как все человеческие рода, ничем примечательным, кажется, не выдавался, разве только давностью своего потомственного дворянства. Семейные предания гласили, что где-то у истоков рода стоял княжий сын племени вятичей. А там примешались и кривичи, и хазары, и греки, словом, та пестрая смесь племен и народов, каковая обычно и составляет кровь каждого русского. В царствие Петра, по рассказам, к роду пристал француз из Парижа, в Бироновы дни – немец из Тюрингии. Вениамин род свой почитал, но не кичился им, важнейшим полагая не семейственность человека, а собственные его достоинства.

Я служил вместе с ним в уланах. В полку корнета Ронского любили за добродушие и за прямую товарищескую повадку. Деньгами он был не богат и распоряжался ими с осмотрительностью, однако редко отказывал другу в одолжении и в складчину на компанейские пирушки вступал без протеста, хотя пить вино не любил. В карты же с нами не садился он никогда и от посещения веселых домов неизменно уклонялся. За нежную чувствительность души да за аккуратную расчетливость в делах мы прозвали его «бюргером». «Бюргером» он так и ходил и откликался на прозвище, зная, что оно не таит в себе зла.

Отец его, не в пример своим более зажиточным соседям, беспечно жившим долгами и залогом земель, сумел неустанными трудами не только сохранить, но и приумножить родовое состояние. Когда же он умер, наш Бюргер, ко всеобщему сожалению, немедля подал в отставку. «Благополучие мое и моих крестьян зависит теперь от меня одного, – объяснил он нам. – Полагаться на приказчика нельзя, там нужен хозяйский глаз. Затем я намерен заменить крестьянскую тяжкую барщину на оброк, чего отец мой давно желал, но сделать не успел. Я должен выполнить отцовскую волю».

Товарищи пожимали плечами на чудачества Ронского – барщина вещь верная, испытанная, а оброк станут ли еще ленивые мужики платить! А Ронский, с мягким его характером, наверняка станет им попускать да и разорится, как разоряются нынче столь многие из дворянского сословия. Впрочем, это была его забота, из полка он уходил – его проводили прощальными возлияниями и тут же забыли.

Однако Ронский взялся за труды хозяйственные рьяно. Изучив счетные книги и найдя в них немало несоответствий, выгнал приказчика, поставив на его место тщательно выбранного управителя из немцев. Крестьян своих рассуживал он по справедливости, но строго, попущений им отнюдь не делал, следя, чтобы они трудились с прилежанием. И оброк поступал исправно.

Заботливый отец сговорил сыну и невесту – дочь соседа, чьи земли удачно граничили с землями Ронских. Уезжая в полк, Вениамин на прощание поцеловал у четырнадцатилетней Леночки руку, шутливо наказав ей дожидаться его. Отец его, однако, вел переговоры с соседом с полной серьезностью, и по возвращении Ронский нашел Елену совсем уже готовой под венец. Девушка была проста, скромна и недурна собою, и Ронский, хотя и не питал к ней нежных чувств, не испытывал к ней и отвращения и готовился, следуя желанию отца, просить ее руки.

Намерение это пришлось несколько отдалить, поскольку Ронскому в связи с наследством была надобность в услугах столичных законников. Он предполагал провести в Петербурге два-три зимних месяца, для чего нанял просторные покои в хорошем доме и, не будучи более стеснен в средствах, зажил привычной ему по армии холостяцкой жизнью светского человека.

Знакомство его в Петербурге было невелико и не принадлежало к высшему кругу. Ронский, не имея посягательств на знатное имя, был им доволен. Молодой отставной улан, небедный, хорошего роста и отличного сложения, с румянцем во всю щеку и с приятной мягкостью в манерах, везде принят был с радостью; знакомство его расширялось. Правда, он пустил под руку слух о предстоящей своей женитьбе, чем разочаровал надежды не одного девичьего и материнского сердца, однако в любезных и легких на ногу кавалерах всегда и везде, как известно, бывает недостаток, а потому в любой день он мог рассчитывать на приглашение на обед, на ужин, на веселый вечер с танцами.

Покончив благополучно с делами, Ронский готовился уже расстаться с радостями столичной жизни, когда вдруг в город нагрянул в отпуск армейский его товарищ граф Л. Не слушая никаких отговорок, он увлек скромного своего приятеля в вихрь развлечений высшего света. «Тебе нечего стыдиться, – говорил он, – пусть имя твое не гремит в летописях, но ты был славный улан и стал ныне славный земледелец, наиважнейше же то, что введу тебя в свет я. Увидишь, под моим покровительством ты будешь принят sans aucunes».

Свет принял Ронского без затруднения, но и без внимания. Две-три чопорные старухи холодно улыбнулись ему, когда граф его представил, две-три перезрелые девы протанцевали с ним польского либо менуэт, пытаясь чаровать его натянутой беседой, однако Ронский ясно видел, что высший круг остается закрыт для него, – и не жалел об этом. «Еду, брат, – решительно сказал он графу, – мне пора, не удерживай меня». «Suit yourself, – отвечал ему граф. – Но мне жаль будет, если ты уедешь в свою глушь, так и не повидав настоящего блеску. Вечером бал у ***, сделай милость, поедем в последний раз». «Изволь, – согласился Ронский, – мне и самому любопытно. Но завтра я возвращаю ключи хозяину квартиры – и в путь».

Однако ж назавтра он ключей не вернул. Забегая вперед, скажу, что он вернул их нескоро, тогда лишь, когда в жизни его свершился решительный поворот.

Во время долгого, утомительного котильона в его объятия внезапно скользнула его судьба. Вениамин лишь взглянул на девушку

ку, с которой проделывал сложную фигуру, и понял – он пропал. Сбившись с ритма, чувствуя, что оба они вот-вот упадут, он крепче прижал к себе тонкую талию и величайшим усилием удержался на ногах. «Простите мою неловкость», – пробормотал он, заливаясь краской. «Напротив, вы очень сильны, – отвечала девушка с ласковой улыбкой. – Без вас я бы непременно упала». Фигура кончилась, пары переменялись. Девушка отошла в сторону и присела у стены в ожидании своей очереди. А Ронский бросился к графу:

– Кто она? – спросил он, задыхаясь.

– Ага, и тебя достала стрела Амура! А я-то думал, ты навеки верен сельской своей Бавкиде.

– Говори же, кто она?

– Скажу, и даже представлю тебя, если желаешь. Да только, милый мой, не вздумай волочиться. Не про твой роток ягодка! Старшая дочь князя Б-ова, Анна.

– Боже, как хороша!

– Хороша, да переборчива. Со всеми мила, со всеми любезна, но попробуй-ка подступиться поближе хоть чуть-чуть – у! Каким ледяным холодом повеет!

– Уж не на себе ли ты испытал его, граф?

– А что ж ты думаешь? Неприступных крепостей я не признаю. Да только тут крепостная стена двойная – и собственная ее холодность, и неусыпный дозор родных. Говорят, ее берегут для некоего чужеземного принца. Мало им показалось собственной знатности, хотят породниться с королевским домом!

Лишь теперь Ронский заметил, что за спиной прелестной княжны сидит, наклонясь к ней, пожилая дама, истинный цербер в пышном бальном уборе, с цветами на высохшей груди и с пронзительным взглядом сквозь двойной лорнет.

– Представь же меня!

– Изволь.

Княжна встретила молодых людей приветливой улыбкой, указала им места рядом с собой.

– Вас, граф, я имею удовольствие видеть в свете каждый раз, как выпадет вам отпуск. А ваш товарищ? – она обратилась к Ронскому. – Я вижу вас впервые. Вы пренебрегаете нашим пустым времяпрепровождением? Однако танцуете прекрасно!

– Нет, княжна, отчего же... – начал было Ронский, но граф с усмешкой объяснил вместо него:

– Он анахорет, живет в глуши, в деревне, хороводы сельских дев на лугу милее ему нашего глупого скакания под музыку в душных залах.

– Это так? – серьезно спросила Ронского княжна.

– Да вовсе нет, я...

– Так, так, – не унимался граф, с досадой заметя в девушке внимание к приятелю. – Наши светские забавы для него низки. Он не приемлет света, свет не приемлет его, и он намерен завтра же...

Ронский с силой сжал руку товарища, тот болезненно покривил губы и вынужден был умолкнуть.

– Вы заняты завтра? – подхватила княжна, по-прежнему глядя на Ронского. – Как жаль. Я думала видеть вас обоих завтра на

детском празднике у кухни Ольги. Мы с тетушкой надеялись вас там видеть, не правда ли, тетушка? – и она обернулась к сидевшей за ее спиной старухе. Та сквозь зубы изъясилась согласием, взглядывая пристально в незнакомое лицо.

– Я непременно буду! – воскликнул граф.

– Я рада. А вы? – она повернула к Ронскому лицо, окрасившееся легким румянцем. – Неужто никак невозможно отменить завтрашнее ваше занятие?

– Разумеется, возможно! – с жаром ответил Ронский. – Разумеется, отменю!

– И будете? – спросила княжна, поднимаясь и подавая руку очередному кавалеру для следующей фигуры котильона.

– Непременно! – крикнул Ронский ей вслед.

Детский праздник удался на редкость. Шарады сменялись живыми картинами, заезжий певец-итальянец спел вместе с юным сыном хозяйки прелестный шуточный «Duetto buffo di due gatti», приписываемый Россини и с недавних лишь пор знакомый публике, но уже снискавший восторженное одобрение меломанов.

Ронский не слышал и не видел ничего и никого. Глаза его неотрывно ловили среди толпы ясное личико княжны Анны, являвшейся в неизменном сопровождении старой мегеры. Когда же гувернеру удалось наконец увести спать разгоряченных, расшалившихся детей, паркет расчищен был для бала. В мгновение ока он очутился подле княжны и, не встречая возражений, заполнил чуть не целиком ее бальный карнет, к изумлению и огорчению других кавалеров. Это было не принято – но ему было все равно.

Разговоры в танцах всегда несвязны. Тщетно пытался Ронский найти достойный предмет для легкой беседы, слова замирали у него на губах, едва взглядывал он на склоненное к плечу лицо княжны. Но она разговорила его сама, спросив:

– Правда ли, что вы предпочитаете сельскую жизнь городской?

– Ах, княжна, – с жаром отвечал он, – спроси меня кто два дня назад, я не колеблясь ответил бы утвердительно. Знайте, что я совсем был готов... Мне страшно даже подумать, что я мог уехать... Но сегодня... сегодня мне все едино. Я не знаю ничего. Знаю лишь, что хочу быть там, где есть вы.

Княжна смущенно отвела взор и долго молчала. Наконец подняла к Ронскому свои правдивые глаза и еле слышно проговорила:

– А я – вот она...

Держа в руке ее послушную ручку, он плясал бы с нею все танцы подряд, если бы тетушка, дернув племянницу за локоть, не прошипела ей, что негоже так явно нарушать приличия. С гримаской досады княжна оставила Ронского, и другой кавалер немедля унес ее в вальсе.

– Граф, я погиб! – с отчаянием говорил Ронский приятелю, выйдя с бала и стоя у подъезда, пока замерзшие кучера подгоняли поближе их экипажи.

– Погиб? – усмехнулся тот. – Ничуть не бывало. Я вижу, ты понравился ей. Твоя деревенская свежесть явилась ей приятным разнообразием среди надоевших привычных лиц.

– Ты думаешь? Но что с того? Ты ведь сам знаешь, что у меня нет ни малейшей надежды на будущее.

– Знаю. Зато у тебя есть надежда провести приятно вечер-другой, наслаждаясь ее вниманием, покуда ей не надоест новая игрушка.

– Тебе угодно смеяться. Видать, эту крепость осаждал ты всего лишь со скуки. Не то у меня. Мне не до смеху. Я влюблен, милый друг, влюблен смертельно! Боже, что мне делать!

– Что делать? А вот что. Ты знаешь, я желаю тебе добра. Послушай же дружеского совета. Ты хотел ехать? И езжай с Богом! Завтра же. Не меняй своих планов! Оставаясь, ты станешь лишь попусту растравлять себе душу. А дома – там в полезных трудах твоих ты скоро забудешь это случайное, мимолетное увлечение. Там ты будешь счастлив с твоей суженой невестой, с той, что под стать тебе и родством, и состоянием, и склонностями. Руби деревце по себе. Здесь же ты хочешь замахнуться на то, что тебе не должно бы и сниться. Легкой интрижки здесь быть не может – да ты и не создан для нее. А на большее рассчитывать нечего. Езжай, не мешкай!

– Что ж ты так гонишь меня? Уж не жалеешь ли ты, что ввел меня в свой круг? Уж не боишься ли, что я преуспею там, где ты потерпел неудачу?

Граф желчно рассмеялся.

– Ты славный малый, Ронский, и я люблю тебя сердечно. Но бояться тебя? Мне? Ну, право же, не смеши... А вот и мой Пантюшка!

И граф вскочил в свою коляску, крикнув Ронскому на прощанье:

– Смотри же, будь разумен!

Ронский не послушался графа. С упорством, какого сам от себя не ожидал, он выискивал всякой возможности видеть княжну. Граф не предлагал ему более своего покровительства; Ронскому чаще всего не было доступа в дома, где могла бывать она. Он, однако, знал уже, что Анна любит музыку. Он подговорил крепостную свою кухарку Настюшу завести знакомство среди прислуги князей Б-овых. Это удалось ей тем легче, что тамошний повар, молодой, обученный у француза по желанию Ронского-отца и отпущенный баринком в город на заработки, был родом из той же деревни, что и она. Навестив его раз-другой (Настюша и сама пошла туда с охотой, ибо повар давно нравился ей), она быстро завела нужные знакомства, и Ронский мог теперь знать наверняка, когда княжна посещает театр.

Он сделался завзятым меломаном, не слыша, впрочем, ни арий, ни дуэтов. Глаза его и все внимание устремлены были на ложу, где сидела она – когда с отцом и матерью, когда с сестрами, изредка одна со своим цербером. И его взгляд, о счастье, то и дело, и надолго, встречался с ее взглядом. В антрактах в ложу заходили здороваться, и однажды княжна сделала Ронскому глазами знак войти к ней. Он немедля повиновался, и в ту же минуту стоял перед ней с бьющимся сердцем.

– Пара, – обратилась княжна к отцу, – *permettez-moi vous présenter monsieur Ronsky, un bon ami de notre comte L.*

– Enchanté, – пробормотал князь, подавая Ронскому руку. – Вы такой же умелец в картах, что и ваш приятель?

– Сожалею, князь, но карты не самая сильная моя сторона.

– А! Прекрасно! – и князь, повернувшись, заговорил с соседом.

Нечаянные встречи молодых людей продолжались. Им ни разу не довелось встретиться наедине – всегда в толпе, всегда в окружении людей, под аргусовым оком родни. И однако они всегда умели обменяться несколькими словами. Ни он, ни она не тратили драгоценных минут на пустые светские любезности. Все их краткие разговоры шли прямо из глубины души. И вскоре Вениамин нашел случай объясниться. Сердце его не ошибалось – он был любим. Восторгу его не было предела...

В характере Ронского была одна удивительная черта. Человек смиренный, даже робкий в каждодневном своем обращении с людьми, в поворотные, судьбоносные моменты жизни он способен был на мгновенные решения, на отчаянные, порой безрассудные поступки. Армейским товарищам хорошо знакомо было это свойство их Бюргера; они хоть и пошучивали, да не в бюргерском оно характере, однако почитали его за достоинство.

Так и сейчас. При том, что надежды одолеть стоявшую перед ним крепостную стену не было никакой, он бросился на приступ с открытой грудью. Получил аудиенцию у князя и, представ перед ним, без колебаний изложил свое дело. Он просил руки старшей дочери князя, Анны.

Отказ последовал столь же быстрый и решительный. Князь не потрудился даже расспросить Ронского об его обстоятельствах, об его родстве. Он снисходительно потрепал Ронского по плечу, незаметно подвигая его к двери, и сказал:

– Мой вам совет, сударь, ищите в других местах. Здесь вы ничего не найдете.

– Я ничего не ищу! – запальчиво возразил Ронский, уклоняясь от князевой руки. – Я люблю вашу дочь!

– Прекрасно, прекрасно. Не вы первый, не вы последний. Appetite у меня славная девочка.

– И она...

– И она – вас? Разумеется, разумеется. Она добренькая, всех любит. Не берите к сердцу.

Отказ, да такой небрежный, удручил Ронского, но не остановил. Он продолжал искать и находил случай увидеть свою возлюбленную. Он успел сказать ей о неудачном своем сватовстве и готовился любым путем повторить атаку, когда Настюша принесла ему ужасную весть: князь с семейством отправлялся на воды в Баден-Баден. Надолго ли? Не менее как на полгода, может, и долее. Он намерен выдать там старшую дочь свою замуж – жених уже ожидает ее.

Ронский был в отчаянии. Одно лишь решение виделось ему; он написал княжне:

«Вы уезжаете. Вы уедете? И выйдете за немца? Нет, этого не может быть. Ежели правда то, что Вы говорили мне при последнем

нашем свидании, умоляю Вас: при первой же возможности незаметно выйдите из дому; я буду ждать Вас в экипаже за вторым углом налево от Вашего дома. Мы уедем в мою подмосковную и обвенчаемся там. Решайтесь! Другого случая не представится». Настя отнесла записку и вскоре вернулась с устным ответом: «Буду».

Последовавший за тем скандал был ужасен. Князь послал людей вдогонку за беглецами, но, прибыв в деревню, они застали молодых уже обвенчанными. «Нет у меня больше дочери Анны», – кричал князь; он и семье своей настрого заказал знаться с нею. Пытался даже просить императрицу, дабы велела вернуть ему непослушную дочь силой, а брак ее считать как небывшим. Ответ ему получен был краткий: «Что Бог соединил, того человек не разъединит».

Скусающий свет весьма оживился; праздным языкам хватило занятия на целую неделю. Одни злорадствовали расстройству честолюбивых планов князя, другие изумлялись наглости молодого, безвестного отставного улана. Все, в особенности матери молодых девиц, сходились на том, что надо строже следить, кого допускаешь до своего общества. Пеняли графу Л., вспомнив, что, кажется, именно он ввел разбойника в свет. А сам граф не знал, плакать ли ему или смеяться. Бюргер, их скромный, застенчивый Бюргер, которого все любили, но никто не боялся, пришел, увидел и победил! Цапнул и унес золотую птичку, лучшую, недосыгаемую невесту, которую сам граф взять не сумел!

Два года в деревне пролетели для молодых, как блаженный сон. Соседи не обходили их своим гостеприимством, далекий петербургский скандал докатился и до здешних мест и придал интересу молодой паре. Приходилось и им принимать у себя, но лишь настолько, чтоб не нарушить правил сельского этикета.

Самим же им никто не был нужен. Они все делали вместе: ездили в поля на крестьянские работы, составляли счетные книги, лечили больных, читали, музицировали, даже кушанья к завтрашнему обеду заказывали повару вместе. Княжна без труда привыкла к отсутствию роскоши и уверяла мужа, что деятельная сельская жизнь ей более по душе, нежели праздная столичная. Даже проклятие отца не могло омрачить ее счастья. «Он вспыльчив, но отходчив», – говорила она мужу. Свои честолюбивые посягательства князь сумел все же удовлетворить, выдав за чужеземного принца среднюю дочь; гнев его улегся. Анна ждала лишь, чтоб явились у них дети – увидя внуков, верила она, отец смягчится и простит ее. Когда же стала она в тягости, счастливый муж, заботясь о здоровье и удобстве жены, купил хороший дом в Москве, в Штатном переулке, между Пречистенкой и Остоженкой, куда вскоре они и переехали.

...Третий час бродил Ронский по городу, избирая наименее освещенные улицы, дабы не видели слез, неудержимо катившихся из его глаз. Счастье его было разбито так внезапно, так жестоко! Временами казалось ему, что он поспешил осудить жену, что краткий взгляд на младенца обманул его, что он ошибался... Но тут же перед мысленным взором являлось ему личико новорожденного,

цвета кофе с молоком, его мелко-курчавый черный хохолок на голове, и Вениамин вновь убеждался, что ужасное несчастье его несомненно. Любимая его, нежная, прелестная его жена, не побоявшаяся ради него ни отцовского гнева, ни осуждения света, изменила ему – и с кем! Но не все ли равно с кем...

Наконец свежий вечерний воздух несколько охладил пылавшую голову Ронского, и он вернулся домой с готовым решением. В правильности этого решения не было у него сомнений, и однако голос его дрожал, когда, войдя в спальню жены, он обратился к ней:

– Сударыня, извольте выслушать меня, не прерывая. Никаких объяснений я от вас не прошу и не приму. Положение слишком ясно. То, что случилось, пусть останется на вашей совести. Не мне судить вас и наказывать. От вас же я требую одного: в точности исполнить мои распоряжения, кои сейчас вы узнаете.

Княжна молча протянула к Вениамину руки, но он не внял этой немой мольбе.

– Как только силы вернуться к вам, вы отправитесь в деревню, передав ребенка на воспитание кормилице, которую я выберу. Недостатка вам ни в чем не будет, мой управитель получит от меня указания на сей счет. Сообщаться со мной, буде случится в том крайняя надобность, станете чрез того же управителя. Я рассчитываю на ваш отъезд самое позднее через две недели, после чего этот дом будет продан либо отдан в аренду. Сам я намерен уехать далеко и надолго.

– Вениамин... выслушай и ты меня... – голос Анны прерывался, но она продолжала: – Я не оправдаться хочу, хотя ни в чем перед тобой не виновата. Я верна тебе, всегда была и всегда буду. Ты все равно не сможешь поверить... Я взываю к твоему милосердию. Не будь жесток! Не отнимай дитя у матери, у которой и без того отнято все... Ты в отчаянии, я знаю. Но в отчаянии и я! Оставь же мне хотя бы сына, даже если ты и не веришь, что он твой. Нет, не бойся, я не стану тебя убеждать. Но оставь мне его, умоляю!

Вениамин едва мог отвечать, слезы душили его. Глядя на измученное, прекрасное лицо жены, он чувствовал, что готов простить ей все. Слова примирения вот-вот готовы были вырваться из его груди, но тут раздался слабый плач младенца, мать прижала его к себе, шепча ему ласковые успокоительные слова. Минутный порыв Ронского миновал.

– Он будет отдан в честную семью в отдаленной от Москвы деревне. Так нужно для вашей же собственной пользы. Подумайте сами: как вы покажетесь соседям... с этим... на руках? Я не хочу вашего унижения.

– Соседям? Что мне за дело до соседей! – Анна надменно подняла голову, в ней заговорила княжеская кровь. – Соседи не могут унижить меня! Ты один смог унижить меня, Вениамин! И с меня довольно этой муки. Не прибавляй же мне новых мук, оставь мне сына. Во всем остальном обещаю быть послушна твоей воле, но в этом – не могу.

Вениамин чувствовал, что не в состоянии держать долее суровый тон, взятый им в разговоре с женой. Боясь разрыдаться, он пробормотал лишь:

– Делай что хочешь... Ах, Анна, как ты могла...

И поспешно выбежал из спальни.

Воспитание Ронского, как и других дворянских детей, не отличалось ни глубиной, ни последовательностью. Говоря словами поэта, он учился понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Французским языком владел он совершенстве, немецкому слегка обучила его гувернантка, занятая отцом более, чем сыном. Стараниями матери она не продержалась в доме и зиму; на краткое время ее сменила британская мисс. С годами Ронский все чаще замечал недостаточность своих знаний, которые, впрочем, кроме арифметики, редко бывали ему надобны.

Обладая умом живым и любознательным и жаждая повидать свет, он просился у отца в университет в Париж либо в Германию. Отец, однако, полагая излишнее учение пустой тратой времени, счел военную карьеру более для сына полезной, да и средств, боялся он, на заграничные студии выйдет непомерно много.

— А теперь, — с горькой усмешкой говорил мне Ронский, — и средств у меня достаточно, и времени с избытком.

Я встретил его в Геттингене, где оба мы слушали курс физики и математики в тамошнем университете. К тому времени он уже лет пять как покинул Россию, постранствовал по Европе, побывал и в Новом Свете и вот, наконец, решил вернуться к юношеской своей мечте.

— Не будь я русский дворянин, — говорил он мне, — я стал бы учиться на врача. Что может быть прекраснее, нежели спасать жизни, облегчать человеческие страдания! Но кто же в России пойдет лечиться у врача-дворянина? Скажут — либо он дворянин плохонький, что решился заняться цирюльничьим ремеслом, либо врач никудышный. Да и стар я уже для серьезных занятий наукой. (ему не было еще тридцати).

О беде своей, вынудившей его в добровольное изгнание, рассказать мне он не захотел; впрочем, я и без того осведомлен был знакомыми доброхотами из Москвы. Я душевно ему сочувствовал, но уговаривать вернуться не считал возможным. А он не засиделся и в Геттингене — не могу, говорил он, долго быть в одном месте, тоска одолевает — и по весне отправился в Амстердам, обещавши писать. Чем занимался он в Амстердаме или в другом каком месте, я не знаю. Прошли годы, прежде чем я получил от него известие.

«Наконец-то, — писал мне он, — я приискал себе образ жизни, вполне отвечающий моей потребности непрерывного передвижения».

Прибыв в очередной раз в Париж и бродя однажды по наскучившим улицам, он дошел до Сены. Небольшая барка, украшенная лентами и флажками, покачивалась у пристани, поджидая желающих кататься по реке. От нечего делать Ронский вззошел на нее. Минуты проходили, желающих больше не было. Барочник, молодой веселый парень, обратился к Ронскому:

— Простите, сударь, но сегодня, видно, не удастся вам прокатиться. Плохой день выдался, с утра один только раз набралось довольно народу. Пойду домой, а вы, если угодно вам, приходите завтра. По воскресеньям всегда суденышко мое бывает полно.

— Отчаливай! — отвечал ему Ронский. — Я заплачу тебе за всю прогулку, за всех, кого здесь нет.

Проплывая под мостами Сены, Ронский разговорился с юным своим аргонавтом.

– Ты и по морю можешь ходить?

– До моря раз добирался, доставлял груз в Марсель, а вот по морю нет, не пробовал.

– И как же ты добирался до моря?

Барочник оказался знатоком своего дела.

– Из Сены в Йонну, из Йонны в Canal de Bourgogne, дальше в Сону и напрямик до Роны, а там только плыть и плыть от шлюза к шлюзу, и приплывешь к морю. Но только нет, для моря моя скорлупка не годится.

– Ну а до моря ты бы еще раз сходил?

– Чего ж не сходить? Мне одно удовольствие. Был бы только груз, да платили бы.

– Так вот, я сам тебе груз. Я да слуга мой Алексей. Довезешь нас до моря. Заплачу, что скажешь. Согласен?

Юноша согласился с радостью.

– Тогда готовься, завтра же и выйдем.

Шли не торопясь, ночевали в прибрежных городках и селениях. В плохую погоду оставались на берегу и день, и два.

В Гре застал их проливной дождь. Жако, хозяин барки, отправился вместе с Алексеем в ближайшую харчевню, где они быстро завели себе приятелей, а Ронский бродил под дождем по городу, любовался старинными постройками, меж которыми замечательна была Ратуша, здание времен Ренессанса.

В Маконе он нарочно сошел на берег, чтобы осмотреть знаменитый средневековый Cathedral St. Vincent de Macon; однако в Лионе, важнейшем городе на их пути, многолюдном и изобиловавшем прекрасными достопримечательностями, он, к удивлению Жако, останавливаться не захотел. Он лишь купил, сам не зная зачем, ворох знаменитых тамошних кружев. Здесь Сона вливалась в Рону, они продолжали плавание к югу.

Мерное движение по воде утишало застарелую боль в душе Ронского. «Порой мне начинает чудиться, – писал он мне, – что сам я пребываю в неподвижности, а города и ландшафты, возникающая из ниоткуда, проплывают мимо меня и, раз показавшись, снова исчезают навсегда. Впереди новые города и селенья, а позади – позади нет ничего и никого. Созерцая каждодневно все новые и новые виды, уплывающие в никуда, я заглядываю в прошлое и не нахожу там ничего. Забыл? Нет, но, может быть, освободился? Примирился? И скоро, может быть, готов буду вернуться на свою родину?»

В средствах он никогда не испытывал недостатка. Управитель неукоснительно высылал ему требуемые суммы, а вместе с присылкою денег представлял также и отчет о положении в хозяйстве. Имение его процветало. Никогда не упоминая о ребенке, управитель не раз отзывался с похвалой о госпоже, которая пристально вникала во все дела и постепенно сделалась настоящею хозяйкой. По ее совету управитель, имевший от Ронского все полномочия, прикупил земли и, по ее же совету, не засеял землю рожью либо горохом, как то было в обычае тамошних мест, а засадил лесом. Лес, сильно уже повырубленный окрест, был доходным предпри-

ятием, однако доход, им приносимый, мог ожидаться лишь годы спустя. Что же, рассуждал Ронский, она заботится о будущем своего сына. Это ее право и обязанность. Тем паче, прибавлял он про себя с привычной горечью, давно, однако, утратившей прежнюю остроту, что от отца ребенка ничего ожидать не приходится. Сама же Анна не писала к нему никогда. Ни жалоб, ни просьб не слышал он от нее. Она сознает свою вину, думал он, и потому не решается писать. Наверняка раскаивается, страдает... Мысль о возвращении все чаще посещала его.

Из Парижа они вышли ранней весной, а теперь дело уже шло к осени. Рона, река бурливая и капризная, становилась все труднее для прохождения на малом суденышке. Жако начинал беспокоиться, что не успеет вернуться до зимы домой.

– Сударь, – говорил он, – отпустите меня. Пойдут сплошные дожди и бури, мне не по силам станет грести против течения. Если повезет, позволят прицепиться к пароходу. А отчего бы вам самому не попробовать новое это заведение, пароход? Говорят, они очень покойны и удобны. Пароход ходит здесь каждый месяц, доставит вас к морю куда быстрее, чем я.

Ронскому, собственно, совсем не нужно было к морю. Он и сам не знал, куда ему нужно. Никакой ясной цели у него не было, его занимало само передвижение, плавное течение жизни, тихо проходившей мимо него. Он щедро расплатился с юношей, к которому успел привязаться, и попросил высадить его и слугу подле большой деревни, чем-то приглянувшейся ему. Стоя на берегу, он долго следил за медленно удалявшейся баркой, сочувствуя напряженным усилиям Жако. Затем, со вздохом распрощавшись с утлым суденышком, служившим ему столь милым приютом, он побрел в деревню. Следом брел Алексей, тоже приунывший от разлуки с приятелем.

В доме местного пастора, куда он попросился на ночлег, ему сказали, что пароход пройдет здесь дней через десять, но пристанет лишь в Авиньоне, до которого сушей не менее двенадцати верст. Мой батрак охотно отвезет вас туда, сказал священник.

Ронский, впрочем, не уверен был, что хочет сесть на пароход – это модное нововведение, которое уже видел он на своем пути, казалось ему слишком громоздким и неуклюжим для удобного плавания, колеса его, непрерывно шлепая по воде своими лопастями, производили несносный для его уха шум.

Старик пастор был любезен и гостеприимен, погода стояла прохладная, но ясная, и Ронский решил задержаться тут на некоторое время, побродить по окрестностям, разогнать немного кровь в ногах после долгих часов неподвижного сидения в лодке.

В один из дней, проходя по деревне, он увидел нечто, привлекавшее его внимание. Кучка ребятишек играла в орлянку на придорожной лужайке; среди них он заметил двоих, мальчика и девочку, – их кожа была кофейного цвета, а русые их волосы лежали на голове мелко-курчавой шапкой. Он подошел, желая рассмотреть детей поближе. В их лицах не находил он ничего негритянского, и однако кожа их была темнее, чем у самых загорелых их сверстников.

– Вы чьи же будете? – спросил он мальчика.

– Мы-то? – бойко ответил мальчик. – Мы-то свои собственные, а ты кто?

– А я – приезжий, из России.

– Ну а мы местные, из Франции! – мальчишка весело захохотал, другие к нему присоединились.

Ронский хотел еще расспрашивать, но ребяташки снялись с места и разлетелись, как стайка воробьев. Он бросился назад, к священнику.

– Кто они, откуда они здесь? – спросил он, описав старику необычных детей.

– О, это целая история! И началась она не менее сотни лет назад.

– Расскажите же мне.

– Сядьте, мой друг, это рассказ долгий.

Пастор налил гостю и себе по стакану вина и начал так:

– Вам, разумеется, известно, что был в вашей стране великий правитель, царь Петр. Невежество его подданных удручало умного царя, и у него был обычай посылать молодых людей, дворянских ли сыновей или простого звания, буде юноша проявит способность к учению, – посылать их для приобретения знаний и мастерства в другие страны. Он и сам не стеснялся учиться у иноземцев, всячески стремясь приблизить свой темный народ к европейскому просвещенному обществу.

Ронскому досадно было слышать такое суждение о своей родине, но он решил не прерывать пастора и ждал лишь, когда тот подойдет к сути дела. Старик, однако, не торопился.

– Среди прочих юношей, посланных Петром на обучение во Францию, был молодой мавр, по слухам – сын африканского вождя, захваченный в плен и позже подаренный русскому царю, который и крестил его Авраамом. Царь любил своего крестника, видел в нем большие способности и прочил ему блестящее будущее. В Париже тот обучался военному искусству и, введенный своими знатными сверстниками в свет, наслаждался всеми его радостями.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Молодой африканец стал ее любовником. Вскоре обнаружилось и следствие неосторожной любви. Сумели устроить так, что графиня родила якобы белого мальчика, черного же младенца отправили на воспитание в отдаленную деревню – к нам. Жена нашего мельника, за хорошее вознаграждение, взялась вырастить негритенка вместе со своими детьми. Мой прадед, чье место я теперь занимаю, крестил его, дав ему имя его отца, Авраам. Он же и рассказал эту историю внуку, моему отцу. Ему пришлось также придумать и фамилию ребенку, ибо мельник своей датой ему не пожелал. Поскольку мы стоим на реке Роне, мой прадед записал его так: Авраам Де Рон. Отец младенца, по приказанию своего царя, хоть и против своего желания, должен был вернуться в Россию и во Францию больше не приезжал.

Священник замолчал, вспоминая.

– Вы знали этого подкидыша? – спросил Ронский, сгорая от нетерпения.

– О нет, это было слишком давно. Он умер, когда меня еще не было на свете. Я знаю лишь, что, войдя в возраст, он женился на

дочери мельника, с которой вместе рос. У них было, кажется, семеро или осьмеро детей, причем одни были белокожие, но с негритянскими чертами, другие же с чертами совершенно французскими, но с темной кожей. Все, однако, разумны, высоки ростом и отменно хороши собой.

В какое-то время отец Авраама, будучи уже в преклонных годах и достигнув в России высокого военного звания, пожелал увидеть внебрачного своего отпрыска, о чем и написал моему прадеду. Прадеда не было уже в живых. Его сын, мой дед, передал Аврааму это пожелание, однако тот ехать в далекую Россию отказался, говоря, что как не знал его отец до сих пор своего сына, так и незачем ему знать его теперь. Зато один из его детей (кстати, из белокожих), загорелся желанием повидать экзотический северный край, да и от дедушки своего надеялся он, видно, получить некую поддержку.

Так и уехал, и не вернулся, и фамилию свою, говорят, переделал на российский манер. Как именно, не припомню сейчас, и что с ним сделалось там, мне неизвестно. Другие же дети Авраама все остались здесь, переженились и повыходили замуж, и с тех пор в деревне нашей рождаются время от времени темнокожие младенцы. Все мы к этому привыкли, и в окрестных селах также никто тому не удивляется, а ценят их как прекрасных работников и желанных женихов и невест.

Ронский помнил, что в роду его был француз, который и дал потомкам своим нынешнее их имя. И что прибыл он в Россию именно в Петровы времена.

De Rhône! С берегов Роны! И переделал свою фамилию на российский манер? С берегов Дона – Донской, с берегов Шуи – Шуйский, с берегов Невы – Невский. А с берегов Роны – Ронский!

Смятение Ронского не поддавалось описанию. Неужто встреченные им на улице темнокожие ребятишки – родные ему? Внучатые племянники, пожалуй? Нет, не может быть, таких совпадений не бывает...

– Вы взволнованы? – обратился к нему пастор. – Вас смутило что-то в моем рассказе. Но что же?

– Смутило? Нет. Я только...

– Пойдите! – вскричал вдруг пастор. – Вы ведь мне назвали! И ваша фамилия Ron-sky? Так образуются в России ваши родовые имена, не правда ли. Подождите!

Старик поспешно вышел из комнаты и вскоре вернулся с большой конторской книгой, переплетенной в кожу.

– В этой книге и прадед мой, и дед, и отец записывали все примечательное, что случалось при их жизни. И сам я продолжаю этот труд. Все дети, родившиеся в нашей деревне, все крещения, браки и смерти записаны здесь. И здесь же, помнится мне, должно быть письмо от уехавшего в Россию юноши. Дед мой, говорится тут, обучил смышленного мальчика грамоте, и тот прислал весточку несколько лет спустя по прибытии в Москву. Только одну, а далее не было о нем ни слуху, ни духу. А, вот оно.

Пастор бережно вынул пожелтевший от времени листок, развернул, пробежал глазами:

– Да... прекрасная страна... морозы не страшны... благополучен, живу в достатке... женился, имею двоих детей... скажите братьям, им тоже стоит... да, и вот подпись его: Иван Ронский.

Вениамин едва сдерживался, чтобы не разрыдаться. Пастор смотрел на него с сочувствием.

– Но что же вас так огорчает? Да, весьма возможно, это был ваш отдаленный родич. По всему судя, достойный был человек. Вам противна его африканская кровь? Но в вас нет ни малейших ее признаков. Да и, быть может, здесь простое совпадение. И скорее всего! Право, не стоит принимать так близко к сердцу. История такая давняя...

– Ах, отец мой, вы не знаете! Это то, что расстроило всю мою жизнь. Сколько лет уже я странствую по свету, никому не показывая моей раны. И она уже затянулась было, я почти готов был вернуться и простить... Но теперь... рана оказалась даже глубже, чем полагал я, и вина... вина вся на моей стороне! Мне не прощать, напротив, мне впору умолять о прощении. Я, сам того не ведая, собственными руками разрушил мое счастье! И теперь...

– Теперь, мне кажется, вам стоит рассказать мне, что именно с вами приключилось. Вы не моей веры, но христианин, как и я, и Бог у нас один. Расскажите мне, сын мой, облегчите душу, и если на ней и вправду лежит тяжкий грех... Я буду за вас молиться. Молитесь и вы. Сокрушение ваше искренно, и верю я, Господь отпустит вам его.

Выслушав горестную повесть Ронского, пастор долго молчал. Наконец:

– Да, вина ваша перед женой вашей и сыном велика. Однако вы виноваты без вины. Роковые обстоятельства, о которых знать вы не могли, сделали вас виноватым. Но вы еще молоды. Еще не поздно все поправить. Прекратите ваши пустые странствия, не позволяйте более жизни бесполезно протекать мимо вас. Преклоните колена перед женой вашей, смиритесь с унижением, просите – она простит вас. Сын ваш, я не сомневаюсь, воспитан в уважении и любви к вам, он будет счастлив видеть вас и прижаться к вашей груди. Возвращайтесь, сын мой, возвращайтесь домой! Не медлите, возвращайтесь!

Лихорадка овладела Ронским. Поблагодарив доброго пастора, он в тот же день постановил отправиться в Авиньон, полагая, что морской путь будет наискорейшим. Добравшись до порта Сент-Луи, по Средиземному морю он рассчитывал доплыть до Черного моря, и там, высадившись на российском берегу Крыма, продолжить путь свой по суше.

Он готовился уже сесть в повозку, которая должна была доставить его в Авиньон, и поджидал лишь своего человека с вещами. Алексей вышел, вещей с ним, однако, не было. Он подошел к Ронскому и кинулся ему в ноги:

– Барин, милый! Молю тебя, останемся еще несколько дней! Всего несколько дней! Неделю!

– Что такое? – удивился Ронский.

– Полюбилась мне одна здешняя девица. Да как полюбилась, барин! Уехать без нее – что сердце из груди вырвать. Я ей мил, мы уж почти сговорились, Розина готова уйти со мной, да родные не отпускают.

- Но как же вы друг друга понимали?
– Эх, барин! Мало ли мы с тобой промежду этих французов погуляли? Кажется, можно было научиться.
– И она готова уйти с тобой? Да ты говорил ли ей про крепость?
– Сказал, барин. Говорит – с тобой хоть и в крепость.
– Славная, видно, девушка!
– Уж так хороша, и сказать нельзя. Лицом, правда, темновата, но красавица писаная.

«Теперь, похоже, я породнюсь с моим человеком», – с усмешкой подумал про себя Ронский, а вслух ответил Алексею:

– Оставаться не могу, а пойдём-ка к её родным, попробуем, не выйдет ли мне быть за тебя сватом.

Сватовство удалось – семья была бедна, и денежное воспомоществование их убедило. Девушка в самом деле была очень хороша – высока ростом, стройна, с милой застенчивой улыбкой на красивом темном личике. «Родство мое совсем недурно», – снова усмехнулся про себя Ронский.

Странствие их тянулось долго. Пароход и впрямь оказался удобен и устойчив, но лишь только пересели они на морское судно, злключениям не было конца. Не раз застигали их бури; Ронский скверно переносил качку, лежал пластом, вставая лишь, чтоб вновь и вновь отдать стихии все съеденное и выпитое. Дважды пришлось им пересаживаться с корабля на корабль. В Эгейском море открылась в судне течь, однако дотянули до Мраморного моря и здесь остановились в Константинополе для починки. Ждать приходилось долго, Ронский в нетерпении решился на сухопутное путешествие.

Каких только народов ни перевидали они по пути, какими только средствами ни пользовались, пока через Румынию не добрались наконец до границ Российской Империи.

Здесь стало им полегче; сперва наняли жидовские дроги, запряженные тощим меринком, и кое-как доплелись до почтовой станции, дальше поскакали на перекладных. Хоть Ронский не имел чина, а на Розину не было у них вида, однако щедрая рука его всегда обеспечивала им и экипаж, и лошадей без лишней проволочки.

Вид темнокожей французенки везде вызывал любопытство и удивление. Когда приходилось порой, выйдя из экипажа, пройти по улице, Ронский неизменно сам вел ее за руку; из толпы частенько раздавались полувосхищенные, полунасмешливые возгласы: «Ты где так загорела, чернавка?» – или: «Смой уголь-то, красавица!», но Ронский умел так взглянуть на наглецов, что те, прикусив язык, прятались поскорей за спины соседей. Ронский вполне уже свыкся с мыслью, что эта девушка родная ему, не мог только никак исчислить степени родства. Когда они с Алексеем поженятся, дам ему вольную, решил он, нельзя же, чтоб родня была у меня в крепости и мне прислуживала.

Путевые хлопоты развлекали Ронского, не давая задуматься, но чем более приближался он к родному дому, тем чаще сердце его сжималось от страха неизвестности. Что найдет он, переступив порог? Анна... все ли ждет его она или, давно изгнав жестокого мужа из памяти и из сердца, нашла себе, быть может, утешение в

других объятиях? Он не мог бы осудить ее, но при одной мысли об этом готов был повернуть обратно. Обратно? Но куда? Снова в бесцельные, бесполезные странствия? Ах, зачем так долго не писал он ей, зачем так долго лелеял в душе свою воображаемую обиду? Зачем, зачем оставил ту, которую любил больше жизни, оставил так жестоко, так несправедливо... Зачем не поверил той, кому доверял, как себе? Тут вспоминал он все, что узнал лишь недавно, и, воспрянув духом, с восторгом воображал, как расскажет ей об этом и все объяснится, он будет оправдан, прощен, и больше никогда не будет меж ними ни тени сомнения...

Анна добра, думал он, добра и умна. Она поймет. Она не ответит мне злом на зло, причиненное мною ей. И ребенок... она никогда не восстановит сына против отца... Тут охватывало его безумное нетерпение увидеть их обоих, он не мог понять, как провел столько лет вдали от них, снова и снова проклинал себя и несчастное свое неведение.

Он решил не предупреждать о своем прибытии. К чему? – рассуждал он. Станут готовиться, быть может – захотят скрыть от него нечто, не предназначенное для его взора... Лучше увидеть, узнать все сразу. Но... что, если... что, если она не пожелает видеть его? Вздор, вздор! – говорил он себе. Мое поместье, мой дом, могу войти в него, когда мне угодно.

Так, в сомнениях и раздумьях, въехал он в свою вотчину. Возница наемного экипажа, глядя по сторонам, не мог удержаться от восхищенного возгласа.

– Эка озимь-то, так и прет, так и прет! Глядишь, скоро в трубку пойдет!

И действительно, поля вокруг, едва присыпанные ранним снегом, были хороши на удивление. Ярко-зеленые озимые земли сменялись полями, тщательно вспаханными после уборки яровых. Занятый своими мыслями, Ронский едва смотрел на свое окружение; он не мог, однако, не заметить, что поля его выглядят не хуже самых образцовых, какие видывал он на фермах в Североамериканских Штатах.

В версте от дома решимость покинула его. Он вышел из экипажа, приказав Алексею:

– Езжайте одни. Скажите там, я приехал, скоро буду.

Экипаж укатил, он двинулся пешком.

Ронский не раз пытался представить себе, какова будет первая его встреча с Анной. Обрадуется ли она ему, бросится ли в его объятия? Или с негодованием откажется говорить с ним? Каждый раз он видел в воображении эту сцену иначе и то преисполнялся надежды, то падал духом...

Того, как случилось все на деле, он не представлял себе ни разу.

Предупрежденная Алексеем, Анна ожидала Ронского. Слуга, выросший в отсутствие барина и не признавший его, объявил его как гостя. Он с трепетом вошел в кабинет жены. Приветливо улыбаясь, Анна поднялась с дивана, протянула ему руку для пожатия, на английский манер. Вместо того Ронский поцеловал ее руку, и она не отняла ее, проговорив все с той же милой улыбкой:

– Я рада видеть вас, Вениамин. Давно ли вы в наших краях? И надолго ли?

– Анна! – Ронский задыхался, едва мог говорить. – Анна, я вернулся! Совсем, навсегда! Я был не прав, ах, как я был не прав! Я все объясню тебе...

– Я вижу, вы взволнованы, – с участием заметила Анна, – это неудивительно после стольких лет. Прошу вас, присядьте, – она указала ему кресло. – Не угодно ли воды, чаю?

– Ах, оставь, право! Я столько должен тебе сказать...

– Я готова вас выслушать, но прежде успокойтесь, прошу вас. Ваше волнение чрезмерно. Леночка, – обратилась она к сидевшей рядом с ней на диване даме, на которую Ронский в смятении чувств своих поначалу не обратил внимания, – пожалуйста, скажи, чтоб принесли воды со льдом.

Взглянув на ту, кого Анна назвала Леночкой, Ронский узнал ее. То была Елена, оставленная и давно забытая его невеста. Слегка кивнув ему, она встала и вышла из кабинета. Ронский схватился за голову:

– Боже мой! И перед нею я виноват! Кругом виноват!

– Да право же, успокойтесь! Никто давно уже не помнит вашей вины.

– Ты простила? Анна, неужто ты простила меня? Я хотел умолять тебя о прощении, я готов умолять тебя!

– Простить? Но что же прощать вам? Что вы предпочли поверить скорее своим глазам, нежели мне? Это так естественно. Что вы растратили столько лет своей жизни в бесплодных скитаниях? Печально, но это был ваш выбор. Вы сами наказали себя, и слишком жестоко для того, чтобы нуждаться в прощении. Не беспокойтесь и об Елене. Ваш отказ от брака с нею вовсе не был для нее таким ударом, как вы, быть может, воображали. Покорная воле отца, она с тоской ожидала вашего предложения, однако сердце ее отдано было другому. Вы лишь освободили ее, а не удручили своим отказом. Мы сдружились с нею давно и знаем друг о дружке все. Дружба эта стала для меня большим утешением. Мне грустно лишь то, как сложилась ее судьба – муж ее внезапно умер от тяжелой болезни. Но оставим это. Скажите мне лучше, каковы ваши дальнейшие намерения.

Ронский был в растерянности. Задача его, кажется, была куда легче, чем он ожидал. Анна простила его, сама, без просьб и объяснений. И однако... она была с ним так приветлива, так покойна... Так обращаются с приятным, но чужим гостем, ненароком заглянувшим в дом, – не со страстно любимым мужем, возвратившимся после долгого отсутствия под родной кров.

– Прежде всего, – начал он неуверенно, – я желал бы оправдать перед тобой мои поступки, рассказать тебе, каковы были мои чувства, когда увидел я...

– В том нет нужды, Вениамин. Когда утихли первые порывы отчаяния, я вполне поняла вас. Отъезд в деревню был для меня спасителен, я благословляла вашу снисходительность к моему воображаемому греху.

– Ах, дай же я скажу тебе, отчего и в моих глазах нет на тебе ни малейшего греха...

– Но к чему? Отцовство ваше, которого вы не признали, у меня не могло вызывать сомнений...

– Я знаю, Анна, теперь я все знаю!

– Мое дитя, которое вы отвергли, вызвало поначалу удивление и у меня. Но ведь природа полна загадок. В сыне моем соединилось много различных кровей. Есть и варяжская, и татарская, и другие, от предков, коих самые имена давно стерлись в памяти. Мог, следовательно, быть среди них и темнокожий африканец, тому бывали примеры на Руси. Знаменитый наш стихотворец, почтаемый самим императором...

– Анна, ты не поверишь! Он нам родня! Как я знаю, спросишь ты? Послушай же!

И Ронский в кратких словах передал Анне уже известное нам. Она слушала молча, не выражая удивления. Наконец вздохнула и уронила тихо:

– Как жаль...

Ронский понял ее: она жалела, что он не знал этого раньше.

– Но теперь, – воскликнул он с жаром, – Анна, теперь мы можем жить счастливо, как прежде, ты помнишь? помнишь? но уже втроем!

– Как прежде... Ах, Вениамин... Вы говорите о моем сыне. Хотите ли вы видеть его?

– Нашего сына, нашего, Анна! Хочу ли я? Едва могу дождаться!

– Павлуша, войди!

Дверь отворилась; в комнату вошел длинноногий темнокожий мальчик с синими глазами и русыми локонами до плеч. Ронский чуть не вскрикнул, взглянув в лицо ребенка: перед ним была темнокожая юная его копия. Лишь синие глаза да цвет волос взял мальчик от матери, все прочие черты повторяли с точностью, сглаженной возрастом, черты Ронского.

Ронский протянул руки к ребенку, желая обнять его, прижать к своей груди. Но мальчик не тронулся с места навстречу ему. Он стоял, свесив голову и глядя в пол. Затем взглянул на мать. Она улыбнулась и кивнула ему:

– Подойди же, Павлуша!

– К нему? Зачем?

– Это твой отец, mon enfant.

– Non! Je ne le connais pas.

– Si, Paul, c'est ton père et il t'aime. Va l'embrasser.

Мальчик пожал плечами и, не поднимая головы, подошел и встал подле Ронского. Ронский обнял его, поцеловал в лоб, повторяя:

– Мой мальчик, мой сын...

Мальчик терпеливо сносил ласки отца, никак на них не отвечая. И едва лишь Ронский отпустил его, Павлуша отошел и направился к двери:

– Puis-je aller, maman? M-lle Baillot m'attend, je n'ai pas finie ma dictée.

– Иди, мой мальчик. Но попрощайся же с отцом!

– Au revoir, monsieur! – мальчик шаркнул ножкой и выбежал из кабинета.

– Мой сын меня ненавидит! – в отчаянии воскликнул Ронский.

– Все нет, Вениамин. Просто он вас еще не знает. И разумеется, не сразу простит вам, что ради ваших важных дел, pour vos affaires importantes, вы оставили его и меня так надолго.

– Так ты говорила ему? Так объяснила мое отсутствие? Mes affaires importantes?

Анна грустно улыбнулась:

– Что иного могла я ему сказать? Что отец не признал его? Не желал больше видеть ни его самого, ни мать его? Нет, я не хотела, чтоб душу ребенка разъедали сомнения... хуже того, ненависть...

– О, как я виноват! – Ронский упал перед женой на колени. – Анна, клянусь, вам никогда не придется больше страдать. Я все искуплю! Я...

– Подымитесь, прошу вас! – поспешно проговорила Анна. – Подымитесь, зачем, я верю вам!

Принесли воду со льдом. Ронский поднялся с колен.

Холодная вода, освежив его пересохшее горло, не утишила его страстного стремления добиться от Анны хоть слова, хоть единого знака сердечной близости, некогда связывавшей их так тесно. Все, что слышал он от нее до сих пор, говорило о прощении, о вежливом дружелюбии, не более. Он узнавал в ней безупречное светское воспитание, но, как ни старался, не мог узнать задушевного друга и страстную любовницу прежних дней.

– Вы устали с дороги, наверняка хотите умыться, привести себя в порядок. – проговорила Анна, вставая с дивана. – Ваш кабинет вас ожидает, как ожидал все эти годы. Мы обедаем в час. Хотите присоединиться к нам или отобедаете у себя? Если угодно, обед можно подать и позже. Прошу вас, распорядитесь.

– Нет, Анна, – горячо возразил Ронский, – ты здесь хозяйка, я не в праве изменять заведенный тобою порядок. Будем обедать, как вы привыкли, я, кстати, и проголодался порядком.

– Вениамин, – Анна не смотрела ему в лицо, но голос ее был тверд, – я бы хотела, чтобы меж нами не оставалось ни малейших недоразумений. Я была здесь хозяйкой все эти годы – вплоть до часа вашего возвращения. Я обещалась повиноваться вам, вы желали, чтобы я жила в этом доме, я неукоснительно исполняла свое обещание. Теперь вы здесь – обязанности мои на этом закончены. Я уверена, вы не станете удерживать меня силой. Завтра же я намерена вместе с сыном переехать в свое имение. Да, Вениамин, я теперь не бедна. Перед смертью батюшка примирился со мною и выделил мне положенную часть наследства. Село ***, что в тридцати верстах отсюда, принадлежит мне, там отныне будет мой дом. Двери этого дома всегда будут открыты для вас. Вы сможете видеть сына, когда только пожелаете.

Ронский стоял как пораженный громом. Ничего подобного он не предполагал даже в худших своих опасениях. Он не находил слов.

– А сейчас простите меня, у меня много дела, – Анна слегка коснулась его руки и быстро вышла из комнаты.

«...Судьба обошлась со мной безжалостно, – писал мне Ронский вскоре после возвращения домой. – Наделив меня сперва всем счастьем, какое только доступно смертному, она затем враз вырвала его из моих рук, заставив пуститься в бесцельные странствования. Долго жил я в ледяной пустыне отчаяния, без надежды, без единого теплого чувства. Но вот надежда вновь затеплилась

для меня. Загадка разрешилась. Я понял, что могу, должен вернуться к той, что была когда-то для меня всем, кого оставил я почти что против своей воли, ибо казалось мне тогда, что иначе поступить нельзя. Я вернулся, и что же нашел я? Не возлюбленную жену, не милого друга, который способен понять и простить, но прекрасную, любезную даму высшего света, холодную, как статуя. О, она способна была простить, она простила. Ни в чем она не прегрешила ни передо мной, ни перед Богом. Но, как в статуе, я не нашел в ней ни единой искры прежних чувств. Она покинула меня – душою даже прежде, нежели телом. Мне ли винить ее? Но тяжко, друг мой. Трудно мне представить, что есть на свете человек несчастнее меня».

Я сочувствовал ему, читая его письмо. В самом деле, худо пришлось бедняге. И не сказать даже, кто тут прав, кто виноват. Мне хотелось поддержать его, утешить хотя бы дружеским словом. Я принялся писать ему.

Много высказал я ему в моем письме прекрасных, утешительных истин, какие знал он и без меня, но вспомнить каковы всегда полезно человеку в несчастье. Рука моя ходила по бумаге сама, и вскоре я заметил с неудовольствием, что перо мое, отдав дань общим местам, выражает истинные мои чувства, которые передавать ему я вовсе не намеревался.

«Ты считаешь себя несчастнейшим из людей, – начертало мое перо. – Да полно, известно ли тебе, что есть подлинное несчастье? Не знал ты в своей жизни ни глада, ни мора, ни кровавой войны, ни жалкой нищеты. Не испытал ты ни смертной болезни, ни внезапной потери любимых и близких. Жизнь твоя, которую ты клянешь, иному увидится как исполненная роскоши и удовольствий. Ты здоров, молод, достаточен в средствах, свободен в твоих поступках. Ты сетуешь, что утратил любовь той, с которой в юности связала тебя взаимная страсть. Но опомнись! Загляни к себе в душу! Не станешь же ты утверждать, что за долгие годы чувства твои не увяли, потеряв свежесть и силу? То же произошло и с нею. Ныне вы с ней чужие, малознакомые люди. И не пора ли тебе, забыв стоны и пени, самому заняться собственной жизнью, которую ты так долго оставлял на волю провидения. У тебя есть сын, ты должен...»

Тут я остановился. Перечитав написанное и решив, что не мне давать Ронскому наставление, я разорвал мое письмо и не ответил приятелю.

Переписка наша, и без того редкая, прекратилась совсем, и о дальнейшей судьбе Ронского мне ничего не известно.

Александр Бараш

ИЗ ЦИКЛА «ИСТОЧНИК ОТЩЕЛЬНИКА»

* * *

День пути по равнине от моря
Ночь в предгорьях Ещё день пути
И ты там где высокие норы
в сизых скалах как свет впереди
В этой ясной бездонной пустыне
только щели лучей в пустоте
водопадов большие ступени
и отброшено тело как тень
И стоят над зияющим морем
над содомским солёным песком
только тихие белые горы
словно двери в родительский дом

* * *

Когда наконец моим телом
станет эта долина
я буду снова свободен
над сияющим руслом реки
И будут вечно цвести
под соснами цикламены
ведь времена года
как дни и ночи близки
Страшен только момент
перехода тела в пространство
отделение звука от языка и зубов
Ты всегда хотел быть на отлёте
словно зимние травы
полные молока и мёда
обетованных садов
Здравствуй будущее тело
Мы ждём друг друга
Скоро мы будем вместе
Надо только совсем устать
Тени склонённых смоковниц
пишут по чистому руслу
то же что я на бумаге
и мы растворяемся в свет

* * *

И гремит
сухой виноградный лист
ковыляя по гребню скалы
и срывается вниз
И висит
на встречном потоке
прозрачных сил
и пытается
осознать их смысл
И внезапно поняв
летит стрелой
в пересохшее русло
под сизой горой
где дождей забвения
слёз спасения
ждём и мы

Леонид Левинзон

ЕСЛИ БЫ

Если бы я родился не пятьдесят лет назад, а семь, то был бы сейчас маленькой рыжеволосой девочкой. Почему рыжеволосой? Потому что я всё время хотел быть рыжеволосым. Почему девочкой? Просто так – игра судьбы. Любопытно, как оно – быть девочкой. Иметь маму, папу, бабушку, дедушку и ещё балбесного старшего брата, понарошку учащего меня-девочку драться. Вертеться перед зеркалом и воображать, делать рожицы. Красить губы маминой помадой. В распахнутых голубых глазах восторг перед началом каждого дня. Ходить с папой на плавание, лениться. А когда глупый папа спрашивает, кто лучше – мальчики или девочки, с уверенностью отвечать:

– Конечно, девочки!

– Почему?

– Потому что девочки красивее.

И папа, вздохнув, согласится:

– Да, конечно, девочки красивее.

Но так как я родился не семь лет назад, а пятьдесят, то я толстый, лысый и в очках. Одни говорят, что я, вот такой, как есть, похож на Пьера Ришара, другие – что на Депардьё. Но это вряд ли. Какой из меня Пьер? И тем более Ришар. Из меня самый захудалый Пьер не получится. Настоящий Пьер высокий и ходит в разных ботинках, а у меня сандалии на босу ногу, шорты и майка. Или, допустим, Депардьё... Где у меня те широкие скулы и весёлый взгляд не знавших близорукости глаз? Но главное, почему я не Депардьё и не Ришар – я не француз.

Так что, хоть и много говорят про меня, всё неправда. Некоторые говорят, что я добрый, другие – что злой. А я не добрый и не злой. Я разный. Просто мне так удобно. Каждый человек в зависимости от обстоятельств или добрый, или злой, а дома носит мягкие тапочки.

Вот Пьер Ришар действительно похож на Депардьё. Во-первых, оба французы, во-вторых, актёры, в-третьих, в одних фильмах играют. А то, что один толстый, а другой тонкий – это внешнее, наигранное.

Настоящее отличие – ты француз или не француз. Девочка или мальчик. Ты вырос или нет.

Я маленький ростом, но вырос. Поэтому я не играю в куклы и у меня умное значительное лицо. А то, что я подслеповатый и часто моргаю, ничего страшного – ведь моргаю я со смыслом. Так о чём я моргаю?

Я моргаю о том, что проживаю свою жизнь. Встаю утром, одеваюсь, спускаюсь по лестнице, покупаю билет на автобус и еду на работу. На работе открываю двери, потом ещё двери и ещё двери – бесчисленное множество дверей. А после захожу в малю-

сенькую комнату, где стоит столик с узким стульчиком. На этом стульчике я сижу по очереди с другим человеком.

Сейчас в фирме, усадившей меня на узенький стульчик, большие проблемы и нет денег. А раньше всё было замечательно и денег не было только у меня. Но вы не думайте, что моя фирма нищая. Нищий только я, а в фирме, несмотря на проблемы, до сих пор есть люди, которые неплохо зарабатывают.

Но на самом деле мне неинтересно, кто сколько зарабатывает. А узенький стульчик подо мной или широкий, для большого космоса неважно. Я сижу на этом узком стульчике и совершенно свободно размышляю о девочках, мальчиках и французах. Размышляю и моргаю.

Так о чём я моргаю? Я моргаю о том, что мир такой, какой есть, одновременно большой и узкий, богатый и бедный. И что ты в нём, таком большом, выбираешь людей, которых однажды назовёшь семьёй, и место, которое тебе по нраву. А на всё остальное смотришь с любопытством и иронией.

Куклы уходят. Девочка вырастает, и куклы в цветных платьях уходят. Она ещё пытается их удержать в своей жизни. Иногда по вечерам вытаскивает из шкафа, шепчет, поёт им.

Но уже больше и больше огромный мир – с ежедневным мытьём посуды, террористами, забастовками, музыкой и книгами – распаивается перед ней.

И всё начинается сначала.

Так вот, если бы я родилась не пятьдесят лет назад, а семь, то была бы сейчас толстеньким черноволосым мальчиком, любящим играть в солдатики. Почему мальчиком? Просто так – игра судьбы.

Иерусалим, 19.12.2013

Юлия Сегаль

НЕВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

О ЧЁМ ГОВОРИТ ПОЗА УБИТОГО?

...рождённое вблизи кровопролития.

Б. Ахмадулина

Когда мне было четыре-пять лет, я на вопрос: «А что делает твой отец?» – уверенно отвечала: «Он ловит воров». Я себе это так представляла: вор украл что-то и бежит, а папа – за ним. Ему бежать неудобно в длинной шинели, но он всё равно догоняет вора, хватя его за рукав – а ну, у кого ты это взял? Пойди и верни *сейчас же!* И извинись. И пообещай, что больше не будешь! И вор идёт, отдаёт и извиняется. Много позже я узнала, что милиция воров даже не искала. Люди не верили, что найдут, и не жаловались, а если кого ловили, забивали на месте. Очень злились на воров... А всех работников милиции тоже отправили на фронт. Их осталось очень мало. Даже страшные убийства было некому расследовать. И вот папа рассказал, что его начальник отдела привёл четырёх молодых казахов (дело было в Актюбинске). Он их выбрал из призыва. «Они сносно говорят по-русски, они толковые ребята», – так он сказал и велел папе их учить. Каждый вечер. Мы и так папу почти не видели, а тут... Но надо же кому-то учить? И вот через пару дней папа приходит совсем ночью, а мы не ложились, ждали его. Глаза красные, может, заболел? Мама вытащила из одеял ещё почти тёплую еду, он даже не смотрит. Сел, рассказывает:

– Вот, был сегодня первый урок. Я им выбрал тему: «О чём говорит поза убитого?» Набрал из старых дел более-менее приличные фотографии, где хоть что-то видно. Вот, говорю, ребята, видите эту позу? Видно, что человек шёл-шёл и упал. Даже вот, рук из карманов не вынул. Значит, убит внезапно, из-за угла, из засады. И не ограблен. Вон даже сапоги на нём. Что это значит? Скорее всего – месть. Тут можно копать. А на этом фото видно – человек дрался. Вон какая активная поза: и рука в замахе, и кулаки сжаты. А здесь что можно сказать? Вот, видно что убили где-то в другом месте, а сюда притащили и бросили уже мёртвого – видите, как голова повернута, неестественная такая поза... Ну и так далее. Часа полтора толковал им. Слушают. Глаза напряжённые, лбы наморщены, рты сжаты, соображают. Ну что? Тяжёлый, конечно, материал. Спрашиваю: понятно? Кивают уверенно. Один говорит: «Немножко непонятно». – «А именно?» – «Кто такой Поза и за что его убили?»

Я засмеялась.

Папа дёрнулся, жёстко прищурился:

– Тебе смешно? – и маме: – Они же пастухи, у них там только степи бесконечные и овцы, овцы... верблюды... ну, кони ещё... Их я должен научить, как вычислить и как поймать убийцу, и не просто поймать, а доказать, что это именно он, сволочь, у человека жизнь его единственную отнял... А в это время остальных, всех, всех,

бессловесных, которые не то что танка – примуса никогда не видели... их тысячами... ты-ся-ча-ми!.. Просто так... на убой...

Папа так прохрипел эти слова, что я подумала, что он правда сильно заболел, и придвинулась к нему. Мама покосилась на меня. Папа взглянул мне в лицо и мотнул головой: «Она не понимает...» Посидел, опершись лбом на сжатые кулаки, и добавил: «И слава Богу. А поймёт – что тогда?»

ОТК

Папа был в отчаянии. Он так и сказал: «Я в отчаянии!»

Он хватался за голову, поднимал вверх руки, тряс ими, растопырив пальцы.

– Что это? Что это творится? Я понимаю: война, разруха, столько жертв, столько сирот, нищета... всё, всё понимаю... Но теперь-то уже несколько лет, как нет войны. Я думал, этот вал – потоп! – воровства начнёт спадать. Так ведь – нет! Стало ещё хуже! Это стало *нормой*! Вот в чём ужас!

И ведь язык! Как точно реагирует простой разговорный язык! Никто давно не говорит «воруют», стали было говорить «тащат», ну, как тяжесть некую. Тяжело, но надо! А теперь? Теперь говорят «несут», а? Прелесть: человек не вор, нет, он – «несун». Он просто несёт, понимаешь! Две морковинки несёт за какой-то там хвостик, а? А?!

Мама сказала: «Роня, в своих лингвистических изысканиях ты забываешь поесть. Я тебе третий раз грею суп».

Но он не унимался: «А я тебе говорю, что это национальная катастрофа! Забыты самые элементарные, самые простые понятия “хорошо – плохо”! И наш хваленый рабочий класс!»

Мама показала ему глазами на меня – мол, ребёнок слышит. Он понизил голос:

– Пойми, когда мать ворует кусок хлеба, потому что у неё дома голодные дети – я это понимаю, и даже сочувствую. Но – водка! Ты знаешь, что делается у нас на винно-водочном? Там, чтобы выполнить план, водку разводят вдвое. *Вдвое!* И всё равно тащат!

Мне было очень жалко папу, и чтоб его утешить, я сказала: «А вот я вырасту и пойду работать на винно-водочный. И не буду тащить и покажу пример. Да?»

Я так сказала, потому что Марья Кондратьевна, наша учительница, говорила, что мы теперь пионеры и должны показывать пример...

А он осёкся и посмотрел на меня, моргая глазами, как будто только что проснулся. Так, наверное, папа Карло смотрел на вдруг заговорившее полено. Потом отвернулся, буркнув «Вырасти сначала», и стал есть суп.

А через несколько дней, когда у него не было вечернего дежурства, он вдруг сказал: «А пойдём-ка, ласточка, погуляем!» Вот это был подарок! Пойти с папой! Вечером! По улицам! Везде темно, а совсем не страшно: папа большой, он в шинели, с погонями... и мы идём и разговариваем! У меня столько накопилось всего, что хотелось ему рассказать, а он всё занят, занят... Например, про

нашу Марию Кондратьевну. Оказывается, её фамилия – Железняк! Значит, она – жена того Железняка, который матрос-партизан и про которого песня?

А ещё наша пионервожатая Лида велела нам: раз мы теперь пионеры, то входя в класс, должны не просто говорить «привет», или «здрасьте» – а отдавать салют! Я так и сделала в первый же день, но все почему-то засмеялись... Интересно – почему? И никто салют не отдаёт... А зато! Зато мы можем так приветствовать командиров Красной Армии, и мы вчера с Женькой шли из школы, а впереди шёл командир, и мы его обогнали, и повернулись к нему лицом, и отдали салют. И он... он нам козырнул! Представляешь? – и пошёл дальше, а мы тогда опять за ним побежали, опять обогнали, повернулись и опять отдали салют, а он... он улыбнулся и опять нам козырнул! Правда здорово?!

У меня много было ещё подобных замечательных новостей, но папа вдруг остановился, развернул меня лицом к зданию, мимо которого мы проходили, показал на окно подвального этажа и сказал: «А погляди-ка сюда». Я поглядела. Окно как окно, только длинное, на полквартила. Там был свет, и был виден серый бетонный пол, и ящики, ящики, ящики из деревянных планок, в которых таскают всё в магазинах, и сбоку стояла женщина к нам спиной в синем выцветшем халате и такой же косынке. И прямо к тому месту, где она стояла, подходил конвейер, а нам уже в школе объясняли, что такое конвейер, только здесь на ленте стояли бутылки, и ещё, и ещё, и ещё... Женщина брала одну такую бутылку правой рукой, и поднимала её доньшком вверх, и смотрела несколько секунд, потом передавала её в левую руку, и этой левой рукой ставила её в ящик под ногами, а тут как раз по конвейеру подъезжала новая бутылка, она и эту поднимала, смотрела, передавала в левую руку, ставила в ящик, бутылка звякала – кляк! – а в правой руке уже была следующая бутылка, и ещё, и ещё... А иногда некоторые бутылки она ставила в другой большой чёрный железный ящик... И папа мне объяснил, что это всё называется ОТК – отдел технического контроля. И эта женщина – контролёр! Оказывается, когда делают вино, то в него иногда попадают крошки от пробок или ещё какой-то мелкий мусор, он лежит себе на дне, но если перевернуть бутылку вверх дном, то эти крошки начинают падать вниз, и их видно! – и надо такую бутылку убрать, чтобы она не ушла в магазин. Это называется «брак». Вот, оказывается, как всё разумно и правильно устроено, и какое замечательное это ОТК, и я хотела уже идти дальше и разговаривать с папой, но он положил мне руку на плечо: «Нет, подожди, погляди ещё. Представь, что это ты – контролёр».

О! Вот это интересно! Какая игра! Подхожу поближе к окну, стараюсь в точности повторять движения тётки в халате: «Ап!» – бутылка делает круг – раз, два, три – нет, лучше я! Кон! Тро! Лёр! Вот здорово! И... я не знаю, сколько это продолжалось, только помню, что я попадала в такт и наклонялась к воображаемому ящичку ровно тогда, когда её бутылка говорила «кляк», и снова круг, и снова счёт на три, и снова наклон, и опять, и опять... Но скоро стало противно колоть под правой лопаткой, потом и шею запекло, как от горчичника, и вся спина стала деревянной. Мне

казалось, что я уже никогда не смогу нормально повернуться, и в голове круги... круги... и писать хочется, а остановиться нельзя, и только бормочу: «Раз-двар-ляр!» – почему-то... и стало меня как-то раскачивать, вот-вот упаду...

Вдруг – стоп! Всё остановилось. Это папа. Взял меня за плечи. Встряхнул. Развернул к себе. Папино лицо. Смотрит в глаза и совершенно серьезно, как взрослой, говорит: «Вот, не будешь учиться, и – подняв палец! – *хорошо учиться*, будешь так работать на вино-водочном *всю жизнь*, поняла?»

И я поняла.

БРАКИ

«А ну, посмотри мне в глаза», – требовала мама, когда сомневалась, правду ли я говорю. Но я уже не верила, что взрослые могут что-то читать в глазах детей, и, храбро таращась на маму, врала, но при этом надо непременно думать про себя: да, это так и было, именно так всё и было, именно *так*. Мама сомневалась: «А ну, скажи “честное слово”!» – тут надо было в голове сказать «не», а потом вслух «честное слово». Получалось «нечестное слово» – значит, имеешь право соврать.

Мама огорчалась.

Сестра презирала.

Сама она всегда говорила правду и только правду, даже тогда, когда могла бы и промолчать.

Началось с пустяка. Мы шли с ней в детский сад, она – в старшую, я – в младшую группу, и рассуждали о том, что вот как странно: есть такие простые слова – ма-ма, па-па, а вот немножечко иначе – ма-па, па-ма – почему-то не слышать. Неужели нет таких слов?

Вечером того же дня в ожидании ужина мы сидели за столом. Я как сейчас вижу тёплый свет керосиновой лампы, освещающий и стол, и склонившую маму, резавшую хлеб, и ее громадную чёрную тень на стене... И вдруг я сказала маме: «А знаешь, у нас в детсад пришли две новые девочки. Одну зовут Мапа, а другую – Пама». Сестра обомлела. А мама, сосредоточенная на том, чтобы ломтики хлеба были одинаково тоненькими, ответила машинально: «Хорошо, хорошо...» Сестра прошептала в ужасе: «Но ведь это *не правда!*», а я ответила: «Ну и что? Зато теперь мы знаем, что такие слова есть».

Вот с этого и поехало.

Я стала врать на каждом шагу, и далеко не всегда бескорыстно.

Например, была у нас такая ежедневная пытка: пить какое-то чудовищно горькое лекарство. Пила ли его сестра? Может, и пила, но с ней почему-то не было проблем. Для меня же это было «горше смерти», как говорила бабушка, поэтому, когда мама снимала с полки бутылочку с этой отравой, я находила повод так сманеврировать, чтобы оказаться рядом с умывальником. Мама давала мне в руку большую полную ложку с этой гадостью и стояла, выжидательно глядя: «Ну!» Я корчилась, вдыхала поглубже воздух, как бы готовясь совершить этот подвиг, потом выдыхала, опять набира-

лась мужества и опять корчилась, мама теряла терпение, торопилась: «Ну скорей, я ведь на работу опоздаю!» А я – «сейчас, сейчас» – зорко караулила каждый мамин жест, и стоило ей на секунду отвлечься – в мгновение ока выплескивала содержимое ложки в тазик под умывальником – и тут же делала вид, что преодолеваю отвращение от выпитого лекарства! Мама, уже не веря мне, обращалась к сестре: «Витуся, она выпила лекарство?» Моя честная сестра говорила, конечно, «нет».

Потом были разборки наедине.

– Ну зачем, зачем ты меня выдала? Предательница!

– Не могла же я соврать! Ведь я видела, что ты не пила!

– Так ты бы не смотрела!

– А куда же мне смотреть?

– Смотри в окно! Когда мне дают лекарство, всегда смотри в окно!

– Ещё чего! Будешь мне командовать, куда смотреть?!

Вняв всё-таки моим горьким упрекам, она в следующий раз на мамин вопрос выпрямлялась, заложив руки за спину, отвернув голову и подняв подбородок, – чистая Зоя Космодемьянская на допросе, мол, знаю правду, но вам не скажу ни-ко-гда! На мои новые упреки она резонно отвечала:

– Но я ведь ничего не сказала!

А я:

– Всё равно ты – предательница!

А она:

– А ты – лгунья!

Это было невыносимо. Само слово «лгунья» казалось мне таким мерзким, отвратительным. Подумать только: лгу-у-нья – это что-то такое длинное, узкое, скользкое, как змея. И это – я?! Нет, нет и нет! Своё враньё я называла «враки». Однажды, когда я неслла что-то несусветное, сестра спросила с подозрением:

– Кто это тебе сказал?

Я ответила:

– Мой врак.

– Враг? Твой враг тебе говорит, а ты веришь? Да ещё повторяешь? – и назидательно: – Врагам верить нельзя!

Да нет же! Они не были моими врагами (хотя из-за них мне часто попадало). Они были как маленькие озорные птахи, с весёлыми круглыми чёрными глазами. Такая птаха могла незаметно для всех, кроме меня, выпорхнуть из варежки, из-за занавески на окне, или из-за мамино платка на вешалке и, подморгнув глазом, тихо сказать: «В-р-ра-ак!» – и острое новое счастье подхватывало меня и – несло!

«Ну, что интересного было в школе?» – спрашивала бабушка, едва я переступала порог. Ей, прикованной к постели, конечно, хотелось новостей. Да что интересного может быть в школе? Но, разматывая колючий ненавистный шарфик (не забудь надеть шарфик, опять заболеешь ангиной!) и засовывая его в рукав пальто, я ощущала, как тёплый комочек там, в глубине, пытается выпростаться, и уже видела жёлтый клюв, он открывается и шепчет: «В-р-р-ак!», и – о-о! – слышу я свой собственный крик: «О-о! Так-о-е было! – ещё не зная, а что, собственно, «было». И все шеи вытягиваются, и все глаза устремляются на меня... – Сегодня Почуфарова...»

Надо сказать, что Почуфарова была главным героем моих бредней. В этой новой школе, куда я перешла после нашего переезда в центр города, в этом новом классе были замечательные девчонки! Чего стоила одна Люда Бутко, которая после уроков пересказывала нам приключения Тарзана (задолго до кино!), и мы заслушивались, как будто это были радиоспектакли. Или Танечка Дернова, тоненькая, худенькая, в больших очках, ленинградская блокадница, что рисовала всем желающим женские профили необыкновенной красоты, а сама была скрипачка. И ещё была девочка, которая на концертах школьной самодеятельности танцевала в настоящих балеринских туфельках, а назывались они «пуанты», и коротенькой юбочке, а называлась она почему-то «пачка». Странно. Пачка чего? Но неважно. Всё было великолепно в этой новой школе по сравнению с моей прежней угрюмой и убогой школой № 42, где сосед по парте писал «тетрадь по арифметику языку» и были бесконечные жестокие драки...

Но – Почуфарова... Это была такая *стремительная* девочка. Она не входила, нет, она влетала в класс – она заплетала косички, может быть, раз в неделю? – вечно растрёпанная, с блестящими карими глазами, ярким румянцем на щеках, вечно из-под формы были видны – как это называлось? шаровары? – широкие такие спортивные штаны... Её обожала учительница физики. Бывало, весь класс, как кролики перед удавом, смотрит на задачу, написанную на доске, а учительница медленно обводит всех прищуренными глазами, но вот она видит свою любимицу, и глаза её вспыхивают, и она как-то сладострастно восклицает с придыханием: «Почу-ФА-рова!» – и та – одним прыжком! – уже у доски и пишет, пишет, кроша мелом, потом поворачивается, косички разлетаются, на щеке – мел, на фартуке мел... «Можно я пойду?» – «Иди!» – и она выскакивает (что ей делать на этом уроке?), и все знают куда – в спортзал. Почуфарова всегда там, когда зал пустует. Она взмывает под потолок по канату, она раскачивается на кольцах вниз головой – высоко-высоко...

А в тот день – было начало марта, и в школе раскрывали окна, сдирая заклеивавшую их протухшую пожелтевшую бумагу, и Почуфарова вылезла из окна (что было строжайше запрещено!) и прошла до следующего окна по узенькому карнизу, держась только за швы между кирпичами; и у всех дух захватило, особенно у меня, всегда боявшейся высоты. И вот я рассказываю об этом дома, но это происходит уже на пятом этаже, а Почуфарова всё идёт и идёт, и вдруг... Мама бледнеет, судорожно глотает воздух, кладёт руку на грудь возле шеи, а я – врач, врач! – машу руками, как, наверное, должен был бы делать человек перед тем, как рухнуть в пропасть – а она! Нет!

Она не падает, она *прыгает* – на то дерево, что между нами и забором, хватается за большую ветку, раскачивается на ней – и прыг – на землю!!! Вскочила и побежала в класс!

Кстати, много позже выяснилось, что я была недалеко от истины. Как-то от бывших (уже бывших) одноклассниц я узнала, что Почуфарова с блеском училась в МГУ и, живя в высотном корпусе, ночами по узенькому выступу в полкирпича добиралась до окна своего возлюбленного. И было это не на пятом, а бог знает на ка-

ком ужасном этаже... Когда мне это рассказали, я ничуть не удивилась. Я всегда знала, что Почуфарова... может всё!

Слушательницы облегчённо вздыхают, мамино лицо розовеет...

Но сестра не может смолчать. «Не могу молчать» – это все знают, так называлось что-то, мы это проходили, так вот – это про неё.

– В вашей школе не пять, а четыре этажа.

– Ну и что? Ну и что, – воплю я в отчаянии. – И ещё пол-этажа – подвал!

– А на четвёртом, – она невозмутима, – только девятые и десятые классы, а на третьем – восьмые и седьмые, а мелкота – шестые-пятые – на втором! *На втором.*

Нет, это безнадежно. Ничего нельзя рассказывать дома. Маму папа запретил пугать, а у меня, как назло, все враки – страшилки. Почему бы это?

Бабушка на всё улыбается ласково, кивает головой – ну да, мол, понимаю. Верит ли? Вряд ли. Делает вид. Но я не хочу играть в эти поддавки! Про сестру и говорить нечего...

Что остаётся? Врать чужим. Но где их взять?

Дом, в котором нам дали комнату, было трудно назвать домом. Это была халабуда в два этажа, на втором – две комнаты, одна наша, другая, за фанерной перегородкой, – Шурки-проститутки, а внизу – семья с кучей детей. Их мать, о которой я только помню, что она звала свою старшую дочь, мою ровесницу, «Адиёткикусок», сказала мне сразу после нашего появления: «И не вздумай, когда полы моешь, воды налить, протекёт на нас – голову оторву, не посмотрю, что прокурорская дочка». Я папе не пожаловалась, но полы протирала слегка влажной тряпкой: вдруг правда оторвёт? Доски пола гнулись по одной при каждом шаге, и я с ужасом думала, а что будет, если они не выдержат нашей тяжести.

Я сказала своим новым соученицам, что у нас таки провалился пол, и мы теперь видим, что делается в квартире под нами (у меня не хватило воображения представить, как это могло бы быть). Девочки ахнули и назавтра целой компанией пришли посмотреть... Потом пришлось неделю симулировать привычную ангину, чтобы не ходить в школу, так мне было стыдно.

Другой девочке из параллельного класса, которая вряд ли могла прийти к нам домой, я сказала по большому секрету («Ты только никому не говори, обещаешь?»), что в военном госпитале, мимо которого мы как раз проходили, – вон, видишь, на втором этаже, второе окно слева, палата № 17, там лежит мой настоящий отец. А родители, с которыми я живу, – приёмные. Они думали, что я сирота, и взяли меня из детского дома. А я всё равно чувствовала, что мой отец жив, и искала его, и вот нашла. Он – танкист, он горел в танке, он весь обожжённый, особенно лицо (я так ясно видела его, в белоснежных бинтах, только черная щель для рта!). И ему сейчас делают операцию за операцией и пришивают ему *новое лицо!* А меня он узнал по голосу. И я хожу к нему тайком, потому что, если всё кончится хорошо и он выздоровеет, он меня заберёт и мы уедем в... Мордовию! Чего я приплела здесь Мордовию, до сих пор не пойму, может, это мне мерещилось что-то такое таёжное, где медведи с мордами такими... у-у-у! А он на лыжах

будет там охотиться на таких зверищ – и ничего не будет бояться, ведь он герой!

Девочка поверила мне совершенно и очень просилась прийти как-нибудь со мной вместе проведать его, но я благоразумно отказалась, сказав, что его волновать нельзя. Меня и то редко пускают. И больше ни-ко-го. Ведь у него швы и тут, и тут, и тут (я ребром ладони постучала по всему лицу), ему даже улыбнуться нельзя, сразу все швы разойдутся.

Кроме этой случайной девочки, я никому об этом не рассказывала, но сама не упускала случая, оказавшись неподалёку, непременно подойти и постоять у железной ограды госпиталя, посмотреть, горит ли свет в окне палаты раненого танкиста, представить себе, что там происходит, представить, как было бы хорошо попроситься посидеть возле него, подежурить, может быть, почитать вслух какую-нибудь книжку, чтобы он заснул под это чтение...

Всё это было странно. Ведь дома у меня был любимый, прямо скажем – обожаемый отец, но тот, обожжённый, одинокий, – был чем-то ближе, роднее... С чего бы это?

Эта детская врака так выросла мне в душу, что, уезжая насовсем из города, обходя самые дорогие места, я пришла и к этому окну. И сразу почувствовала, что танкиста там уже нет. Неужели умер? Нет-нет, его выходила симпатичная медсестра, и они поженились и уехали в эту его (её?) Мордовию, и у них родились там дети-близнецы, мальчик и девочка... И я подумала тогда: а ведь это мой брат и сестра, и улыбнулась сама себе: что за чушь!

Но ничего не проходит даром. Вот уж совсем недавно, пару лет назад, посмотрев по телевизору передачу «Жди меня», я вдруг с горечью подумала, что вот, ничего не сделала, чтобы разыскать своих родных, которые, поди, и сейчас ещё живут где-то там, в далёких снегах... И ведь нетрудно было бы найти, ведь про него (танкиста!) известны не только год и город, где он лежал в госпитале, но даже этаж и номер палаты... И мне понадобилось, стукнув себя кулаком по лбу, сказать вслух: «Старая дура! Какие брат и сестра, это твоя давняя детская врака!» И почувствовала, нет – увидела, как две детские фигурки в одинаковых зимних пальтишках и шапочках уходят по снегу, не оглянувшись на меня, всё дальше, дальше...

Мне редко удавалось поврать всласть. Некому было. Правда, был ещё папа. Он был завален работой, даже на дом брал какие-то бумаги. А то приходили люди, он им что-то объяснял, советовал, составлял им кассации-петиции, или как там это называлось?

Но иногда... иногда! – если он находил для меня время – это был настоящий праздник: враки лезли у меня из всех карманов, непонятно было, кого из них слушать. Папа никогда не высмеивал меня и не стыдил. Он всё внимательно выслушивал, переспрашивал – только в глазах поблёскивали весёлые искорки, но лицо было совершенно серьёзно – и *требовал деталей!*

Вот, например. Папа вечером не на дежурстве. Говорит:

– А сбегай-ка, дочка, к Шехтманам. Мне дядя Натан обещал один журнал дать почитать – принеси-ка мне его.

А я:

– Ой, я не могу. (Идти я боюсь. Вечер. Темно. Темноты боюсь панически.)

- В чём дело?
- Там, знаешь... э... (врак, врак!) – там мужик, прямо напротив входа в наш двор. Он... он в кустах прячется. Страшный такой!
- Чем же он так страшен?
- Небритый такой, и... один глаз у него... с бельмом!
- Это ты в кустах разглядела, что он небрит?
- Нет... это он когда под фонарём... это... проходил, а сам – раз! – и под тот большущий куст, что у входа... напротив.
- Это никуда не годится. Чёрт знает кто прячется, понимаешь, под фонарём, небрит, с бельмом... а на котором глазу бельмо?
- На... (быстренько соображаю: сказать на левом – нельзя. На мою сторону должна быть обращена его правая сторона). Э... с правой!
- Что ещё? Что ты запомнила? Мне ведь важно всё, понимаешь? Я ведь должен его узнать, если увижу. Я ему скажу: «Что это вы, гражданин, детей пугаете? По кустам под фонарём прячетесь?» Он у меня узнает, где раки зимуют. Так что ты ещё запомнила?
- Ну, вот... у него пальто... или шинель...
- Так пальто или шинель?
- Э... пальто... Э... такое большое, не по росту, он сам маленький, а пальто длинное и рукава... только самые кончики пальцев видно.
- О! – это уже деталь! А ещё?
- У него пальто такое серое, один карман есть, а вместо другого – такой чёрный квадрат, как будто спорот карман. (Это у меня на школьной форме был спорот карман, чтобы поставить латку на порванном месте. И от кармана остался чёрный квадрат.)
- Всё?
- Э... нет... (Как это роскошно – придумывать ещё и ещё детали!) Ещё ботинки!
- И что там с ботинками?
- Они были... без шнурков! Нет! Один, правый, был без шнурков, а левый... там шнурки болтались! (Это у меня вечно терялись наконечники шнурков, и лохматый конец никак не влезал в маленькую дырочку на ботинке, как его ни слюни, и вечно я заталкивала эти длинные шнурки внутрь ботинок, чтоб не тянулись за мной.)
- О! Шнурки! И след от кармана! Ну, теперь я точно его узнаю! Больше того: думаю, что уже сейчас он понимает, что с такими приметамы он от меня не уйдёт. Я уверен, что он уже сбежал. Смело иди и подойди к этому кусту – удостоверься. Давай смелее. А обратно тебя Эдик проводит.
- И я, счастливая, выходила на улицу, смело подходила к чёрному кусту и... и действительно – там ни-ко-го не было! «Ага, – говорила я громко. – Испугался! То-то!» – и гордо шла к Шехтманам. На обратном пути их сын, Эдик, провожал меня только до поворота в наш переулок. «Ты иди, – говорил он, – я здесь подожду, пока ты во двор не войдёшь». И я бежала бегом, громко стуча ногами от страха, а обернувшись, видела, что Эдика уже нет (может, он тоже боялся темноты и мужиков в кустах?). Я вихрем влетала во двор, успев, однако, на бегу показать язык большому кусту и, ворвавшись в дом, торопливо запереть за собой дверь.
- К редким праздникам поврать папе я стала готовиться: копить детали. Я начала присматриваться к людям, ко всем подряд, по-

падавшимися на улице. И тут меня ждало удивительное: большой, непонятный мир взрослых, окружавший нас, детей, плотной серой непроглядной стеной, на тусклом фоне которой высвечивались светлые пятна близких лиц, – вдруг раскрошился на сотни цветных яркиx камушков...

Лица... Какие разные лица! Вот – как старая ватная подушка, бугристая, серая, без наволочки. А это пухлое лицо – как картофельное пюре, а это – как помятый газетный лист, а здесь – розовое, но какое-то нездоровое, будто взяли белое полотенце и макнули в слабый раствор марганцовки...

Я, открыв от изумления рот, смотрела снизу вверх, стараясь запомнить, запомнить, запомнить. Правда, скоро выяснилось, что это небезопасно. Встречая мой откровенный вперившийся взгляд, люди отворачивались, хмуро и раздражённо ворчали что-то, один даже дёрнул вперёд подбородок: «Чего вылупилась, сучонок!» Я отскочила, постаралась затеряться в толпе, оглянулась: он уходил, и была у него такая спина, такой загибок: «Да это же... волк!»

Это было открытие: я поняла, что спины ещё интереснее лиц! И совершенно беспрепятственно можно увязаться за кем-то и идти по пятам, рассматривая, запоминая... подражая походке, пытаюсь понять – а что чувствует человек, когда ходит вот так вяло, неуверенно, или вразвалку, или торопясь и спотыкаясь, а то вжимаясь в забор?

Вот идут два парня, затылки каменные, плечи широкие, совершенно неподвижные, большие пальцы рук в карманах широких штанов, остальные – красные, крепкие, толстые – пошевеливаются снаружи, а бедра – вихляются и ноги выбрасывают так уверенно, нахально. В любую секунду готовы дать и кулаком, и ребром ладони, и ногой – упавшему...

А вот – хорошая спина, какая-то спокойная, терпеливая. За таким человеком так надёжно идти – даже если далеко, обязательно придёшь в какое-то хорошее место...

У меня появилось пристрастие, странное для двенадцатилетней пионерки – таскаться на барахолку. Помню, как еще на подходе тяжело и гулко билось сердце, и становилось трудно дышать... Меня завораживало это густое месиво людей, напряжённо шевелившееся, толкающееся, какие-то хриплые звуки, свистящий шёпот, руки что-то щупали и прятали, вытаскивали из-за пазухи ещё тёплые мятые деньги негнуздимися дрожащими пальцами... Запахи пота, курева, перегара и грязи. Густая смесь нищеты, ненависти, обиды, подозрительности, жадности, отчаянья... и надежды.

Меня тянуло туда, как магнитом: так вот какая ты, невыдуманная жизнь, ослепительно-яркая, жестокая, великолепная...

Как интересно стало жить! Каждый встречный человек стал как непрочитанная книжка! И мои враки постепенно стали навещать меня всё реже, реже... Пока не оставили совсем.

Шмуэль Йосеф Агнон
ПОКА НЕ ПРИДЕТ ЭЛИЯШУ

1

Между Старой синагогой и Новой, рядом с той дверью, что напротив купальни, стоит небольшой деревянный ларец. Такого ларца не видывали ни мы, ни наши предки. Меняются поколения, а все стоит этот удивительный ларец, и ни воры его не украли, ни любопытные руки не сдвинули его с места. Чей же он? Кто оставил его здесь? Об этом, пожалуй, стоит рассказать.

В нашем городе, когда нанимали на работу служку, выдвигали условие: для тех суббот, когда читают главы Торы с перечислением проклятий, обязуется он найти человека, который согласен прочесть эти проклятья. А не найдет – прочесть должен будет он сам. При этом, однако, отмечали, что с тех пор, как стоит Бучач, еще не приходилось службе стоять под градом этих проклятий, ибо нет такого служки, который не смог бы найти нищего, готового за деньги занять его место, ведь нищие всегда рады разжиться хоть чем-нибудь. Однажды случилось так, что пришло время читать главу «Когда ты придешь», а служба Новой синагоги все еще не нашел нужного человека. Неужели перевелись на земле все нищие?

Вот как было дело. Когда прошло больше половины недели, служба начал беспокоиться, как бы не пришлось ему самому взойти к чтению этой главы. И было ему из-за чего беспокоиться, ведь все люди грешны: богатый – в меру своего богатства, а бедный – в меру своей бедности. Если грешат даже богатые, те, у кого нет недостатка ни в чем, то тем более – бедные, у которых нет ничего, кроме их бедности, как у нашего незадачливого служки. Как-то выдался такой холодный год, что его малыши заболели. Пожалел он их, взял немного дровишек в синагоге и затопил ими печь в своем доме. В другой раз, когда пришла Ханука и не было у него масла для ханукального светильника, пришлось ему взять масло из синагоги. Дрова и масло, предназначенные для учения и молитвы, употребил он для себя.

Бог терпелив, Он не торопится взимать плату за зло. Другое дело человек. Жила тогда в городе одна бедная женщина. Муж ее умер и не оставил ей ничего, кроме маленького сына, единственного ее утешения. Но вскоре, видно, отец затосковал по сыну и взял его к себе. Как-то ночью явился мальчик своей матери во сне, тихий и грустный.

– Что, сынок, – сказала она, – разве плохо тебе с отцом?

– Мне было бы хорошо, – ответил ей сын, – если бы здесь, в вашем мире, кто-нибудь замолвил хоть словечко за упокой моей души.

– Сынок, сердечко мое, – вскричала мать в ужасе, – что ты такое говоришь? Разве не наняла я служку Новой синагоги, чтобы он три раза в день читал за упокой твоей души поминальную молитву

и Мишну с комментарием? Разве не продала я ради этого тот платок, что твой отец подарил мне на твое рождение, а ты говоришь мне: было бы хорошо, чтобы хоть одно слово было сказано за упокой моей души!

На следующий день пошла она проследить за служкой. И видит: сидит он перед Мишной, положил голову на книгу и спит. Узнала она, что не читает он поминальной молитвы по ее сыну, а вместо этого нанялся читать молитвы на несколько годовщин. Ее сердце наполнилось гневом, и она обрушила на него всю ярость главы проклятий. Служка знал, какую силу имеет проклятие вдовы, и ему стало не по себе, когда он подумал, что, если не найдется ему замена, должен будет он сам взойти к Торе и на его голову снова посыпятся вдовьи проклятия. В четверг, не найдя никого, он совсем впал в отчаяние, забыв, что иногда провидение с легкостью отводит от нас беду в самый последний момент.

2

Когда вышел последний молящийся, служка открыл Мишну. Многие вдовы и сироты платили ему за чтение Мишны в честь их умерших родственников. Кто мог, добавлял пару монет за чтение Мишны с комментариями; кто не мог, полагался на милосердие Всевышнего, который, уж конечно, не оставит покойного, даже если какая-то глава Мишны будет прочитана без комментариев. Служка не был большим знатоком Торы, а тем более Мишны, требующей острого ума, чтобы находить тайное в явном. И все же, если человек годами сидит в синагоге, а просиживать дни напролет без дела нету сил, он открывает книгу. Вот сидит он перед книгой, а буквы сами взлетают и впадают к нему в глаза. И если Бог даст, то буквы сами сложатся в слова, а слова – в смысл. И служка завел привычку сидеть перед книгой Мишны. Чтение ее благотворно для души, ведь в слове *Мишна* те же буквы, что и в слове душа – *Нешама*. Он выбрал двадцать две главы, по числу букв алфавита, и каждый день складывал их по буквам имен умерших, за которых он брал плату. Скажем, если имя умершего было Аврум, то главы подбирались так: букве «А» соответствовала глава «А вот четыре вида ущерб», букве «В» – глава «В чем надлежит выходить женщине», букве «Р» – глава «Рабби Элиэзер говорит об обрезании», букве «У» – глава «Уехал муж с другой женой в заморские страны», букве «М» – глава «Молитвы скорбящих». Так же складывались главы по буквам имени отца умершего и по буквам слова «душа». И так же поступал служка с женскими именами. Каждый день он сидел и повторял главы Мишны по именам тех умерших, за которых взял он плату.

В тот день не одолел он ни одной главы, как будто уже пробил час и все спящие во прахе восстали из могил и не ждут больше чтения Мишны за упокой своих душ. Служка сидел и размышлял о своих поступках. И вот его проступки стали казаться ему ошибками, а ошибки – пустяками. Как будто грешки, совершенные намеренно, были оплошностями, а на свои оплошности стал он смотреть с удивлением, как бы вопрошая: неужели ты и это заметил? И все же его мучило раскаяние.

3

Дверь отворилась, и вошел бродяга.

Шляпа мятая, одежда – заплатка на заплате, башмаки висят на плече, и весь он – нищий из нищих, такой, у которого нет ничего за душой, кроме его нищеты.

Служке показалось вдруг, что он видит отца того самого умершего мальчика. В действительности не было между ними ничего общего: бедность одного глубоко схоронилась в его одежде, нищета же другого кричала из каждой заплатки.

Но служка, в чьих ушах звенело до сих пор проклятие вдовы, вспомнил о ее умершем муже и вообразил было, что видит его.

Бродяга похлопал служку по плечу, как это делают проходимцы, заискивая, хватая за руки и тиская брюхо.

– Что с тобой, дорогой мой, – сказал он при этом, – чего грустишь? Мы, слава Богу, евреи, а еврей всегда и везде должен радоваться, что он еврей. Твое лицо так мрачно! Неужели ты забыл, не дай Бог, что ты еврей?

Служка сердито глянул на бродягу и хотел было выгнать его вшаей из синагоги, но вдруг подумал: «Погоди-ка, иногда и такой человек может пригодиться». Его лицо просветлело, он гостеприимно протянул незнакомцу руку и ответил:

– Ты хочешь знать, отчего я грущу? Что ж, я тебе расскажу. Да ты садись, не стой, ты, видно, устал с дороги; ты, чай, не в карете сюда пожаловал. Садись, садись, приятель. Вот сюда садись, на эту скамеечку. Э-хе-хе, скамеечка-то эта принадлежит таким важным господам, что мы с тобой, приятель, были бы рады, если бы у нас было столько квашеных кабачков, сколько у них золотых монет. Теперь, когда ты сидишь, я тебе отвечу. Ты спрашиваешь, чего я грущу? Скажу тебе все по правде, как другу. Хотя я вижу тебя первый раз в жизни, у меня такое чувство, будто мы вышли из одного чрева, будто мы близнецы. Без лишних приготовлений начну с главного. В эту субботу читают главу «Когда ты придешь», а в ней – проклятия. Сегодня уже четверг, а я еще не нашел того, кто взойдет к Торе, и если не найду, то придется – мне. Думаю, ты меня понимаешь, приятель.

Поглядел на него бродяга и сказал:

– Что ты такое говоришь, дорогой мой? Разве может еврей огорчаться из-за того, что ему выпала честь взойти к Торе? Напротив, всякий от радости стал бы раздавать милостыню направо и налево. А ты боишься, что тебя вызовут к Торе?! Не сердись, но я не настолько глуп, чтобы поверить в это. Если бы не твоя борода и пейсы, я бы подумал, что ты просто шут.

Удивился служка: ему говорят о проклятиях, а он заладил: это большая честь – взойти к Торе.

Так бестолковая деревенщина берет петуха для ритуала искупления и произносит при этом благословение «Да будет благословен сотворивший человека с мудростью».

Служка уже жалел о каждом слове, потраченном на этого бродягу, и уже готов был развернуться и бросить его, но сердце что-то подсказывало ему и почему-то при этом цитировало Мишну: «У каждого человека есть свой час, и у каждой вещи – свое место».

– Не много же ты преуспел в Торе. Что ж, не всем везет, – сказал он бродяге, – вот почему не видишь ты разницы между главами с проклятиями и другими главами.

Глаза бродяги засмеялись, и он сказал служке:

– За кого ты меня принимаешь, друг мой, за невежду? Хочешь, я прочту тебе проклятия из главы «Если по уставам Моим» и из главы «Когда ты придешь», и ты увидишь, что я не совсем безнадежный неуч.

– Замолчи! – закричал на него служка. – Закрой рот!

Но бродяга сказал ему:

– Дорогой мой, у тебя что, уши заложило? Я ведь хотел прочесть тебе слова Бога живого, а ты... Уж не обессудь, когда бы не было грехом подозревать в чем еврея, я бы решил, что ты отклоняешь ухо свое от слова Торы. Вся Тора – это добро, благословение и жизнь, а ты боишься, что тебя призовут к чтению проклятий. Тебе бы радоваться, что будешь ты стоять рядом с чтецом Торы и услышишь каждое шепотом произнесенное слово.¹ Не будь мы с тобой в святом месте, я бы сказал, что ты смеешься надо мной. Ты боишься, что тебя призовут к речению о проклятиях, речению, сказанному Богом устами Моисея!

«У этого бродяги ума-то не палата, – подумал служка, – зато хороший характер. Если я его попрошу, может, он и выйдет к чтению Торы вместо меня. Напрасно я тревожился. Теперь мне не о чем беспокоиться, разве только о том, что я беспокоился прежде. И все же это как-то странно: он знает обе главы о проклятиях, но не понимает их сути».

4

– Ты, конечно, прав, приятель, – сказал служка бродяге, изображая полнейшую невинность, – все главы Торы святы, и всех их мы любим одинаково; вот только каждый любит их по-своему. Один любит взойти к Торе третьим по очереди, потому что в раю Авраам читает Тору третьим; ведь Аарон – коэн и поэтому восходит первым, а Моисей – левит, и потому он – второй. Иные же любят мафтир,² кто из-за благословений Пророков, а кто – чтобы голос показать. И еще есть всякие людишки, те, что зовут себя хасидами, так они рвутся к чтению Торы шестыми! Вот и не удивляйся теперь, что такой человек, как я, решил дать другому взойти к Торе вместо себя.

Скажи-ка лучше вот что, приятель, – продолжал служка, – что касается благословений на чтение Торы, то я знаю людей, которые спорят да философствуют выше крыши, а когда нужно произнести благословение на Тору, они одну его половину глотают, а другую икают, потому что просто не знают благословения. *Цорва ме-рабанан*,³ а при этом полнейшие невежды. Ты не обижайся, я

¹ По обычаю, строки проклятий читаются шепотом.

² Мафтир – здесь обозначение отрывка из Книги Пророков, которым завершается ритуал чтения недельной главы Торы.

³ *Цорва ме-рабанан (арамейский)* – буквально: обожженный мудрецами; начинающий ученик, еще не достигший уровня мудрецов, либо человек, возвращающийся в обществе мудрецов.

только хотел тебя спросить. Лишний вопрос не грех. Скажи мне, приятель, ты знаешь благословение на чтение Торы?

Поглядел на него бродяга и сказал:

– Да разве найдется такой еврей, который не знает? Если человек знает благословения на пищу и питье, которые лишь мгновение и прах, то тем более – на Тору, источник нашей жизни и долголетия. Если хочешь, я прочту тебе.

– Нет, просто так не произносят благословения, – сказал служка, – в них есть святые Имена, которые нельзя произносить понапрасну. Я и так вижу, что ты их знаешь. Как умножились грехи наши, так умножились и невежды, которые не могут ни одного благословения произнести как следует. Вот у меня был случай: один жених в субботу, во время семидневного свадебного пира, вышел читать Тору; так если бы я не стал стучать по столу, как будто призывая народ перестать болтать, то все бы услышали, что он не знает благословений!

Бродяга вздохнул:

– Наверное, он из бедной семьи, и у его родителей не было средств на его обучение.

– Да какой бедный, – ответил служка, – дай Бог, чтобы у нас с тобой по субботам и праздникам было то, что он лопаает по понедельникам и четвергам! Кто не учит Тору от бедности, а кто – от богатства. Жених тот был из богатой семьи. Если бы я его не выручил, они бы провалились от стыда сквозь землю. И что я получил за это? Несколько затертых медяков.

Пока служка разговаривал с бродягой, сердце ему шептало: «Не сказки надо сказывать, а дело делать». Он по-дружески положил руку на плечо незнакомца и сказал:

– Пойдем ко мне, приятель, позавтракаем. Я думаю, у меня найдется редька, и несколько луковиц и кабачков, и, может быть, немного кислого молока. Ряженка для сердечка – что для волка овечка. Говоря по-простому, молочко кислое сердце напоит, кто его выпьет – не знает боли.

Сказал бродяга:

– Не нужно.

– Что не нужно? Кушать не нужно? Это что-то новое.

– Не сто́ит.

– Что не сто́ит, кушать? Как там сказано в Писании: я был молод и состарился, но ни разу не видел человека праведного настолько, чтобы тот не хотел есть.

– Когда у тебя краюха в котомке, зачем беспокоить других?

– И где же твоя котомка и твоя краюха?

– Я их в ларце оставил.

– В ларце? Так у тебя есть ларец? Значит, ты не с пустыми руками сюда пришел. Только где же он, твой ларец? Нет здесь никакого ларца.

– Я его в сенях оставил.

«Зачем я с ним препираюсь? – подумал служка. – Довольно мне и того, что вовремя подвернулся человечек для проклятий. Только бы не случилось со мной того, что случилось с тем служкой, который семь дней откармливал у себя нищего, а за пару стихов до начала проклятий гостюшка взял да и упорхнул».

Стараясь его увлечь, служка стал рассказывать бродяге о разных знатных господах и о том, насколько богат этот, и насколько богат тот, и сколько этот дал приданого своей дочери, и сколько тот потратил на аттестат ста раввинов для своего сына.

Сказал странник:

– Если бы я не торопился, я бы изрешетил свои уши, чтобы тебя послушать.

– А куда ты торопишься?

– В Переволоку.

– И что там?

– В Переволоке у одного человека сын родился.

– Ну и что, что сын родился?

– Я хочу поспеть к обрезанию.

– Если ты хочешь выпить, так у меня дома полная бутылка, а если поесть – так в Бучаче простая лепешка лучше всех пирогов на свете. Рабби Захария, сын Рабби Лейбуша, предводителя, да упокоятся они в раю, поехал однажды к своему тестю в Подгайцы. Когда он вернулся, его почтенная матушка спрашивает: «Чем же тебя теща кормила?» Он ей и отвечает: «Во все это время не переводились самые изысканные яства на столе, но все они не стоят и простых лепешек, что печет жена нашего служки». И ты знаешь, приятель, кто это такая? Моя бабушка! И моя мать, пухом ей земля, переняла это умение, и моя жена. Пойдем ко мне, благословим Всевышнего за хлеб за соль.

– Твои слова милей мне всех разносолов на свете. Однако я спешу: хочу попасть в Переволоку засветло, чтобы услышать, как дети читают молитву «Шма Исраэль» перед роженицей.

Засмеялся служка и сказал:

– Вот так диво – молитва деревенских детишек. Если ты хочешь услышать, как дети читают «Шма Исраэль», дождись вечерней молитвы, и ты услышишь не только «Шма Исраэль», но и поминальную молитву. Так грешен наш век, что многие умирают молодыми, оставляя маленьких сирот. О чем ты вздыхаешь? Об умерших евреях? Что ж, об этом не грех и повздыхать, только теперь ты видишь сам, что незачем тебе шататься по деревням в поисках родного слова. Я не погрешу против правды, когда скажу, что эти, в деревнях, как быки на полях, половина – невежды толконные, половина – гои полные. Ну, родился ребенок в деревне, так что? Элиягу тебе там не встретится.

Улыбнулся странник и промолчал. А служка продолжал:

– Вот и башмаки твои... Сомневаюсь я, дойдут ли они до деревни-то. Бери свой ларец, и пошли со мной. Зачем тебе оставлять его на улице, если можно положить его у меня дома. Не то чтобы здесь были воры, просто руки у людей уж больно хватки: чего ни увидят, враз хватают. Если он тяжелый, я тебе подсоблю.

Рассмеялся странник и сказал:

– Он легкий, как бедняцкий кафтан зимой. Ну а если его и тронет кто, невелика беда.

Служка порылся в карманах и вытащил монету:

– Вот, возьми.

– Что это?

– Деньги.

– На что мне деньги?

– Если захочешь стаканчик вина или фруктов, будет чем заплатить.

– Евреи милосердны: если замучает голод, кто-нибудь да накормит, если жажда – напьюсь из родника или колодца.

– С копеейкой в руке никогда не пропадешь.

– С копеейкой в руке мне придется ходить со сжатым кулаком, и все подумают, что я ростовщик. Получится, что из-за меня люди станут думать о евреях недоброе, да и на себя накликаю беду.

Служка понял, что уговоры напрасны, и понадеялся на Всевышнего: как Он послал ему сегодня этого бродягу, так Он и вернет его в субботу к самому сроку. На всякий случай, решив опередить провидение, служка спросил его, когда он вернется, и получил ответ:

– Если Бог даст, к субботе.

Служка видел, что он не врет. И все же он побаивался, что его нищий может попасть в другую синагогу, и там уж его, конечно, заташат на чтение проклятий. Вот в прежние времена было хорошо: тогда весь город молился в одной синагоге... А теперь, когда в городе пять синагог, приходится опасаться, как бы не выхватили бродягу у него из рук. На самом деле в те времена в Бучаче было шесть синагог, но шестую, хасидскую, служка Йозель-Йона синагогой не считал.

Пока служка тосковал о безвозвратно минувших стародавних временах, странник ушел на церемонию обрезания.

5

Настало время встречи субботы, а бродяга не вернулся. Не вернулся он и после наступления темноты. Служка начинал беспокоиться, но отчаиваться было еще рано. «Если он не пришел на молитву, – уговаривал он себя, – придет после молитвы. Я же сам ему сказал, что у нас есть немало знатных господ, а нищие всегда тянутся к столам богачей». Но когда закончилась вечерняя молитва и нищие окружили служку, прося пристроить их к хозяйским домам, странника среди них не было.

Тревога все больше охватывала служку. «Завтра, завтра...» – повторял он себе на грани отчаяния. Служка скучал по нему, и злился на него, и отчитывал его всю ночь: «А как же твое обещание? Ведь ты же сказал, что придешь!» Но бродяга не появился и после утренней молитвы, и, когда стали вынимать свиток Торы, Йозель-Йона начал готовиться к худшему.

Свиток достали и положили на стол. Габай стал распределять очереди, а служка встал у него за спиной, на всякий случай; например, на тот случай, если кого-то вызывают к Торе не тем же именем, которым его зовут на рынке; или если распорядитель забудет имя отца того, чья очередь читать; вот тогда он и посылает служку спросить.

А служка стоял, и перед ним один за другим поднимались люди к Торе, и вот уже прошел четвертый, и пропала последняя надежда. Он уже больше не поднимал глаз на дверь в ожидании увидеть в ней бродягу, и готовился взойти к Торе шестым и услышать от-

рывок главы, в котором и звучат проклятия. Бродяга уже не придет, закрылись все врата надежды.

И вдруг служка почувствовал, что он здесь. Йозль-Иона не смотрел на дверь и не слышал, как она отворилась, но точно знал, что бродяга стоит у двери. Как это произошло, служка не знал, да и нам это неизвестно.

Он боялся поднять глаза на дверь: а что, если ему показалось, даже наверняка показалось. И тут бродяга появился прямо перед ним, лицом к лицу. Служка увидел его чистое, невинное лицо и подумал: «Он не станет юлить, он сдержит обещание». В одно мгновение в голове у него пронеслось все то, что он за многие годы узнал о заповеди держать слово. «Изреченное устами твоими соблюдай», – так гласит Тора, а то, что сказано в Торе, все евреи обязаны выполнять. Остерегайся даже тени сомнения: если еврей дал слово, будь уверен, что он сдержит его. Этим и вера укрепляется: человек видит, что ему доверяют, – и выполняет свое обещание. И если евреи доверяют друг другу на земле, то им доверяют и на небе. И исполняется все то, что им было обещано.

Умиляясь, служка подошел к страннику и ласково его спросил:

– Как твое имя?

Тот сказал ему свое имя.

– А как имя твоего отца? – спросил снова служка.

Странник сказал ему имя своего отца.

– Ты знаешь, мой дорогой, для чего я спрашиваю тебя о твоём имени и об имени твоего отца? – сказал служка. – Я собираюсь пригласить тебя к Торе, как приглашают уважаемого гостя.

Но странник ответил:

– К сожалению, ты опоздал! Сколько радости, сколько удовольствия ты бы мне доставил, если бы пригласил меня чуть-чуть раньше.

– А какая тебе разница, раньше или позже? Чем пятая часть нехороша? Разве она не одна из семи? – схитрил служка, назвав шестую часть, часть о проклятиях, пятой.

Сказал ему странник:

– Дорогой мой, ты хочешь вызвать меня шестым к Торе, но дело в том, что я – коэн, а коэн идет первым.

Служка рассвирепел, его глаза сверкнули так, что, казалось, сожгли бы бродягу, если бы только могли. А бродяга, засунув руки за пояс и смеясь одними глазами, сказал:

– Не стоит сердиться, мой дорогой, не губи своей радости, своей субботы. Все до единого слова Торы – это любовь и милость, добро и благословение. Поспешите же, взойдите к Торе, не заставляйте ее себя ждать. Вот и габай уже сердится, что ты задерживаешь чтение.

Йозль-Иона так посмотрел на него, что едва не испепелил взглядом.

Взгляд странника, полный любви, ласково обнял его. И тут сердце служки сжалось и наполнилось любовью. Его гнев улетучился, и вслед за любовью в его сердце проникла радость.

Он подошел к Торе и, коснувшись древка Свитка, произнес благословение, да с такой радостью, словно перед ним была глава «И вот благословение».

От его радости радостью наполнился весь дом молитвы, и от этого удвоилась радость Йозель-Йоны. Такова настоящая радость: она растет, и множится, и увлекает за собой других.

6

После молитвы Йозель-Йона подошел было к скамейке для бедняков, чтобы пригласить бродягу на обед, но не нашел его. Он решил, что его опередили. Некоторые хозяева, боясь остаться на субботней трапезе без гостей, спешат первыми схватить нищего и затащить к себе.

Поняв, что ничего не поделаешь, Йозель-Йона сказал себе словами странника: «Не губи своей радости, своей субботы». Что сделано, то сделано. Он вернулся домой, произнес Кидуш,⁴ омыл руки, сказал благословление на хлеб и перешел к песнопениям. Служке вспомнился необычно приятный голос странника, и он сказал:

– Будь он здесь, мы бы услышали новые мелодии субботних песнопений.

Вспомнив о бродяге, Йозель-Йона стал говорить о нем со своей женой:

– Появляется какой-то залетный гость и всю душу мне выворачивает наизнанку. Ты помнишь, Браха-Гитл, сколько я хлопотал да суетился каждый год, чтобы найти себе сменщика на главу проклятий? Теперь жалею: а ведь мог бы все эти годы участвовать в чтении Торы. Умножающий годы умножает знание. И еще находятся люди, которые считают себя умнее своих отцов. Не умны они, а глупы. А что до гостя, если я не успел пригласить его на обед, то приглашу на ужин.

Однако эта мысль утешила его ненадолго, ибо вечерняя трапеза – не дневная, в которой есть Кидуш на вино, и к которой приступают, будучи изрядно голодными, и в которой, кроме пирога, бывает много других изысканных кушаний. Как говорится, по гостю и каравай. Совсем не то вечерняя трапеза: за стол садятся сытыми, только для порядка, да и едят, только чтобы произнести благословения – на хлеб и на пищу.

Сидел Йозель-Йона и недоумевал: простой нищий бродяга, а сердце рвется снова его увидеть. Хотя люди тоскуют иногда друг по другу, никто не знает, откуда берется тоска. Если причина в нем, то почему я раньше не тосковал по нему? Но ведь теперь я другой, потому что узнал его, значит, дело не в нем, а во мне. Но если так, то почему я узнал его только сейчас? Так или иначе, не стоит тратить время на лукавые мудрствования, когда перед тобой субботние блюда.

Йозель-Йона отогнал эти странные мысли и приступил к обеду, в котором были и халы, и сливовица, и разные лакомства. Он не остался неблагодарен и, не скупясь, нахваливал свою жену за каждое блюдо, однако всякий раз он приговаривал:

– Вот если бы с нами обедал наш гость, то было бы еще лучше.

⁴ Особые молитва и благословения, которые произносятся в начале субботней трапезы.

– Если так, то давай оставим для него от каждого кушанья, и он сможет отведать их вместе с тобой во время третьей трапезы.

– В самом деле, – сказал он, – отличный совет, и как это я раньше не додумался. Верно, я об этом думал, да от волнения позабыл. Да, я его приглашу на третью трапезу. Велики деяния Господа, дозволяющего человеку в любое время исправить свои поступки. Что не удалось в этот раз, получится в другой, – заключил он, готовясь начать песнопения.

Когда трапеза была закончена, Йозль-Йона стал произносить благословения, а Браха-Гитл сидела и ловила каждое его слово и всякий раз отвечала «Амен».

Потом Йозль-Йона встал из-за стола и лег на кровать, чтобы насладиться субботним послеобеденным сном. Как говорят люди, сведущие в знамениях, слово СУББОТА можно истолковать так: Сном Удовольствия без Боли и Бед Одарят Тебя Ангелы. И правда, субботний сон – это истинное удовольствие. В будние дни лежит человек на кровати, а его мыслям нет покоя от дел и забот. Другое дело в субботу, когда не может быть ничего лучше, чем сон ради заповеди субботнего отдыха.

Йозль-Йона лежал и представлял себе, как за столом сидит его бродяга и ест, и пьет, и наслаждается, как может бедняк наслаждаться только в гостях у бедняка. Богач всегда сыт, и потому не станет он много есть и даже подумает: вот я богат и мой стол всегда полон, однако же я довольствуюсь малым; тот же, кто беден, наверное, ест еще меньше. И что же ждет этого бедняка? Он остается голодным.

Только бедняк понимает бедняка и знает, что он голоден всегда, и когда он принимает его в гостях, то старается во что бы то ни стало насытить душу всем тем, чем и тело насыщается, а уж душа насладится вместе с телом непременно.

Так лежал Йозль-Йона и представлял себе, будто странник сидит за его столом, который ломится от яств Брахи-Гитл. Шесть дней в неделю пуста тарелка служки, но она всегда наполняется в субботу, иногда по милости Всевышнего, который подсовывает ему монетку, а иногда по мудрости Брахи-Гитл, которая берет кучу костей и превращает ее в мясное кушанье, также по мудрости Всевышнего. Ни благословений, ни молитв не знает она, кроме одной коротенькой молитвы на идише: «Создатель всех созданий, Тебе одному хочу я служить истинно». И вот дал ей Бог разума готовить лакомые кушанья на радость мужа.

Явился к Йозлю-Йоне Властелин снов и сделал то, что не смогла сделать Браха-Гитл. Простую бедняцкую еду приготовила ему его жена, а пришел Властелин снов – и превратил ее в царские яства. Кость, на которой не было мяса и с оливку, превратилась в жареных голубей. «Голуби, голуби», – облизываясь, пробормотал он одними губами. И если бы не проснулся от влюбленного воркования голубей на окне, то каша, что приготовила ему жена на субботнюю трапезу, наверняка превратилась бы в лапшу в индюшином соусе.

Великий кудесник он, Властелин снов; даже начальник поваров фараона, который умел вместить шестьдесят вкусов в одно блюдо, рядом с ним только подмастерье.

Йозель-Йона проснулся, омыл руки и встал с кровати. Жена принесла ему полный кувшин фруктового компота, остуженного с субботнего вечера в бочке с холодной водой. Он благословил, и выпил, и снова благословил, и засобирился в синагогу. Выходя, он сказал жене:

– Ну что ж, Браха-Гитл, сразу после дневной молитвы я вернусь с гостем.

– Не волнуйся, – ответила она, – обещаю, он не уйдет из нашего дома голодным, да и ты будешь сыт.

7

Когда служка пришел в синагогу, он уселся на свое место у печи. Своя рубашка ближе к телу, и поэтому он начал с того, что произнес главу из «Речений Отцов», чтобы, прежде всего, его долг по чтению Мишны был на сегодня исполнен. Он также решил прочесть, если останется время, несколько глав Мишны за упокой душ умерших, за которых он взял плату. С тех самых пор, как случилась эта история с мальчиком, поведавшим матери, что ни одного еврейского слова не было сказано в этом мире за упокой его души, – с того самого дня Йозель-Йона старался, чтобы ни один день не проходил без чтения глав Мишны.

Он сидел и читал, но, слетая с его уст, слова уносились прочь. Он смотрел не столько в книгу, сколько на дверь, ожидая, не появится ли в ней бродяга. Но бродяга не появился. «Не губи свою радость, свою субботу», – вяло и мрачно повторил Йозель-Йона слова бродяги, которые тот произносил весело и радостно.

К чему останавливаться на этом гнетущем душу мгновении? Не явился бродяга и после полудня – ни к чтению Торы, ни к молитве. Йозель-Йона снова промямлил слова, сказанные ему бродягой. Однако их звонкая радость отзывалась на устах служки жалким бормотанием. «Если он не пришел к дневной молитве, – думал Йозель-Йона, стараясь не отчаиваться, – то придет к вечерней; если он не попал ко мне на третью трапезу, то попадет на трапезу Проводы Царицы Субботы». Что придавало ему силы и удерживало от отчаяния? Что же, как не славные кушанья, оставленные им на последнюю трапезу.

Когда не везет, то и гость не идет. Уже вышла суббота, миновала вечерняя молитва, а бродяга так и не пришел. Где он был на вечерней молитве? Да там же, где и на дневной. Разве мало синагог в Бучаче? Когда-то весь Бучач помещался в одной синагоге, а сегодня их пять, а если считать и хасидскую молельню, то и все шесть.

Йозель-Йона поплелся домой один, без странника. Он совершил Авдалу⁵ и исполнил песнопения в честь окончания субботы. Его голос никогда не был мелодичным, но тот голос, которым произносил он в этот раз субботние песнопения, больше подошел бы для похорон. И так он был удручен тем, что бродяга не вернулся, что ничего не изменилось в его голосе, даже когда он упомянул проро-

⁵ Авдала (*иврит*) – буквально, различение; ритуал, совершаемый на исходе субботы и обозначающий переход от субботы к будням.

ка Элиягу, которого евреи поминают с радостью, тоской и надеждой, что придет он скоро, а вместе с ним – и Мессия из дома Давида. Не станем задерживаться на всех вздохах Йозля-Ионы. Есть ли человеку польза от вздохов его, нет ли, Йозлю-Ионе они вряд ли помогли. А посему, оставив сомнения в стороне, скажу только то, в чем нет никакого сомнения: если задумал человек исполнить заповедь, но, по принуждению обстоятельств, не смог, все равно считается, что он ее исполнил. Так говорят, если собирався он исполнить заповедь ради нее самой. Но сердце служки тянулось не к самой заповеди, а к страннику, как у человека, тоскующего от любви.

Еще затемно поднялся Йозль-Иона с постели и пошел в синагогу доделывать то, что не сделал он с вечера из-за своих переживаний. Убрал скатерти, разостланные с начала субботы, сменил субботнюю завесу Торы на будничную, поправил свечи, долил масла в неугасимый светильник, а также в свечи, зажженные в память об умерших и в честь годовщин, – как бы какой-нибудь свече не вздумалось вдруг закрыть свой глаз прямо посреди дня, да еще когда родственник умершего находится в синагоге и, конечно, подозревает служку, что тот не долил в свечу масла. Завершив свои дела, еще раз оглядел все вокруг, чтобы убедиться, что ничего не забыл. В мире столько злости, что, сколько ни старайся, упреков не избежать.

Тем временем рассвело, и люди стали собираться на молитву. После молитвы «Алейну» сироты и те, кто отмечают годовщину смерти своих родных, окружили ковчег Торы, и Йозль-Иона вместе с ними. Они произнесли поминальную молитву: сироты – в знак их траура, остальные – в честь годовщин, а Йозль-Иона – ради тех, кто его нанял. После всех поминовений вдруг вспомнил о страннике и удивился: никто не знает этих залетных гостей лучше, чем служки синагог, которые мигом смекают их суть, но этот бродяга... Никак не мог Йозль-Иона раскусить его. Бродяга он, такой же, как и все прочие бродяги, что ходят по стране; но и не такой, все в нем отличает его от обивающих пороги оборванцев. «Пойду-ка посмотрю, что там в ларце, который он оставил», – подумал Йозль-Иона, закрыл книгу, поднялся и направился к выходу.

Он вышел из синагоги и повернул к тому входу напротив купальни, где оставил странник свой ларец. Йозль-Иона столкнулся с ним прямо возле ларца. Он оглядел странника и огорчился: башмаки, висевшие прежде на его плече, исчезли. Ему подумалось, что странник мог отдать их в заклад, чтобы купить себе еды; или, может, какой-нибудь злодей отнял их у него. Откуда ему было знать, что странник отдал их нищему, ибо всякому бедняку может встретиться тот, кто беднее его. Ведь сказано: и продаст человек все, что есть у него, и купит себе башмаки. Но есть те, у кого нет ничего, кроме их бедности, и которым уже нечего продавать.

Они стояли друг против друга, один – подле своего ларца, а другой – медлил, молчал и ждал.

Наконец служка не выдержал и хотел уже было что-то сказать, но тут странник открыл ларец, достал из него какой-то предмет, спрятал его в складках одежды, где-то на груди, закрыл ларец и, ласково поглядев на служку, развернулся и ушел.

Йозель-Иона очнулся, как ото сна. Он протер руками глаза и посмотрел страннику вслед. Тот неторопливо удалялся прочь. Йозель-Иона сорвался с места и пошел за ним.

Когда он догнал его, странник остановился и, слегка наклонив голову, поглядел на служку:

– Ты хочешь мне что-то сказать, мой дорогой? Говори, говори.

Йозель-Иона хотел было заговорить, но не смог раскрыть рта и не сказал ничего.

«Если я не заговорю с ним сейчас, – подумал служка, – то он уйдет, а если он уйдет, то все мои старания напрасны. Ну что же делать, нет сил и слова выговорить. Господи, помоги мне, – поднял он глаза к небу, – иначе все пропало!»

Всевышний увидел, в какой он беде, сжалился и вернул ему дар речи, как сказано: «Кто дал уста немому?!»

– Ты оставил свой ларец, – сказал Йозель-Иона.

– Пускай себе стоит, – махнул рукой странник.

– Долго?

Странник посмотрел на него, улыбнулся и произнес:

– Пока не придет Элиягу.

И тут вдруг служка понял все.

– Так ведь ты – Элиягу! – воскликнул он.

Странник улыбнулся и исчез.

Велик Бучач. Здесь служка удостоился увидеть наяву то, что великие праведники мечтают увидеть во сне, и не каждому это удается.

Если бы он был служкою в Старой синагоге, известной усердием в Торе молящихся в ней, и благодаря этому досталась бы слава и ему... Но он служил в Новой синагоге, где большая часть молящихся были хозяева, скорее занятые своим хозяйством, чем Торой, хотя, конечно, и их дела были преисполнены веры.

Так завершается эта история о том, чей ларец стоит в сенях нашей синагоги. Вы спросите: для чего такому страннику ларец и если он ему нужен, то почему он его оставил? На эти вопросы нечего ответить, только одним словом: *ТУПИК*, что можно истолковать так: Тишби Управится с Проблемами И Каверзами. Вы также спросите: какой это предмет достал странник из ларца? Некоторые верят, что это был шофар и что перед приходом Мессии взойдет Элиягу на Масличную гору и затрубит в свой шофар. И зазвучит глас его по всему свету от края до края, от глубин вселенной и до оснований земли. И услышит Народ Израиля, где бы он ни был, и соберутся все изгнанные, и придут в Иерусалим. Да случится это в скором времени, в наши дни, амен.

Перевел с иврита Роман Кацман

Роман Кацман

УЛЫБКА ПРОРОКА

Шмуэль Йосеф Агнон родился и вырос в галицийском городке Бучач. Писатель покинул его в двадцать один год, в 1908-м, и позднее приезжал туда только дважды, на короткое время, но память об отцовском доме и о городе мудрецов и шарлатанов, раввинов и ремесленников, праведников и воров, богачей и нищих осталась с ним на всю жизнь и наполнила до краев десятки его произведений.

В 1942–1943 годах нацисты уничтожили почти все еврейское население Бучача. Когда Агнон узнал, что город его детства перестал существовать, он задумал книгу о шестисотлетней истории Бучача, «города, полного Торы, мудрости, любви, благочестия, жизни, красоты и милосердия», как пишет он со щемящей тоской в коротенькой преамбуле к сборнику рассказов, получившему впоследствии название «Город и все, что наполняет его» («*Ир у-мелоа*»). Состоящая из рассказов, написанных Агноном в 50-е и 60-е годы двадцатого столетия, эта книга увидела свет только после смерти писателя, в 1973-м, составленная и отредактированная его дочерью Эмуной Ярон. Только часть рассказов, вошедших в книгу, были опубликованы Агноном при жизни. «Пока не придет Элиягу» («*Ад ше-яво Элиягу*») – один из них.

Этот рассказ для меня – притча о любви и радости, о вере и святости, подчас дремлющих под спудом цинизма и равнодушия либо скрывающихся под видимостью нищенских лохмотьев.

Чтение Торы в синагоге – один из важнейших религиозных ритуалов. Великой честью считается приглашение приблизиться к свитку Торы и прочесть часть главы и даже только постоять рядом с чтением, еле слышно повторяя за ним слова Священного писания.

Однако две из недельных глав воспринимаются иногда с мистическим ужасом: это глава *Бэхукотай* («Если по уставам Моим») из книги *Ва-икра* (в русской православной традиции – Левит) и глава *Китаво* («Когда ты придешь») из Книги *Дварим* (Второзаконие). Часть этих глав составляют проклятия, призываемые Всевышним и всем народом на головы тех, кто откажется выполнять божественные заповеди и уставы. Вокруг этих глав – в воссозданном Агноном Бучаче – сложился довольно неприглядный обычай: вместо почтенных горожан, испытывающих суеверный ужас перед градом смертельных проклятий, к их чтению приглашался специально нанятый для этого бедняк либо служба синагоги. Герой рассказа, бедный и не слишком честный служака, получает урок, которого удостаиваются, по словам автора, немногие даже из величайших праведников: явившийся ему пророк Элиягу (в русской православной традиции – Илья-пророк), любимый герой бесчисленных сказок и легенд, заступник обиженных и спаситель обреченных, силой своей личности и не без лукавства, характерного для сказочного наставника, заставляет служаку испытать

подлинную радость и любовь, увидеть свет, заключенный не только в каждом слове Торы, но и в его собственном сердце.

«Велик Бучач», – пишет Агнон, подчеркивая столь нарочитую незаслуженность чуда, произошедшего со служкой. Рассказ заканчивается недоумением: ни нравственные достоинства, ни ученые заслуги, ни социальная иерархия не могут объяснить чудо. Более того, автор помещает служку в самом низу той лестницы святости и учености, которая, казалось бы, должна служить и лестницей справедливого вознаграждения: Йозель-Йона служит в Новой синагоге (в Бучаче она называлась Новый *бейт-мидраш*, то есть Новый дом учения, в отличие от Старого дома учения и от Большой синагоги); ее прихожане, как пишет Агнон, отнюдь не славились своей ученостью, а посему их коллективная заслуга не могла стать причиной явления Элиягу. Чудо необъяснимо и вполне в духе Книги Пророков и преданий раннего хасидизма: его удостаиваются простые, не ученые, а зачастую и просто безграмотные люди.

В мидрашах и в еврейском фольклоре пророк Элиягу неизменно сопутствует Мессии, а также всегда незримо присутствует на церемониях обрезания. Агнон использует эти мотивы во многих своих произведениях. Сборник «Город и все, что наполняет его» не исключение. Так, например, с нашим рассказом соседствует рассказ «Мессия», повествующий о том, как пророк Элиягу, впечатленный набожностью жителей Бучача и их строжайшим воздержанием от посторонних разговоров во время чтения Торы и молитв, отправляется к Мессии и сообщает ему радостную весть. Приход Мессии, однако, срывается, когда тот вынужден задержаться в синагоге другого города, и из-за шума голосов он не в силах расслышать слов молитвы. Здесь же мы находим рассказ «Кресло Элиягу», герой которого, известный всему Бучачу праведник, часто приглашаемый участвовать в церемонии обрезания, всякий раз, сев в это ритуальное кресло, слегка отодвигался, как бы уступая место пророку Элиягу.

В рассказе «Пока не придет Элиягу» звучат оба этих мотива, а также распространенный мотив явления Элиягу в образе странника или нищего, который подвергает ни о чем не подозревающего героя испытанию. Поводом к рассказу служит некий таинственный ларец, якобы находившийся в одной из синагог Бучача, в котором Элиягу некогда хранил свой шофар – ритуальный рог, трубный глас которого возвестит однажды о приходе Мессии и об окончании изгнания и рассеяния еврейского народа. Однако на этот раз приход Мессии вновь не состоялся: то ли по вине нерадивого служки, то ли по другой причине шофар Элиягу не зазвучал, а лишь перекочевал из ларца в карман пророка, опустевший же ларец так и остался стоять посреди Бучача, в символическом центре еврейской общины, как немой (правда, озвученный Агноном) укор в маловерии и упущенном спасении, но и как напоминание о чуде радости и любви. Свет этого чуда, как известно, уготован праведникам; но также и менее праведные люди, такие, как наш служка, могут иногда насладиться им, однако не без помощи веселого и жизнерадостного, всегда улыбающегося и несколько озорного пророка.

Рассказ, насколько я знаю, переводится на русский язык впервые. Отталкиваясь от опыта предыдущих переводов Агнона, я ставил перед собой двоякую задачу: уловить оттенки возможного современного звучания позднего Агнона по-русски, не утратив еврейской культурной специфики, воссоздать современную еврейскую классику в ее чистоте и глубине, а также в ее своеобразной искренности, неотделимой от художественной и риторической изощренности. Язык, которым написан рассказ, не архаичен, он не местечковый и не искусственный. Если и звучат в нем обертоны идиша, талмудической словесности или фольклора, то они накладываются контрапунктом на основную мелодию живого иврита, иногда слегка стилизованного под разговорный. Евреи Бучача говорили на идише, и текст ни на минуту не забывает об этом, однако Агنون стремился не только воздвигнуть памятник уничтоженной общине, но и создать литературу новой еврейской общности, обладающую обширной исторической памятью. На мой взгляд, перевод призван служить той же цели, лишь расширяя круг языков и культур, вовлеченных в это цивилизаторское созидание.

Как это часто бывает, существенным препятствием на пути к поставленной цели явилась непереводаемая игра слов, неоднократно встречающаяся в рассказе. Так, например, автор обыгрывает то, что в иврите слова *мишна* (древнейшая часть Талмуда) и душа (*нешама*) состоят из одних и тех же букв – *мэм, шин, нун, хэй*. При чтении глав Мишны в память об умерших служка подбирает главы, которые начинаются буквами, составляющими имя поминаемого. Стремясь донести до читателя названия и темы пяти глав, о которых пишет в этой связи Агنون, я вынужден был превратить имя Авраам в один из его идишских вариантов – Аврум (на иврите имя Авраам состоит из пяти букв – *алеф, бет, рейш, хэй, мэм*, и Агنون перечисляет главы Мишны, чьи названия в оригинале звучат так: «*Арба авот*», «*Баме иша йоцет*», «*Рабби Элизер де-мила*», «*А-иша ше-алах баала*», «*Ми ше-мето муталь лефанав*»). Слово суббота, на иврите *шабат* (буквы *шин, бет, тав*), в оригинале расшифровано как аббревиатура: *шейна бе-шабат таануг*, то есть «в субботу сон – наслаждение». Упоминаемое в конце рассказа и означающее необъяснимость происходящего слово *тейку* (буквы *тав, йуд, куф, вав*) переводится как «ничья», а «расшифровывается» так: *Тишби йетарец кушийот у-веайот*, буквально – Тишби объяснит сложности и проблемы. Тишби – это прозвище пророка Элиягу (в синодальном переводе – Илия Фесвитянин). При переводе эти игры с аббревиатурами, довольно простые и хорошо известные в иврите, требовали особых решений, и я надеюсь, что они органично вписались в рассказ.

Однако, по моему убеждению, не эти премудрости, не загадки и таинственные символы, которыми пестрит агноновский текст, составляют прелесть этого и других рассказов писателя. Тайна гениальности Агнона – в непередаваемом сочетании величайшей учености, превратившей культурную память в личную, напряженности переживания истории, всякий раз взрывающейся неисчислимыми возможностями, и главное, тончайшего ощущения чудесного – не сверхъестественного и абстрактного, а живого и личного.

Шмуэль Йосеф Агнон
НЕПОЧАТЫЙ ХЛЕБ

1

В тот день у меня и маковой росинки во рту не было. Не позаботился должным образом накануне шабата, и в шабат мне нечего было есть. Я тогда жил в одиночестве. Жена моя и дети уехали за границу, а я остался в доме один, и все заботы о пропитании легли на мои плечи. И если я сам себе чего-нибудь не приготовил или не пошел в гостиницу, заезжий двор или в какую-никакую столовую, мне приходилось мужественно терпеть голод. В тот день я тоже предполагал пойти отобедать в гостиницу, но солнце палило так нещадно, что я сказал себе: лучше уж голодать, чем выходить на улицу в такой зной.

Правду сказать, и жилище мое не спасало от жары. Пол жег, как костер, потолок плавился жидким огнем, стены полыхали, словно пламя, и вся утварь буквально истекала жаром; казалось, пламя лижет пламя, тело накаляется в огне комнаты и в свою очередь добавляет жара жилью. Правда, если ты дома, можешь облить себя водой, можешь раздеться, и одежда перестанет усугублять жару. Когда день уже был на исходе и солнце палило не столь исто-тово, я встал, умылся, оделся и вышел поесть. Радостно предвкушал я, как сяду у обильного стола, покрытого белой скатертью, как слуги и служанки будут суетиться вокруг меня, а я стану есть нормальную пищу и не должен буду ни о чем заботиться, потому что приелись мне те пресные кушанья, которые я стряпал себе сам, собственными силами.

Дневная жара спала, потянуло легким ветерком. Улицы постепенно заполнялись народом. От рынка Маханэ-Йеуда и почти до самых Яффских ворот неторопливо двигались старики и старухи, юноши и девицы. Штреймлы, шляпы и шляпки, тюрбаны и фески плыли, покачиваясь, меж непокрытых голов, увенчанных шевелюрой или лишенных оной. Мало-помалу добавлялись все новые лица — с улицы рава Кука, из кварталов Суккат-Шалом и Эвен-Исраэль, из Нахалат-Шива и с улицы Невиим, которую по дурной привычке называют улицей консулов, и из всяких прочих улиц, пока еще не поименованных властями. Целый день эти люди прятались от жары, затворившись в своих жилищах, когда же день кончился и силы солнца наконец истощились, вышли в предсумеречный час вдохнуть немного того особого воздуха, который Иерусалим одалживает на шаббат у райских кущей. Людской поток затянул и меня, я двигался вместе со всеми, пока не очутился на дороге один.

2

Иду я себе так, не ведая пути, как какой-то старик постучал в стекло, привлекая мое внимание. Я обернулся и увидел в окне

доктора Иекутиэля Неемана. Поспешил к нему и чрезвычайно обрадовался встрече, потому что он великий мудрец и слушать его приятно. Но когда я подошел к окну, его там не оказалось. Пока я пытался проникнуть взглядом за стекло, он подошел ко мне и приветствовал меня. Я тоже поздоровался и ждал услышать что-нибудь значительное, в том роде, как все мы привыкли от него слышать.

Доктор Нееман спросил меня, как поживают мои жена и дети. Я вздохнул и ответил: вы коснулись большой темы, они все еще за границей, но собираются вернуться в Эрец-Исраэль. Он сказал: «Если собираются вернуться, отчего ж не возвращаются?» Я снова вздохнул и ответил: «Да все что-нибудь их задерживает». Он изрек: «Малейшее нерадение ведет к промедленью», – и начал читать мне мораль. Сказал: «Это все твоя лень, из-за нее ты до сих пор не удосужился вызвать их сюда. Из-за нее твои жена и ребятишки мыкаются без отца и без мужа, ты же маешься без жены и без детей».

Я опустил голову и молчал. Немного погодя поднял голову и выжидательно посмотрел ему в рот, может, скажет что-нибудь мне в утешение. Но на его приоткрытых губах повис невысказанный упрек, а необъятная борода, подернутая сединою, сморщилась и пошла волнами, словно море, когда делается грозным и беспокойным.

Горько было мне сознавать, что я явился причиной его гнева и вынудил его заниматься мелочами. Подумал, подумал и заговорил с ним о его книге.

3

Относительно той книги мнения разошлись. Одни мудрые люди полагают, что все там написанное исходит от господина (****). Записал же ее Иекутиэль Нееман и от себя ни слова ни добавил – ни убавил. И то же утверждает сам Иекутиэль Нееман. А есть такие, что заявляют, будто Нееман по своему разумению ее изложил, а потом все в ней сказанное приписал некоему господину, которого никто сроду не видывал.

Здесь не место обсуждать характер этой книги. Замечу лишь, что с того дня, как она стала известна миру, мир несколько изменился к лучшему, оттого что некоторые люди начали вести себя иначе и отчасти переменили свои привычки, более того, нашлись даже такие, что вменили своему телу исполнять все, что в той книге написано.

Мне захотелось сделать доктору Нееману что-нибудь приятное, и я принялся расхваливать его книгу. Я сказал: все признают, что это важный и беспримерный этап. Повернулся Иекутиэль ко мне спиной и ушел, не простившись. Я же стоял и терзался огорчением, сожалея о каждом сказанном мною слове.

Доктор Нееман недолго сердился, и когда я уже собирался двинуться дальше, вернулся и вручил мне пачку писем с просьбой отнести на почту и отправить с уведомлением. Я сунул письма за пазуху и прижал руки к сердцу в знак того, что обещаю исполнить поручение верой и правдой.

4

По пути я прошел мимо бейт-мидраша и зашел на вечернюю молитву. Солнце уже закатилось, но служка еще не зажигал свеч. По причине скорби об учителе нашем Моше Тору не читали, но сидели, и толковали Учение, и пели, и не спешили.

На небе проступили первые звезды, но внутри царил полный мрак. Наконец служка засветил свечу, и все встали на молитву. Когда ритуал завершения шаббата был исполнен, я вышел на улицу и направился к зданию почты.

Все продовольственные лавки и прочие магазины уже были открыты, и людские толпы осаждали ларьки с газированной водой. Мне тоже хотелось освежиться стаканчиком лимонада, но поскольку я спешил отправить письма, поборол жажду и пить не стал.

Тут мне начал досаждать голод, и я решил прежде поесть. Свернул в сторону, но по дороге опять передумал и решил так: пойду отправлю письма, а уж потом поем. По пути я размышлял о том, что если бы Нееман узнал, что я голоден, посоветовал бы мне сначала поесть. Развернулся и направился туда, где кормят.

Не успел сделать двух-трех шагов, как явилось воображение. Что только не рисовалось мне! Вдруг увидел я постель больного. Сказал себе: где-то заболел человек, о нем сообщили доктору Нееману, тот написал ему совет, как одолеть недуг, и вот я должен поскорее доставить его письмо на почту. Повернул назад и направил свои стопы к зданию почтамта.

Посреди этой суеты я вдруг остановился и задумался: неужто нет на свете врачей, кроме него? И даже если так, можно ли быть уверенным, что его совет поможет. А если и поможет, должен ли я откладывать трапезу, если целые сутки ничего не ел. Ноги мои отяжелели и сделались будто каменные. Есть я не шел по причине воображения, на почтамт же не шел по причине рассуждения.

5

Коль скоро я остановился, было у меня время все взвесить. Начал я прикидывать, что сделать прежде, а что – потом, и пришел к выводу, что сначала надо поесть, потому что очень уж я голоден.

Не откладывая, направился туда, где кормят, и шел быстро, как только мог, чтобы не пришла мне в голову еще какая-нибудь мысль, ибо мысли имеют обыкновение отвлекать человека и мешают ему взяться за дело. Я нашел-таки способ не дать мыслям сбить меня с толку и начал представлять себе всевозможные кушанья, которыми славился тот ресторан. Я уже видел, как сижу за столиком, ем, пью и наслаждаюсь. Тут явилось мне на подмогу воображение и нарисовало даже больше, чем обыкновенный человек может съесть и выпить, и я прямо ощутил вкус каждого блюда и напитка. Воображение, безусловно, имело самые добрые намерения, но что за радость голодному смотреть на яства и пития, если вкусить их ему не дано. Может, во сне такие картины и радуют, но наяву удовольствие от них сомнительно.

А раз так, то я продолжал двигаться к ресторану и мысленно перебирал, что буду есть и пить. Я радостно предвкушал, как сяду в красивом месте за уставленный блюдами стол, а вокруг меня будет много нарядных людей, и все пьют и едят. Не исключено, что я встречу там хорошего знакомого, и мы приправим нашу трапезу доброй беседой, улаждающей сердце и необременительной для души, потому что, признаться, разговор с доктором Нееманом оставил во мне тягостное чувство.

Стоило мне вспомнить о докторе Неемане, как вспомнились и его письма. С опаской подумал я о том, что, возможно, мы с моим собеседником утонем в словах, и письма так и не будут отправлены. Поэтому я изменил свое решение и сказал: пойдём-ка сперва на почтамт и отделаемся от поручения, чтобы после сидеть спокойно и не терзаться мыслью об этих письмах.

6

Если б земля бежала мне навстречу, я бы тут же справился с задачей, но земля стоит на месте, а путь на почту ногам затруднителен, потому что дорога негладка, то рытвины, то ухабы, а то камни либо сор. Но даже если и дойдешь туда, почтовые служащие обычно не торопятся и непременно тебя там задержат, а за это время все твои кушанья остынут, и прости-прощай горячее, так и останешься голодным. Несмотря на все эти обстоятельства, я с пути не свернул.

Легко понять радость человека, оказавшегося на распутье и сделавшего свой выбор. Ведь если он пошел по одной дороге, то полагает, что по ней-то и должен идти, а если по другой – решил, что она-то ему и надобна; так или иначе, он в конце концов пошел тем путем, каковой счел правильным. И я тоже шел, но остановился, сам себе удивляясь: неужто я мог раздумывать, неужто мог поставить собственные мелкие заботы превыше забот доктора Неемана? И буквально через несколько минут я очутился перед почтамтом.

7

Я уже собирался войти, как проехала мимо повозка с ездоком. Я так и замер в изумлении – сегодня, когда в городе и подковы лошадиной не сыщешь, вдруг едет коляска, запряженная парой. И что всего страннее, седок явно глумится над прохожими, потому что правит лошадей прямо на пешеходов. Поднял я глаза и увидел, что это господин Грэслер. Тот самый господин Грэслер, что возглавлял сельскохозяйственную школу в Европе, только там он разъезжал верхом, а тут – сидя в коляске. Там он потешался над крестьянскими дочками да простолюдинами, а тут, в Эрец-Исраэль, потешается над каждым жителем. А ведь он человек просвещенный и благовоспитанный, а что несколько тучен, так эта полнота не режет глаз, поскольку просвещенность его все искупает.

Есть в нем, в господине Грэслере, нечто такое, что всякий, кто его ни встретит, рад сойтись с ним поближе. Оттого не стоит удив-

латься, что и меня к нему потянуло. Господин Грэслер развалился в коляске, отпустил поводья, так что они волочились по земле, и с удовольствием наблюдал, как люди шарахаются в стороны, а потом возвращаются обратно, и устремляются к лошадям, и замирают на месте, а пыль от людских шагов смешивается с пылью, поднимаемой копытами, и все кругом довольны, словно ради них одних затеял господин Грэслер эту забаву.

Господин Грэслер – мой знакомец, но знакомец особенный. С каких пор свел я с ним знакомство? Да пожалуй, как сам себя знаю. И не будет преувеличением сказать, что со дня первой встречи наша дружба не прерывалась. И несмотря на то, что к нему благоволит весь мир, право слово, я милее ему, чем прочие, поскольку мы с ним вместе дела делали и он открывал мне путь к разным наслаждениям. А если я утомлялся ими, он забавлял меня мудрыми речами. Господин Грэслер обладает необыкновенной мудростью, которая перечеркивает все премудрости, почерпнутые тобою из другого места. И никогда не просит никакого вознаграждения, напротив – сам всех наделяет и одаряет и рад, если пользуются его благами. Да, были денечки, я тогда был молод, и он напропалую развлекал меня, пока не настала та ночь, когда сгорел мой дом и все мое имущество не пожрал огонь.

В ночь, когда сгорел мой дом, сидел себе господин Грэслер у моего соседа и играл с ним в карты. Этот сосед, выкрест, торговал тканями. Он проживал внизу и там же хранил свой товар, а я – наверху, с моими книгами. В перерывах между партиями сосед рассказал, что товар его не раскупается, оттого что он запасся бумажными тканями, изготовленными еще в годы войны, а когда война кончилась, снова стали делать ткани из шерсти и льна. Ясно, что никто не желает шить платье из материи, которая только видимость таковой, а на деле истоньшается и рвется при первом прикосновении к телу, тогда как теперь можно купить добротную ткань. Господин Грэслер выслушал и спросил: вы застрахованы? Тот ответил: застрахован. Они сидят себе, беседуют, и тут господин Грэслер закурил сигару и сказал: бросьте эту спичку в сей утиль и получайте страховой полис. Сосед послушался, поджег свой товар, и весь дом сгорел дотла. И вот этот выкрест, что оформил страховку, вернул стоимость своих товаров, а мне, чье имущество застраховано не было, досталось одно расстройство. И все средства, что я имел на руках после пожара, ушли на адвокатов, потому что господин Грэслер соблазнил меня подать в суд на муниципалитет за то, что не загасили огня. В ту ночь пожарные устроили гулянку, напились допьяна и все свои ведра наполнили пивом и шнапсом, а потому, прибыв тушить пожар, лишь добавили огня.

После тех событий я отдалился от господина Грэслера и счел, что распростился с ним навсегда, поскольку ни минуты не сомневался, что из-за него одного сгорел мой дом, а еще потому, что я целиком погрузился в книгу Иекутиэля Неемана. В те дни я готовился взойти в Эрец-Исраэль и отверг все суетные удовольствия, а коль скоро я отстранился от суетных забав, господин Грэслер тоже оставил меня в покое. Но когда я направился в Эрец-Исраэль, кого повстречал первым делом? Грэслера! Этот господин

плыл на том же пароходе, только мое место находилось на нижней палубе, среди бедняков, а он разместился на верхней палубе, с богачами.

Не скажу, что я ему обрадовался. Более того, увидев господина Грэслера, я весьма огорчился – как бы не припомнил мне мои прежние деяния. Я притворился, что не вижу его, он это почувствовал и тоже меня не беспокоил. Я решил, что если на пароходе наши дороги не пересеклись, на суше не пересекутся и подавно. Но по прибытии в порт вышла задержка, мой багаж застрял в таможене. Пришел господин Грэслер и выкупил его и во многом другом помог мне, пока мы оба не взошли в Иерусалим.

С тех пор мы изредка встречались. Иногда я заходил к нему, иногда он ко мне. И не знаю, кто из нас усердней другого обхаживал. Особенно в те дни, когда моя жена проживала в Европе. В те дни я был человеком свободным, и он в любой момент готов был предоставить себя в мое распоряжение. А придя, просиживал у меня до глубокой ночи. Славно коротать время в компании господина Грэслера, ведь он осведомлен обо всем на свете и знает даже то, чего пока не случилось. Порой мое сердце понуждало меня к чему-то, но я предпочитал этого не замечать.

8

Увидав господина Грэслера у почтамта, я помахал ему и окликнул по имени. Подкатил господин Грэслер на своей коляске и пригласил меня сесть рядом.

Я позабыл и о письмах, и о голоде и поехал вместе с ним. А возможно, не забыл ни о письмах, ни о голоде, лишь отложил их до лучшего времени.

Не успел я с ним разговориться, как перед нами возник господин Хофни. Я попросил Грэслера направить коляску в другую сторону, поскольку господин Хофни большой зануда, и я стараюсь его избегать. С тех пор, как он изобрел новую мышеловку, взял в обыкновение захаживать ко мне раза два-три в неделю и сообщать, что пишут о нем и его изобретении, а я человек нервный и не в состоянии дважды выслушивать одну и ту же историю. Конечно, мыши – народец зловредный, и мышеловка явилась великим усовершенствованием, но когда этот Хофни изводит тебя разговорами, так что в мозгу сверлит, кажется, предпочел бы мышей, лишь бы избавиться от беседы с тем, кто их истребляет.

Однако господин Грэслер коляску не повернул, а наоборот, подкатил ближе к Хофни и пригласил его присоединиться к нам. Отчего господин Грэслер поступил так? Может, хотел вразумить меня, мол, человек обязан быть терпеливым, а может, решил позабавиться. Но я в тот момент отнюдь не отличался терпением и забав не искал. Я встал, взял у него из рук вожжи и погнал коляску прочь. Однако поскольку я не умею править лошадьми, коляска опрокинулась, и мы оба, я и господин Грэслер, вывалились из нее и упали на дорогу.

Я закричал: держи вожжи, спаси меня, а он притворился, будто не слышит, лежит себе рядышком и давится от смеха, словно нет ему большей радости, чем валяться со мной в грязи.

Я вдруг испугался, как бы проходящий автобус не размозжил нам голову, и закричал громче, но мой крик потонул в смехе господина Грэслера. Ой беда, господин Грэслер хохотал пуще прежнего, ему будто в удовольствие было валяться в дорожной пыли у лошадиных ног, на волосок от смерти.

Когда лихо подступило выше горла, подошел старый извозчик и вызволил нас. Я приподнялся над земным прахом, взял ноги в руки и попытался встать. Ноги мои были измучены, руки в ушибах, кости поломаны, и все тело в ранах. Я с трудом принудил себя идти.

Тело мое изнывало от боли, но о голоде я не забыл. Вошел в первый попавшийся отель, но прежде чем зайти в ресторан, отряхнул пыль, почистился, промокнул раны, вымыл лицо и руки. Слава о том отеле гремела на весь город, дескать, комнаты его просторны, и устроен он лучшим образом, и прислуга там проворна, и еда вкусна, и вина самого высшего качества, и постояльцы один другого солиднее. Войдя в ресторан, я увидел, что все столики в нем уставлены яствами и милые люди сидят за ними, едят и пьют в свое удовольствие и радуются жизни. Свет слепил мне глаза, а запах добрых кушаний смутил мое сердце. Мне хотелось схватить что-нибудь с первого же стола и хоть чуть-чуть немедленно подкрепиться. Это неудивительно, ведь во весь тот день у меня маковой росинки во рту не было. Когда ж я увидел, как чинно и важно ведут себя посетители, у меня духу не хватило так поступить.

Я придвинул стул и уселся за стол в ожидании официанта. От нечего делать взял список блюд и прочел его раз, и другой, и третий. Как разнообразна вкусная еда, утоляющая голод, и как томительно тянется время, пока ее тебе принесут! Я не раз обращал взгляд к залу и видел, как расхаживают там официанты и официантки, одетые, словно знатные барыни и господа. Я решил подготовиться к их приходу и раздумывал, на каком языке лучше с ними заговорить. Мы, конечно, один народ, но каждый из нас говорит на десяти наречиях, тем более в Эрец-Исраэль.

9

Не прошло и часа, как подошел официант, поклонился мне и спросил: «Что господин изволит?» Что мне изволить и чего не соизволить? Я указал ему на список блюд и велел принести по его усмотрению. Но чтоб не показаться простаком, который ест все без разбора, я добавил с важным видом: «И принесите мне непочатый хлеб». Официант закивал в ответ и сказал: «Сейчас я вам все доставлю, сейчас я вам все доставлю».

Я сидел и ждал, пока он вернется и принесет еду. Вот он появился, держа в руках тяжелый поднос, уставленный деликатесами. Я подскочил и хотел было взять их. Он же остановился поодаль и подал блюда другому, на спеша расставляя перед ним все, что принес, и кланялся, и шутил с ним, и записал названия напитков, которые тот заказал к трапезе. Занятый всем этим, он обратил лицо ко мне и сказал: «Господин просил непочатый хлеб, сейчас я его вам доставлю».

Мне не пришлось долго ждать, как он появился снова, и на этот раз его поднос был уставлен еще обильнее. Я решил, что это предназначено мне, и сказал себе: верно говорят – кто ждет дольше, получает больше. Когда ж я хотел взять еду, официант сказал: «Простите, господин, сейчас я вам все доставлю». И поставил кушанья перед другим посетителем, да расставлял их чинно, не спеша – как делал прежде, так делал и теперь.

Я совладал с собой и ни у кого ничего не схватил. А коль скоро ничего себе не позволил, подумал: как я не взял чужого, так и у меня никто чужой не возьмет. Нечего посягать на то, что не тебе предназначено. Подождем немножко и получим, что нам причитается, как прочие посетители, пришедшие сюда прежде меня, ведь кто раньше пришел, тот раньше и получил.

Официант явился снова. А может, то был другой официант, но из-за голода я решил, что прежний. Я вскочил, желая напомнить о себе. Он подошел и поклонился, словно увидел незнакомое лицо. Я стал раздумывать, новый ли это официант или тот, что принял мой заказ, потому что если это новый официант, мне придется заказывать еще раз, а если тот же самый, достаточно только напомнить ему об этом. Пока я так размышлял, официант уже скрылся из виду. Но вскоре появился снова и принес всяческие кушанья и напитки – принес тому, кто сидел справа от меня, а возможно, слева.

Тем временем пришли новые посетители, расселись и заказали еду и питье. Официанты мигом все им доставили. Теперь я размышлял, отчего их обслужили прежде меня, ведь я-то пришел раньше. Возможно, оттого, что я попросил непечатый хлеб, а непечатого хлеба в такой час тут не нашлось, и вот приходится ждать, пока пекарь принесет сюда свежую буханку. Стал я себя корить, что попросил непечатый хлеб, хотя вполне удовлетворился бы маленьким ломтем.

10

Что толку сожалеть о содеянном. Сидел я так и терзался, пока не заметил малыша, который держал в руке шафранную халу, в точности такую же румяную халу, как, бывало, пекла на Пурим моя покойная матушка, я до сих пор помню ее вкус. Я готов был целый мир отдать за кусочек той халы. От голода сердце мое перестало биться, я глаз не мог отвести от малыша, который ел халу, и крошил ее, и сыпал крошками.

Снова пришел официант с полным подносом. Я был уверен, что это для меня, и спокойно сидел с важным видом, как тот, кто не особенно проголодался. О, он и на этот раз не поставил поднос передо мною, а принес его другому! Я решил оправдать официанта – видно, пекарь до сих пор не доставил новый хлеб – и хотел сказать ему, то есть официанту, что больше не прошу непечатого хлеба. Но из-за голода слова застряли у меня в горле, и я промолчал.

Вдруг раздался бой часов. Я вынул из кармана свои часы и увидел, что уже половина одиннадцатого. Половина одиннадцатого ничем не отличается от прочих моментов, однако меня охватила

дрожь. Возможно, оттого, что я вспомнил о письмах доктора Немана, которые все еще не отправил. Я поспешно вскочил, намереваясь скорее отнести письма на почту. Но вскочив, наткнулся на официанта, несшего поднос, уставленный горшочками, лафитниками и графинами со всяческими яствами и напитками. Руки официанта не удержали ношу, он выронил поднос, и вся посуда очутилась по полу, а вместе с ней еда и питье, и самый официант тоже поскользнулся и упал. Посетители ресторана прервали свою трапезу и смотрели на нас, кто с испугом, а кто со смехом.

Подошел хозяин отеля и принялся меня успокаивать, усадил опять на то же место и попросил подождать немного, пока принесут другие кушанья. Из его слов я понял, что те блюда, что выпали из рук официанта, предназначались мне, и теперь они готовят для меня другие.

Я смирил нетерпение души, сидел и ждал. Тем временем душа моя витала, где ей вздумается. То полетит на кухню, туда, где готовят для меня трапезу, то – на почтамт, место, где отправляют письма. В тот поздний час двери почтамта были уже заперты, и даже если б я туда пошел, толку бы не было, однако душа летает по собственной прихоти и заглядывает даже туда, куда телу доступа нет.

Мне не принесли другую еду. Возможно, потому что не успели приготовить, а возможно, потому что официанты были заняты расчетом с другими посетителями. Так ли, эдак ли, а некоторые отбывавшие уже встали из-за стола, ковыряя в зубах и позевывая от сытости. Уходя, одни с удивлением меня оглядывали, другие не обращали на меня внимания, будто меня вовсе нет. Когда посетителей больше не осталось, пришел служитель и погасил свет, весь, кроме маленькой лампочки, которая едва светилась. Я сидел за столом – он был завален костями и кожицей от фруктов, заставлен пустыми бутылками и застлан грязной скатертью – и дождался своей еды, ведь сам хозяин отеля попросил меня сидеть и ждать, пока не принесут кушанье.

Пока я так сидел, пришла мне на сердце мысль: а вдруг я потерял письма, когда валялся на земле вместе с Грэслером. Я ощупал карман и понял, что письма не потеряны, хотя испачканы объедками, соусом и вином.

Снова послышался бой часов. Уши мои утомились, лампочка коптила, и черное безмолвие затопило зал. Сквозь тишину донесся скрип ключа в замке, словно звук вколачиваемого в плоть гвоздя, и я знал, что меня заперли в этом зале и напроць обо мне позабыли, так что мне не выйти отсюда, пока не наступит завтра. Я смежил веки и постарался заснуть.

Я старался заснуть и смежил веки. Тут я услышал хруст и увидел мышь, которая залезла на стол и принялась грызть кости. Сказал себе: сейчас ей нужны кости, потом она примется за скатерть, потом начнет грызть стул, на котором я сижу, а потом загрызет и меня. Начнет с башмаков, затем примется грызть носки, затем мои стопы, затем мои икры и так постепенно сгрызет все мое тело. Возвел я очи к стене и увидел часы. Я ожидал, чтоб они снова стали бить, тогда мышь испугается и убежит прежде, чем примется за меня. Появился кот, и я сказал: пришло мое спасение. Но мышь

не обратила на кота никакого внимания, а кот даже не взглянул на мышь, и теперь они оба стояли и грызли кости.

Лампочка между тем погасла, а глаза кота вспыхнули и зажглись зеленоватым светом, который наполнил зал. Я содрогнулся и упал. Кот вздрогнул, мышь попятилась, и оба замерли, глядя на меня с испугом. Один с одной стороны, другой – с другой. Вдруг раздалось цоканье копыт и стук колес, и я знал, что это господин Грэслер возвращается с прогулки. Я позвал его, но он мне не ответил.

Не ответил мне господин Грэслер, и я продолжал лежать, и задремал, и заснул крепким сном. Еще не развиднелось, а я уже проснулся от голоса слуг и служанок, пришедших убирать дом. Они с испугом воззрились на меня, сжимая в руках свои метлы. А потом стали хохотать и спрашивать: «Кто это тут разлегся на полу?» Пришел официант и сказал: «Это тот, что просил непечатый хлеб».

Взял я ноги в руки и поднялся с пола. Одежда моя измялась, голова отяжелела, ноги одеревенели, губы обветрились, горло пересохло, зубы свело оскоминой от голодной слюны. Я направился к выходу и очутился на улице, с той улицы перешел на другую и шел, пока не добрался до дому. Все то время стояли у меня перед глазами письма, отправить которые поручил мне доктор Неман. Но наступивший день был у англичан нерабочим, когда почтамт стоит на запоре, и дела, которые клерк не считает срочными, не делаются. Помывшись и счистив грязь, я вышел купить себе поесть. Я жил в ту пору один, моя жена и дети пребывали за границей, и все заботы о пропитании легли на мои плечи.

Перевела с иврита Зоя Копельман

Зоя Копельман

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ

Рассказ «Непочатый хлеб», впервые опубликованный в журнале «Мознаим» (1930), Агнон включил в сборник *Сефер а-маасим* («Книга деяний»). Автор сплел в единый сюжет реальность и мистику. Реальными являются события из жизни писателя, например, пожар дома в Бад-Гомбурге, где сгорели его имущество и книги, а также временное одиночество, когда в 1924 году, после пожара, Агнон приехал в Палестину один, а жена и дети – только спустя год. Известно, что на это писателю пенял рав Кук. (В рассказе героя упрекает доктор Нееман: «Твоя жена и ребята мыкаются без отца и без мужа, ты же маешься без жены и без детей».) А мистика обнаруживает себя в двух персонажах – докторе Неемане и господине Грэслере, что тоже требует комментария.

Понятие «непочатый хлеб» (на иврите – *пат шлема*) используется в галахе для создания *эрува*, границы обобществленного пространства, внутри которого позволительно переносить вещи в шабат, как если бы это было внутри дома одного хозяина (Талмуд, Моэд, масехет Эрувин, 80б). Рабби Шнеур Залман из Ляд в своем толковании *Шульхан арух а-Рав* на *Шульхан арух* рабби Йосефа Каро пишет: «...мудрецы разрешили переносить [во дворе, куда выходят двери нескольких домов] при *эруве*. <...> Каждый приносит буханку или покупают одну буханку на всех жителей города и вносят ее в один из домов того двора и считают, будто все живут в этом самом доме. А в чем смысл этого? Оттого что мысли человека и его жилище – там, где его пропитание». В оригинале последней фразы [שדעתו של אדם ודירתו – במקום מזונותיו הוא] используется слово *даат*, которое может означать и мысли, и интимную близость, как в библейском: «Адам познал Еву».

Кто послужил прототипом Неемана, можно догадаться из описания его книги: «Одни мудрые люди полагают, что все там написанное исходит от господина (****). Записал же ее Иекутиэль Нееман и от себя ни слова ни добавил – ни убавил». Доктор Нееман – это Моисей, которого Талмуд (Моэд, масехет Мгила, 13а) называет и Иекутиэлем, и Нееманом, и прочими именами, поскольку из Торы известно лишь имя, данное ему дочерью фараона, – Моше. А книга доктора – Тора, ее автор – Тот, чье Имя состоит из четырех букв (в рассказе – четыре точки в скобках).

Фамилия Грэслер образована от немецкого *gräßlich* (ужасный, отвратительный), и этот персонаж воплощает дурное начало – *йецер а-ра*. Рассказчик признает, что подружился с ним в юности, а потом их пути то расходились, то пересекались, как в Германии, так и в Иерусалиме. И еще Агнон пишет: «Господин Грэслер обладает необыкновенной мудростью, которая перечеркивает все премудрости, почерпнутые тобою из другого места». Здесь слово «место» указывает на Всевышнего. (Вспомним Книгу Эстер (4:13–14): «И сказал Мордехай Эстер <...>. Если ты промолчишь в это время, свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете».) Традиция,

отмечая, что в Книге Эстер Бог ни разу не упомянут, считает, что на Него указывает слово «место», и раввинистическая литература, а следом и Агнон часто пользуются словом Место (на иврите – *маком*) вместо слова Бог. Так ремарка рассказчика дает понять, что наука Грэслера противна Торе и святости.

Оговорив эти три вещи, поясню иносказательную суть рассказа, которая в той или иной степени выявлена в израильском литературоведении. Сюжет начинается в шабат, когда герой страдает от голода и жары (жара – символ сексуального возбуждения, и обычно его маркером у Агнона служит печь): «Пол жег, как костер, потолок плавился жидким огнем, стены полыхали, словно пламя, и вся утварь буквально истекала жаром; казалось, пламя лижет пламя... <...> Правда, если ты дома, можешь облиться водой...».

Если вспомнить, что в еврейской культуре дом – это жена, последняя фраза говорит о двух способах справиться с сексуальным позывом: сесть учить Тору (традиция всяко сравнивает Тору с водой) или лечь с женой в постель. А герой, не воспользовавшись ни одним из этих способов, промучился весь шабат, а потом направляется в ресторан, где при виде посетителей и накрытых столов ему хочется схватить еду с чужого стола, что можно интерпретировать как желание, возбужденное видом чужих женщин. Неудивительно, что герою понадобился *непечатый хлеб* как символическое средство к обобществлению владений, в частности – жен.

Однако еду нашему герою так и не принесли. Агнон описывает его переживания и муки, пока перед голодным мужчиной не возникает образ матери, самое присутствие которой взывает к благочестию, подобно тому как в текстах Устной Традиции оказавшийся в спальне жены Потифара юный Йосеф видит в окне образ Яакова и стремительно убегает, не совершая греха. Агнон впервые использовал мотив появления образа матери как оберега от разврата в рассказе «Сестра» (*Ахот*, 1910). А здесь герой немедленно хочет сказать официанту, что готов отказаться от непечатого хлеба. Так и не получив еды, он остается запертым на ночь, впадает в забытие, а когда приходит в себя, видит заваленный объедками стол, а на нем мышь и кота. Страх героя перед мышью, якобы способной его сожрать, свидетельствует о раскаянии и самоосуждении, и не случайно в этой ситуации Грэслер его не замечает.

Утром герой кое-как добрался домой. «Помывшись и счистив грязь», он вышел купить себе поесть. Последняя фраза рассказа – повтор, напоминающий, что длительное воздержание служит в нем сюжетообразующей темой: «Я жил в ту пору один, моя жена и дети пребывали за границей, и все заботы о пропитании легли на мои плечи».

Сказано в Мишлей (28:21): «Мужчина согрешит и за ломоть хлеба (*пат лехем*)», а у Агнона непечатый хлеб (*пат шлема*) должен был открыть герою путь к греху, но этого не случилось. И еще сказано в Мишне (Авот, 6:1): «Занимающийся Торой ради нее самой удостаивается многого; <...> она отдаляет его от греха и приближает к добродетели». А комментатор тут пишет: «Благодаря Торе он владеет собой и сдерживает злое начало». Это противостояние и внутреннюю борьбу героя в рассказе эксплицируют доктор Неeman и господин Грэслер.

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

Ури Цви Тринберг *В ЦАРСТВЕ КРЕСТА*

* * *

Дремучие чёрные чащи, равнины, равнины –
долины страданья и страха в глубинах Европы!
Здесь в дебрях лесных, в полумраке зверином,
висят мертвецы на деревьях и кровью исходят.
(Серебряный отблеск лежит на их лицах,
и масляный свет льют на них золотистые луны.)
Крик ужаса здесь –

голос камня, упавшего в воду,
молитва здесь –

слёзы, потоком текущие в бездну.

Я – птица, чей крик будит полночь слепую
в долинах страданья, где царствуют башни с крестами.
О, если б нашёл я приют на Востоке,
среди аравийских песков, в бедуинских кочевьях!
Но болен я страхом овцы: полумесяц приставил
свой серп к моему обнажённому горлу...
Я гибну от ужаса на перепутьях Европы,
я вижу подставивших шею, готовых к закланью.
Кровавым плевком я окрашу крестов позолоту
(висите, евреи, – висите, привыкшие плакать).
Две тысячи лет полыхает молчание в бездне:
отрава, которая ест и побеги, и корни.
Две тысячи лет кровь из вен вытекает,
и нет никого, кто б ответил слюной ядовитой.
Записаны в книгах деяния рук Амалека,
и только ответ наш на кровь в эти книги не вписан.
Дремучие чащи, бескрайние чёрные дебри
страшны ещё больше, когда их луна озаряет!
Крик ужаса здесь – голос камня, упавшего в воду,
а кровь из раздувшихся вен – как роса в океане.
Европа великая! Царство Креста!
Когда воскресенье наступит, я праздновать буду:
я лес тебе страшный открою, тебе покажу я, Европа,
гниющие трупы моих мертвецов на деревьях.
Порадуйся, Царство Креста!
Смотри – и увидишь в долинах:
колодцы пусты, и убиты вокруг пастухи,
и головы мёртвых ягнят белеют у них на коленях.
Давно нет воды в тех колодцах – одно лишь проклятье.

* * *

Вы нам закрываете солнце, убить нас готовы
ещё до того, как с ресниц наших сны упорхнут золотые,
ещё до того, как молитва заре растворится в пространстве.
И тысячи тысяч в лесной полумрак убегают,
туда, где во взгляде овечьем ноябрь отражается блеском
ножа для закланья.

И там, под деревьями страха, рождаются дети
с отравленной кровью: они увядают
быстрее, чем розы.

Для вас я не буду сажать плодоносные рощи.
Стоять оголёнными будут сады моей скорби
у ваших костёлов.

Звучат без конца колокольные звоны под вечер
со всех ваших башен.

С ума они сводят, они мою плоть разрывают,
как хищные пасти.

На сучьях в лесу я тела моих мёртвых развешу,
оставлю их гнить на глазах у созвездий,
беспечно сияющих в небе.

Я в тёмный колодец во сне опускаюсь.

Я вижу распятых евреев, я вижу,
как, вытянув шеи, залитыми кровью глазами
глядят они в окна,

шепча на иврите: «А где же Пилатус? А где же Пилатус?»

Откуда же знать вам, что ужас у вас в изголовье,
что чёрным пророчеством он ваши сны отравляет?

Ведь сон забываете вы, потому что с рассветом
звонят колокольни.

Из чёрных долин, где мы Облачный Столп ожидаем,
из наших обугленных душ в безответной мольбе о спасеньи
пророчу вам чёрные дни!

Тот ужас не сможете вы ощутить вашим сердцем.

Вы будете сплетни свои громоздить воспалёнными ртами,
ругаясь: «Евреи, евреи!»,

пока не окутает газ ядовитый церковные своды,
пока не застнут на идише ваши иконы.

* * *

Лежат меж деревьев тела пастухов неподвижно,

и радуги отблеск мерцает у них на ресницах...

Хлева догорают. Испуганно мечется стадо.

А люди поленья подносят, костру не давая угаснуть:

ведь алчет немедленной жертвы серебряный крест!

И падают замертво овцы, в дыму задыхаясь.

Белы их глаза и огромны — огромны, как луны...

Так яд поедает траву, так свершает закланье чума!
 Вновь день после ночи пожаров, и ночь – ночь молчанья:
 наполнены страхом домов опустелых глазницы,
 и запах гноящихся ран над крестами восходит.
 (Один уцелевший здесь я,
 с мефистофельской злою усмешкой...)
 Овца, у кого ты просить милосердия станешь,
 когда твой соломенный хлев стоит во владеньях Пилата,
 а луг, на котором пасёшься, – на огненной Этне?!

* * *

Разорванный талес на раненом теле...
 Хорош этот талес еврейский – в нём телу удобно:
 ещё не зажившие раны ветра не засыпят песком.
 Слышны колокольные звоны, евреи трясутся...
 Не надо трястись так, евреи!
 На кладбище я стерегу могил свежерытых ряд.
 Клеймо ваших ран на челе моём рдеет.
 Я царь в этом талесе – в мантии красной и рваной!
 Я каждой руке отомщу за пролитую кровь
 в болотах,
 в сараях,
 на улицах
 и у порога костёлов.
 Иначе зачем им носы и зелёных два глаза?
 Иначе зачем нам два ряда зубов и костлявые два кулака?
 ...Смотри, покраснела стена в этом городе, папа!
 Чего ты добился молчаньем и кротостью, папа?
 Ведь вечер уже. Вот-вот и засветятся звёзды вечерние...
 Папа!..
 Не помнишь ты разве, что страж наш – Господь,
 что дрожать ты не должен?!
 Горят Небеса... Помолись же о милости, папа!
 Ведь милость нужна Небесам... Небеса потемнели!
 Подумай, они ведь не чувствуют боль, не страдают,
 как плоть человечья?..
 Ты умер? Я Имя тогда назову, и осядут
 высокие башни костёлов, откуда несётся
 сводящий с ума перезвон. Как дрожал ты!
 А ныне останутся только (для памяти и для рассказов)
 на кровлях железных кресты, как кресты на надгробьях.
 Из кладбищ, из тысяч и тысяч могил
 еврейское воинство встанет, и выйдет с оружием,
 и будет в шофары трубить на все стороны света.
 Иначе зачем поднимается утром сияющий обруч?
 Иначе зачем в этом городе красные стены?

* * *

Багровое солнце. Еврей на закате Европы.
Дом в городе страха. Обилье крестов в поднебесье
и звон колоколен.

Завеса истлела. Дверь шкафа со свитками Торы
висит на петле, как подстреленной птицы крыло.
В крови голова этой птицы, посыпана пеплом.
Грошовая свечка в гробу полутёмном мерцает
и светит внутри, будто в сумрачном зеве.
Отец мой сидит неподвижно и смотрит на запад:
всё ждёт, что услышит оттуда он звуки шофара
и весть, что пришёл сын Давида и улицы Рима в огне.
(Наверно, поэтому окна пылают и острые шпили.)
Тебе хорошо здесь, отец, ты сидишь неподвижно,
лицо пламенеет в лучах уходящего солнца,
похож ты на солнце.

Но там, во дворах Амалека, – там мама моя над колодцем
стоит и кричит в яму с чёрной водою:

«Верните мне голову – здесь голова моя тонет!
Зачем она вам, что её отсекли вы от тела, злодеи?!»
А птицы поют, как назло. И над чёрным колодцем
красные яблоки зреют, когда наступает
рассвет после ночи.

Кто знает, откуда являлись наездники эти,
которые наших сестёр в логовища тащили?

А после – стенания рек о деяньях сынов Амалека:
ведь женщин тела обнажённых течение выносит на берег.

* * *

Не только над чёрным колодцем – повсюду
на яблонях зреют плоды, но не мы их срываем,
ведь красные яблоки эти созрели на нашей крови.
Проникла осенняя сырость в тела иудеев:
нет сил у нас больше взывать, небеса сотрясая, –
в костях дотлевают бессильный обугленный крик.
Сквозь глубь синевы не доходят стенанья до Бога.
Но чует земля, что беда идёт следом за нами.
Земля к нам добра, нам любовно она предлагает:
прильните ко мне, укрываясь моим одеялом,
не ждите заката.

А ночью над нами поющие звёзды восходят.
И бархатно небо. И есть ещё милость в страданье.
Но страшен, как Марс, окровавленный облик луны.
Так падает Каин на землю, с Эдемом прощаясь.
Дурман опьяняющий, запахи крови и вербы.

И мечется Бог – ему тесно в чертогах.
 Рычит он, как раненый лев, и срывается с Трона,
 и мчится в небесных снегах – так ему одиноко.

* * *

Что можем мы сделать, евреи бездомные, папа?
 Оставил Господь сыновей, оставил пастух своё стадо.
 Спустилась в сады наши осень, в крови нашей серый туман.
 Пустынный наш край на востоке – приют для шакалов,
 а здесь нам цыганский шатёр служит кровом неверным:
 любой поджигает его, как солому, и топчет.
 Все дни наши здесь, чтобы каялись мы: «Преступали...»
 и взор отводили тоскливый, встречая друг друга.
 Ночами вселяется ужас в дома наши: чёрная птица.
 Что можем мы сделать – напуганных горстка евреев,
 когда возвышаются римские башни над нами,
 и звон колокольный должны каждый вечер мы слушать
 и в чёрные наши субботы, и в чёрные праздники наши.
 Проклятие жить так, когда ежечасно
 огонь может вспыхнуть повсюду: костры под ногами,
 костры под домами.
 Что можем мы сделать – напуганных горстка евреев,
 когда наши жёны и дети кричат нам: «Спасите!»,
 и крыши пылают, и пламя горит в наших окнах.
 Проклятье быть телом, которое топчут,
 как уличный серый булыжник, – но тело не камень.
 Из мяса оно и костей – и почувствовать может, как лезвие режет.
 Нет мужества, папа, у нас – мы не сможем подняться
 и колокол сбросить, ввергающий разум в безумье.
 Сорвать этот крест, голубое пронзающий небо.
 И небо, как будто в библейском проклятье, становится медным.
 Смиримся же, папа, сойдём же в долины страдания,
 где зреют плоды наших слёз под деревьями страха.
 Сорвём те плоды и вонзим их шипы ядовитые в глобус...

* * *

Я вас ненавижу до кончиков пальцев, скрывая
 в горячей от яда груди нашу чёрную правду:
 Быть двадцать веков Агасфером и не поклоняться Кресту.
 Мой ужас за мной заостренною движется тенью,
 как будто наточенный меч, занесённый над нами.

Я в сердце Европы. Я думаю: как же случилось,
 что те, кто Бейт-Лехему молятся здесь на коленях
 и Библию чтут – это те, кто мечтает
 библейский народ истребить, без остатка его уничтожить?

Я знаю: здесь каждого страх поражает.
Боятся они, что бандиты к ним вломятся в полночь
с ножом, топором
и убьют их в постели.
А может, я сплю, и всё это мерещится мне?
Во сне ли услышу
иль в час пробужденья
те крики, что рушат небес безмятежность?!
Отправьте меня за пределы полей ваших, к морю.
Оттуда – в края, где блестит золотой полумесяц.
Он острый, как серп, и приставлен сынами пустыни
к овечьему горлу.
Отправьте меня на Гудзон – там живут мои братья
и доллары копят – «жидовскую копят монету»,
чтоб, с нею в Европу приехав, скупить все алмазы
славянской короны...
Отправьте к соседям: в Совдепию, к брату.
Он там комиссаром – ни слова по-польски не зная,
на идише пишет декреты свои для поляков.
О царство страданья, лесное славянское царство!
Наш след на земле твоей – кладбища наши.
Гниют там евреи, лежат поколенья в могилах,
и пищу служат червям, и питают древесные корни.
Куда же идти, где искать себе новое место,
чтоб звон колокольный ваш больше не слышать,
не видеть кресты золотые и шествия ваши.
Одно только место такое: глубинные воды,
куда не доходит гул вашего Царства.
Но я не хочу опускаться в морскую пучину,
пока ещё суша цветёт и сияют ночные созвездья.
Я просто беду ощущаю, которая ждёт нас
под сенью Креста.

* * *

Затмение солнца у вас, в полутёмной Европе, –
и рад я тому, что затмение солнца настало.
Так радостно кровь молодая по жилам струится,
и реет над тканью одежд аромат предвечерья.
Багровою ночь будет в Царстве Креста!
Я свод ненавижу небесный, лежащий на шпильях.
Для нас это медь – она давит на головы наши.
Для нас это небо, откуда дождю не пролиться.
Проклятье лежит на полях, и они не дадут урожая –
но то, что нам здесь уготовано,
с вами случится!

* * *

Проклятье приходит к нам с ломтем осеннего хлеба.
Отчаянье пьем мы с водою из чёрных колодцев.
А ночью является страх, перед тем как постели коснёмся.
Так дни здесь проходят – и стелятся запахи ивы
над реками мрака, где тлеет ноябрьский ужас.
А ночью слетаются совы оплакивать лето.
Сидят пастухи наши мёртвые на побережье,
а овцы испуганно мечутся ночью пустынной
и влаги для ртов опалённых своих не находят.
Но утром и вечером в мире царит вожделенье.
Есть чудо рассветного неба, есть чудо заката.
И в полночь с землёй в наслажденье сливается тело.
И лишь старики у нас рано встают, до восхода.
В сердцах у них сумрак: полны их сердца, словно ивы,
осенним кошмаром.
Предчувствием смерти.

* * *

Мама Мирьям, мне больно.
Растащили твои образа и в затмении несут по Европе...
Даже имя твоё исказив, называют Марией...
Если б мог я к тебе подойти, когда ты плывёшь над толпою,
и тебе рассказать, что живут здесь евреи, простые евреи,
и что есть у них жёны и дети в этом городе, городе страха, –
расколосся бы тотчас мой череп и вытек
белый мозг мой на камень,
а толпа продолжала бы путь как ни в чём не бывало.
Кровь течёт, я иду, но ты, Мирьям, об этом не знаешь,
и звучит твоё имя: Мария. Звучит на латыни.

* * *

Улетают в скитание птицы – прекрасны их птичьи скитанья.
Сердце мира открыто для них, озарённое светом:
вольной стаей взлетают они, устремляясь в просторы, –
и с ними
поднимается солнечный круг, и бежит он с Востока на Запад.
А усталым ногам говорят вавилонские реки
сквозь туман, застилающий звёздное небо слезами:
К нам, бездомные, к нам возвращайтесь из края страданий.
Вы устали в пути, а дороги уходят всё дальше.
Велика перед вами земля – так войдите же в реку,
и она унесёт вас в глубокое счастье покоя,
в океан беспредельный.

Мой суровый отец, моя мама – само благочестье,
не прислушаться ль нам? Уже вечер. В тумане,
полном слёз, не войти ли в поток, что уносит
в океан беспредельный?..

Или мы не хотим изумляться цветению лилий,
видеть ясный закат, любоваться походкой красавиц?
Но отрада для всех – океан беспредельный...

Не прислушаться ль нам?

Ведь туман в этот вечер наполнен слезами.

* * *

Красен хлеб наш субботний. А красные яблоки наши –
как кровавые луны, лежащие в чёрных озёрах,
да, кровавые луны, созревшие в ночь полнолуния
в вашем Царстве Креста.

Велико это царство. Моря занимает и сушу.

И кого здесь волнуют вавилонские реки,
чьи потоки оставили нам непросохшие слёзы
бесконечного плача?

И кого здесь волнует, что хоронят упавшее в воду
чьё-то тело, а рядом стоят лики смерти живые –
люди в чёрных одеждах – они окружают
женский череп, пробитый, наполненный грязью и тиной.
Для того колокольня, чтобы слушать нам звон похоронный,
слушать колокол скорби.

А ещё есть в костёле орган, и звучит «аллилуйя»
в чёрный вечер субботний – словно кровью он мажет
двери наших домов: знаки Каина ставит.

* * *

Может, самое чёрное вижу я здесь из пророчеств,
каждым нервом своим ощущаю я ужас,
оттого что сбываются эти виденья
здесь, в долинах страданья, на земле христианства.

Мы сошли со ступеней крутых, на которых стояли,
покачнул наши лестницы ветер Европы:

всем любовь – даже тем, кто готовы нас резать,
даже душам злодеев – Небесное Царство.

Пламя в наших глазах, опалённое небо:

и пылают костры, и снуют между ними евреи,
и ни слова не могут сказать, и не знают, где выход,
и не видят, что небо в огне и что бездна под ними.

Только мельницу видят они, и возвращаются крылья
в ядовитом пространстве, и мелют, и мелют
воздух кладбищ осенних, слякотных кладбищ Хешвана.

Как могу я, идущий от страданья к страданью,
 одинокий еврей, в чьей крови страх еврейский и ужас,
 ужас ночи насилья слепой и закланья овец, – как могу я
 пробудить это павшее воинство: тысячи тысяч
 на просторах России, на польских дорогах...
 Чтобы встали они и себя, своё множество, сами
 увидали: червями обглоданных мёртвых евреев
 в снежном Царстве славянском,

в стране колокольного звона

Только ночью встаёт это воинство мёртвых,
 и когда я иду к своей белой постели,
 к моей белой постели их тени подходят,
 говорят: «Посмотрите на нас, посмотрите!
 Вот таким ваш конец – всех и каждого – будет».

* * *

Только десять евреев останутся после закланья,
 чтобы видели все: был народ здесь, в краю колоколен.
 Но и в язвах своих они Рим не попросят: «Впустите...».
 Как случилось, что вместо Давидова Царства
 есть у нас обветшавшее царство литовских местечек,
 где мы сумрачный сон иудейский наш видим
 о берёзах, корнями вцепившихся в землю,
 и о лунах, мерцающих над изголовьем...
 Есть у нас царство польских тоскливых предместий
 (где порой наши сны прерываются воплем...).
 Есть край скорби и ужаса на Украине –
 есть простор, где закланье овец происходит...
 И ещё есть на суше, от моря до моря,
 много мест, где раскрытые ждут нас могилы.
 Есть и мельница – чёрными машет крылами
 и касается туч: милосердия просит.
 И шатры есть цыганские – ставят евреи
 их, кружа по земле, будто солнце по небу.
 Только десять останутся, с горлом овечьим, слепые,
 но останутся вечно. Детей породят они в страхе,
 с тонкой шеей, с глазами, как птицы в тумане,
 с кровью сморщенных роз – а ночами трубить будет некто
 звёздный свод потрясая.

* * *

Если б мог удержать я пылающий Марс на орбите,
 чтобы он осветил, сквозь затмение солнца, дороги,
 где сидят наши матери возле обочин
 и баюкают там своих мёртвых детей на коленях,

своих мёртвых ягнят и птенцов на распутьях Европы.
 На востоке, на западе – всюду кошмар под крестами!
 Что я сделать могу, собирая в кулак наши слёзы?
 У обочин сидеть, молча плакать в тени колоколен
 и баюкать ягнят и убитых птенцов на коленях?
 Или кладбище выкопать в сердце Европы
 для погибших ягнят,
 для птенцов моих мёртвых?

* * *

В облаках кто-то водит смычком окровавленной скрипки.
 Час молитвы пришёл – по углам встаньте, папа и мама.
 За меня помолитесь, мои папа и мама.
 Потому что ваш сын, хоть на нём европейский наряд,
 он еврей всё равно, он скиталец, бродяга,
 на висках его – пейсы;
 Если их не увидит никто, это значит – мой профиль
 не замечен в тумане.
 А ещё здесь, в тумане, звучит мандолина,
 но тоска от неё в этот час предвечерний.
 Потому что еврей в элегантном костюме
 под крестами здесь бродит – один в этом царстве
 на исходе субботнего дня, когда звёзды восходят.
 Изумрудно-пьянящая ночь, запах мяты и яблок,
 лунный свет, голубой аромат –
 над морщинами мамы, над лесом страданий,
 над телами моих мертвецов на деревьях.
 В кафедральном соборе висит обнажённый Йешуа,
 и блестят серебром неподвижные старые лампы.

* * *

Оберните бурнусом меня и набросьте на плечи мне талес,
 ибо вспыхнул угасший Восток и горит в моих венах.
 Заберите обратно мой фрак и ботинки из лаковой кожи –
 всё, что здесь я купил, чтобы стать европейцем.
 Посадите меня на коня и отправьте в пустыню,
 возвратите в пески из роскоши ваших бульваров.
 Есть в пустыне народ с обожжённою бронзовой кожей.
 (Колоколен там нет и крестов, лишь созвездья сияют.)
 И когда воззовет кто-то бронзовым голосом зычным
 и воскликнет: «Любовь!» – и взойдут полуночные звёзды –
 отзовется вода голубая, разлившись у края пустыни, –
 отзовется любовью.

Варшава, 1921-1922

Перевёл с идиша Ханох Дашевский

Ханок Дашевский
ЕВРЕИ НА ЗАКАТЕ ЕВРОПЫ

Ури Цви Гринберг, правнук известного рабби Ури из Стрылыска, носившего прозвище *a-saraf* – «огенный ангел», прошёл через модные увлечения начала XX века: социализм, анархизм, нигилизм. В литературе примкнул к экспрессионистам, в 1922 году основал литературный журнал на идише, которому дал имя «Альбатрос» – так же назвал свое знаменитое программное стихотворение Бодлер. Потому что тоже видел в поэте «царя высоты голубой», которому мешают ходить по земле исполинские крылья.

Присущий великому поэту дар пророчества помог Ури Цви Гринбергу увидеть то, чего не видело большинство его современников: грядущую Катастрофу. Он точно знал: в Европе евреев ожидает резня. Но когда Гринберг издал поэму «*Ин Махус фун Цейлэм*» – «В Царстве Креста», где описал свои видения, своё чёрное пророчество, – даже великий Бялик назвал этот текст безумием.

Того же мнения придерживалась и большая часть евреев Польши, к которым обращался Гринберг, в 30-е годы вернувшийся на время из Эрец-Исраэль в Варшаву, чтобы выпускать там вместе с Жаботинским еженедельник на идише. Поэт старался открыть евреям глаза, а его называли истериком, паникёром. Но прошли считанные годы, и ворота ада распахнулись так, как даже самое чёрное пророчество не могло предвидеть.

Поэму «В Царстве Креста» Ури Цви Гринберг опубликовал в 1923 году в Берлине – в Польше после выхода двух первых номеров «Альбатроса» это издание было запрещено, а власти выдали ордер на арест поэта, по обвинению в «оскорблении христианской религии». Погромная атмосфера, царившая в только что отвоевавшей свою независимость Польше, разнузданный антисемитизм пришедших к власти польских националистов, лицемерие католической церкви – всё это производит на молодого Гринберга самое тягостное впечатление, и он понимает: евреям нет места в Польше, нет места в Европе вообще.

В ноябре 1918 года он сам пережил устроенный польскими легионерами погром во Львове, сам стоял вместе с родителями у стенки под дулами польских винтовок. Город страха, который он не раз упоминает в поэме, – это город его детства, Львов. И он чувствует, что ужасы, которые евреи пережили во время гибели Российской империи и распада Австро-Венгрии, – только прелюдия Холокоста.

И тысячи тысяч в лесной полумрак убегают, / туда, где во взгляде овечьем ноябрь отражается блеском / ножа для закланья...

Одно из центральных мест в поэме – образы мёртвых родителей. Несмотря на то, что Гринберг писал «В Царстве Креста» за двадцать лет до Катастрофы европейского еврейства, он уже тогда ощущал смерть своих близких. В 1939 году Гринбергу удастся в последний

момент бежать из Польши, добраться до Страны Израиля, но все его родственники погибнут. И хотя поэт предвидел их гибель, он испытал тяжелейший удар, когда его страшное предвидение сбылось.

Горящие хлева, овцы мечутся и падают замертво. Мечутся евреи и не знают, где выход, и не видят, что небо в огне и что бездна под ними. Небо в огне – это медное небо, которое дважды возникает в поэме. Это сбывшееся библейское проклятие: «И станет небо твоё, что над головой твоей, медью, а земля, что под тобой, – железом».¹

Поэма Гринберга не случайно называется «В Царстве Креста». Крест для поэта – символ трагедии, символ двухтысячелетних преследований евреев в Европе. Не скрывая своей ненависти к христианской церкви, Гринберг, вопреки сложившейся в еврейском обществе традиции, не скрывает и своей любви к главным персонажам Евангелий – Иисусу и Марии². Поэт называет их настоящие имена – Йешуа и Мирьям, напоминая, что они принадлежат еврейскому народу, что Вифлеем – это не что иное, как библейский Бейт-Лехем, деревня в древней Иудее. Ему трудно понять, почему те, кто *Бейт-Лехему молятся здесь на коленях и Библию чтут*, хотят истребить народ, давший им веру. Чёрное пророчество поэта – не только о том, что будет с евреями, но и о том, что будет с Европой. *Но то, что вы нам уготовили – с вами случится*. Через два с небольшим десятилетия после того, как была написана поэма о Львовском погроме, евреи выпрыгивали из окон горящих домов Варшавского гетто, и у многих поляков это не вызывало особого сочувствия, а некоторые откровенно радовались. А еще через год, во время Варшавского восстания, нацистами была зверски разрушена вся польская столица...

Вы будете сплетни свои громоздить воспалёнными ртами, / ругаясь: «Евреи, евреи!», / пока не окутает газ ядовитый церковные своды, / пока не застонут на идише ваши иконы.

И сейчас, почти столетие спустя после того, как поэма увидела свет, сейчас, когда, не признавая право иудеев на Иудею, многие европейские политики фактически отказывают Израилю в легитимации, стихи эти не утратили своей актуальности.

Ури Цви Гринберг отчётливо ощущал всю зыбкость еврейского существования в Европе. Но в отличие от многих других знал, что делать. В 1923 году разошлись его пути с товарищами по литературе – идишскими поэтами: Гринберг уехал в Эрец-Исраэль. А его ближайший друг, поэт Перец Маркиш, – в Советский Союз. Свою жизнь он закончил в лубянском подвале.

А Ури Цви Гринберг умер на восемьдесят пятом году жизни, в своей квартире в Тель-Авиве, в День независимости Израиля.

¹ Книга *Дварим* [Второзаконие], глава *Ки-таво* 28–23.

² В поэме упоминается также Мария Магдалина. Однако, готовя перевод к публикации, не будучи уверенны, что достаточно понимаем контексты литературных и философских исканий в идишской литературе начала XX века, мы были вынуждены, к сожалению, несколько незначительных по объёму фрагментов опустить. *Примечание редактора.*

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Юлия Рабинович

НА ОЩУТЬ

* * *

Работе должное отдавши, я
тащусь домой, а это значит,
что я до ужаса уставшая,
а после ужаса – тем паче.

* * *

И стучит по тучам Бог молний посохом,
Закипает море – хочет сварить ухи,
И иду я по воде аки посуху,
И тружусь в ботинках мокрых аки в сухих.

* * *

С начала времён до скончания века
Мир стоит на трёх человеках,
А каждый из них – на трёх таких же,
А те – ещё, и ещё, и ниже, и ниже...
И одни человеки до самого дна
Друг на друге.
Вот только загвоздка одна:
Ни один не знает из них, что на нём
Держится мир.
Весь.
И ночью, и днём.

* * *

корабли постоят
и уходят без шапки,
остывают в углу
беспризорные тапки,
завывает метель
люперкальской волчицей:
ты в ответе за тех,
кто придёт приручиться.

* * *

Интернет включаю, пялюсь в заголовки,
 Перелистываю пёстрые картинки...
 Мы живём тут хорошо. У нас в кладовке
 Снова мыши завелись, грызут ботинки.
 А вчера ещё сломался телевизор.
 Не совсем сломался – светит как-то странно.
 В среду Лиза заходила. Помнишь Лизу?
 Я сказала, ты ушёл купить сметаны.
 Тихо дремлет, к животу поджав колено,
 Ксерокопия твоя под одеяльцем...
 Я недавно гвоздь сама забила в стену:
 На один удар по шляпке – два по пальцам.
 Прочитали Мойдодыра, Айболита,
 На полу хромые зайки мокрой кучей.
 Заходил бы? Наша дверь всегда открыта,
 И под ковриком ключи
 На всякий случай.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Хоть жабы пушисты и белы,
 Хоть вымыты шея и уши –
 В болота не падают стрелы
 И в души.
 А жаба мечтает о принце,
 Но принц в своем роде прав, и...
 Тут жаба идет на принцип!
 И на фиг.
 Исполнена злости и мести,
 Заполнена ей до печёнок –
 Находит в торговом месте
 Девчонок.
 Не праздной забавы ради,
 В отделе помады и туши
 Подходит к девчонкам сзади
 И душит.

* * *

Стареем, милая, стареем...
 Меняем чаще аватары,
 И лента крутится быстрее,
 И Новый год какой-то старый...

ВЕРОНИКА

Тридцать три, а такой
состарившийся уже и сутулый.
Ишь – разбойник, а грудь
худая, гляди-ка, и впалая,
да и щёк-то нет,
как голые скалы – скулы,
но глаза!
ой, девки, пропала! Пропала я!
За одну б только ночь...
Брось, не дури, Вероника!
У него ни динара нет для тебя,
ни ночи!
И она подошла и отёрла пот и кровь со святого лика.
Отняла тряпицу –
как кистью художника прорисованы очи.
Знала ль ты, что две тысячи лет
не устанут тебе молиться
и копировать спаса нерукотворного
на образа?

Солдаты вернутся с казни,
будет много работы – думает просто блудница,
просто блудница, влюбившаяся в глаза.

* * *

тырываешь душу в клочья
и разноцветными клочками,
как кучевыми облачками,
раскрашиваешь сумрак ночи.
а люди говорят: «прекрасно!»
а люди говорят: «вы гений!»
и лапа цепкая сомнений
сжимает сердце каждый раз, но
ты снова ждёшь, что скажет кто-то:
«не горбись! застегни пальто-то!»
и, вслушиваясь в гул весенний,
ты снова ждёшь
ты ждёшь
напрасно.

* * *

Я свернусь тут клубочком, а ты погладь.
И поцелуй тоже.
Говори мне: «Ты же большая девочка, ты всё сможешь».

Неправда, я маленькая, просто очень большого роста.
 Зачем ты скрывала, мама,
 Что взрослыми быть так непросто?
 Я б передумала, может, на полпути
 Расти.

* * *

Слышь, Господи, всё забываю спросить,
 вспоминаю уже на обратном пути:
 Как вот ты, иже на небеси,
 решаешь, кого... а кого спасти?
 У тебя есть график? Датчик случайных чисел?
 Список добрых дел и проступков?
 Что тебе видно вообще с твоей заоблачной выси?
 Или у вас там тоже – ни дня без стука?
 А может, просто нечаянно выпустил вожжи,
 и все под откос, как телега старая.
 Кто там по списку раньше, а кто там позже...
 Я, бывает, тоже приду на работу усталая
 и туплю в журнал, не пойму сама я,
 что к чему, зачем... Ведь и ты, поди
 устаёшь. Не начальство чай, понимаю...
 Или все-таки график? Тогда...
 зря ты, Господи.

* * *

Что творится, ты видишь, майн мэйдале¹, видишь?
 Папа римский идёт в Яд ва-Шем² вспоминать гитлерюгенд.
 Нынче незачем новости слушать, добро бы на идиш –
 Я ж с Одессы сама, может, слышала, это на юге.
 Ну и что же я этим твоим аппаратом услышу?
 Мне и слушать всего-то, ты видишь, осталось абисале³,
 Скоро, мэйдале, скоро я съеду под новую крышу,
 Под ту крышу, откуда никто никуда уж не выселит.
 Шайнэ мэйдале⁴, что я услышу твоим аппаратом?
 Без таких новостей нам живётся и легче, и проще.
 Поживу в тишине. Тихих ангелов в белых халатах
 Я узнаю на ощупь.

¹ майн мэйдале (*идиш*) – моя девонька.

² Яд ва-Шем – расположенный в Иерусалиме национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма.

³ абисале (*идиш*) – немножко.

⁴ шайнэ мейдале (*идиш*) – красивая девонька.

Давид Маркин

ВЛЮБЧИВЫЙ АНИСИМ

С юности, от молодых ногтей Анисим Ефимович Гурарий был влюбчивым человеком. Во всякой девушке, будь она даже страшна, как старуха Изергиль, Анисим находил прелестные черты, и они определяли его чувственный порыв. Хоть на неделю, хоть на три дня – но он был увлечён без малейшего остатка; и это была любовь.

Любовь была для Гурария храмом, куда он приходил каждый Божий день; он там почти жил. Эдаким Кёльнским собором, построенным из чистейшего золота, была для него любовь. Нетрудно догадаться, что Анисим Ефимович был всецело лицом еврейской национальности, человеком нашего рода-племени. Почему же тогда Кёльнский? Почему не Большая синагога на улице Алленби? Потому что Кёльнский собор, осмотренный Гурарием во время туристской поездки по Германии, потряс его воображение до самых корней. Вот это да, вот это домина! Я с ним согласен: Кёльнский и меня потряс.

Сидение и даже проживание в храме любви стало для влюбчивого Гурария неотменяемой привычкой – ведь привычка, как известно каждому, это вторая натура, а уж натуру не изменишь, как ни старайся. Влюблённость окрыляла, и всякий день, прожитый без такого окрыления, выходил Анисиму боком: он чувствовал себя никудышным человеком, лицом второго сорта. День, получается, был прожит зря.

Надо сказать, что в Москве, где он прожил тридцать четыре года своей жизни, вплоть до самого отъезда в Израиль на ПМЖ, Анисим занимал довольно-таки устойчивое социальное положение: работал завотделом снабжения городского зоопарка на Большой Грузинской. Выпускник зооветеринарного техникума, он уверенно командовал закупками брюквы и клюквы, мяса и сена, червя мотыля и свёклы, живых мышей для террариума, бананов для обезьянника и сгущённого молока для площадки молодняка. А где закупки, будь то хоть пареная репа, тут и расписки-приписки; это ясно. Жить всем надо – и питону, и Гурарию.

Позывов присоединиться к соплеменникам на земле исторической родины Анисим не испытывал, ему и в зоопарке было неплохо. Не то чтоб он на эту злободневную тему вообще не думал – нет, иногда задумывался и прислушивался, хлопал ушами, как подведомственный ему слон в слоновнике, но сердце обитало в российских дебрях и не принимало участия в этом еврейском прислушивании. Всё у него было в России: бывшая жена, после скромного развода уехавшая почему-то в Тюмень десять лет назад и осевшая там, однокомнатная квартира в Мневниках, в двадцати минутах от метро, японская машина «Сузуки» со вторых рук и увлечение русскими народными частушками, которых он был восторженным знатоком. Политика его не интересовала, на выбо-

ры он не ходил никогда – не из чувства протеста, а потому что сознавал бесполезность этого поступка: сначала стоять в очереди, а потом бросать в ящик бланк с чужими, неизвестными ему фамилиями. Кто, что? Анисиму не было до этого дела.

В общем и целом Анисим Гурарий был обыкновенный русский еврей нашего времени, в принципе такой же, как русский финн, и поныне дикий тунгус, и друг степей калмык.

Если бы не влюбчивость... Вот в этом с ним трудно было сравниться кому бы то ни было.

Он находил в любви труд души, созидательный труд. Влюблённость держала его на плаву жизни, как поплавков держит свинцовое грузило, и не давала уйти на скучное тинистое дно. Его знакомые не находили в этом ничего из ряда вон выходящего: молодой холостяк, не грубиян и не алкоголик, а что завянутый ухаждёр – так это его личное дело. Такого же мнения, похоже, придерживались и девицы с барышнями, когда Анисим начинал проявлять к ним сначала повышенное, а затем и опаляющее огнём внимание. Прежде всего этим представительницам податливого пола хотелось любви и сказки, а уже потом проявлялся обдуманый интерес к постоянным отношениям и даже к брачным обязательствам. Но до этого «затем» Анисим Гурарий дела не доводил: вполне искреннее начальное чувство выветривалось, пара расходилась, каждый шёл дальше своим путём. Приятель влюбчивого Анисима, высокогорный кавказский поэт, так суммировал происходящее: «Когда влюбляешься в девушку, надо поскорее с ней переспать, чтобы разлюбить». Возможно, он был недалёк от истины, этот горный лирик.

Кризис в отношениях Анисима Гурария с налаженной быстро текущей жизнью наступил после отъезда Лоры Михеевой в Израиль, на постоянное жительство.

Лора, как это случается в нашей интересной действительности, Михеевой числилась «по папе» – наполовину еврее, а «по маме» была чистая Блюмштейн. И это, на первый взгляд, несколько замутнённое обстоятельство Лориной еврейской биографии широко тем не менее распахивало перед нею ворота Святой земли со всеми вытекающими отсюда приятными подробностями.

Восемнадцатилетняя Лора попала Анисиму на глаза за неделю до Нового года, в случайной пёстрой компании; знакомства там были по преимуществу шапочными, и это усугубляло независимую свободу общения и довольно-таки весёлый общий настрой. Он оказался самым старшим по возрасту, но это обстоятельство, однако, никого там не занимало, и прежде всего его самого.

Лору он сначала принял за хорошенькую татарку: высокие скулы, причёска «конский хвост», чёлка закрывает лоб по брови. Чудесная татарка. Кочевница. «Мне скакать, мне в степи озираться...» В сердце Анисима Гурария знакомо тренькнула одинокая струна.

Подсев к незнакомке, он справился проникновенным голосом, но как бы мимоходом:

– Вы случайно не татарка?

Можно было поинтересоваться, например, прогнозом погоды или в каком институте учится, но Анисим такие заезженные подходы презирал. Татарка или не татарка – это дело другое!

– Я никакая не татарка, – с вызовом ответила Лора бархатистым, низким голосом. – Я еврейка.

И эта новость почему-то обрадовала Анисима Гурария.

– Я тоже еврей, – сообщил Анисим, понизив голос до шёпота.

– А я и не сомневалась, – сказала на это Лора Михеева.

Так завязалось знакомство.

Три дня до следующей встречи с Лорой тянулись медленно, как вёсельные лодки против течения. Анисим испытывал замечательный подъём духа: влюблённость, пусть даже мимолётная, была для него настоящим праздником. Он мысленно рисовал красивые картины в реалистическом ключе, и Лора помещалась там в самом центре композиции. Надо сказать, что целомудренность не была главным достоинством этих картин: Лора выглядела на них скорее как Маха обнажённая, чем как Джоконда с её знаменитой улыбкой.

Но более всего в эти дни вспоминалось Анисиму Гурарию, чёрт возьми, постукивание её каблучков по асфальту, когда она быстро-быстро шла к подъезду своего дома. Туп-туп, туп-туп! Проводивший её Анисим глядел ей вслед, и всё его взбудораженное существо ходило ходуном. Туп-туп! Спустя время, когда из памяти выветрилось почти всё, что было связано с этой Лорой, он где-то по соседству с сердцем отчётливо слышал биенье её каблучков по стылому зимнему асфальту.

Уже на второй встрече Лора сказала Анисиму, что едет в Израиль сразу после Нового года. С семьёй? Нет, пока одна, по израильской программе для молодёжи. А семья – папа, мама и брат – приедут через годик-другой. Можно ли вместе встретить Новый год? Нет, никак невозможно, хотя это было бы здорово. На Новый год заведено сидеть дома, с родными. Мама готовит жаркое с картошкой (Лора почему-то произносила «жеркое»), папа гонит праздничный самогон из чернослива. Патриархальная еврейская семья. На таких село стоит, да и город держится.

Разговор, понятно, вертелся вокруг Лориного отъезда и Израиля, как деревянные лошадки вокруг карусельного столба. Что-что, а историческая родина никак не укладывалась в романтический план Анисима. Израиль, более того, возник на его пути к цели как ловчая яма или же как забор, через который нелегко перемахнуть. Не без оснований видя в еврейской стране серьёзное препятствие, Анисим Гурарий невольно чувствовал к ней нерасположение. Если б Лора намеревалась отправиться в Австралию, где кенгуру, говорят, скачут по улицам, он и к родине сумчатых испытал бы подобное чувство. Но сдаваться он не собирался.

– Да, Израиль... – задумчиво промямлил Анисим. – С моей работы туда двое уже уехали.

– А вы не хотите? – спросила Лора. – Почему?

– Не знаю, – сказал Анисим. – Не тянет. Привык здесь жить. Кругом всё своё, и язык...

– Ну, это вы так думаете, – без нажима возразила Лора, – что «своё». Мой папа тоже так думает.

– Да? – оживился Анисим. – Почему?

– Привычки не хочет менять, – объяснила Лора. – В Хайфе его племянница живёт, моя двоюродная сестра. Он туда ездил. Вернулся и говорит: «Наших полно, а живут скучно. Привычки уже не те».

– Зато здесь весело, – сказал Анисим, испытав почему-то внезапную неприязнь к этому придирчивому русскому папе. – А он кто?

– Кто? – переспросила Лора.

– Да папа.

– Инженер-механик, – сказала Лора. – Всё сам делает, своими руками.

– Изобретатель, что ли? – чуть съязвил Анисим.

– Ну, не то чтоб изобретатель... – сказала Лора. – Но самогонный аппарат сам сконструировал и построил. Компактный.

– Да сейчас никто уже самогон не гонит! – удивился Анисим Гурарий. – Может, в деревне...

– Никто не гонит, а он гонит, – не согласилась Лора. – Он у нас упрямый человек, – в её приятный голос вплелась медная нить упрямства, унаследованного, наверно, от самогонщика.

Анисим вздохнул и перевёл разговор на другие рельсы. Папа гонит – и пускай себе гонит на здоровье, тем более что сейчас за это, кажется, не сажают.

– Значит, на той неделе – всё... – сказал Анисим и скорбно, почти обречённо покачал головой, как будто Лора собралась на той неделе пересечь Стикс в сопровождении Харона. – Вы уезжаете.

– Ну да, – совершенно безжалостно подтвердила Лора. – Знаете что? Езжайте тоже! В Иерусалиме есть зоопарк, там живут только такие звери, о которых написано в Библии.

– А другие не живут? – уныло поинтересовался Анисим. – Рыбы?

– Другие живут в Тель-Авиве, – сказала Лора. – Львы, например. Папа там был, рассказывал. Люди едут, а львы идут свободно.

– Тут уже будет не до скуки, – сказал Анисим.

– У вас же опыт! – нажимала Лора. – Вас на работу возьмут в зоопарк!

– Надо обдумать, – сказал Анисим. – При определённых условиях...

– Каких? – полюбопытствовала Лора.

– Ну, каких... – не открылся Анисим Гурарий. – Сначала вас надо проводить, а потом уже думать.

Лора смотрела с интересом.

– Давайте на выходной поедem под Москву куда-нибудь, – предложил Анисим, – я даже знаю куда. В субботу поедem, в воскресенье вернёмся. Снег, лес. Настоящая русская зима. На машине час езды.

– А что мы там будем делать? – не жеманясь ничуть, спросила Лора.

– Прощаться, – со значением глядя, сказал Анисим. – Что хотим, то и будем.

– Всё-всё? – спросила Лора.

– Ну да, – сказал Анисим.

– Для любви или просто так? – настырно уточнила Лора.

Таким вопросом влюбчивый Анисим был уязвлён до глубины души.

– Для любви, – грустно и твёрдо ответил Анисим Гурарий. – По-другому не бывает.

Так решили, так и сделали: поехали в Старую Руссу. И была суббота, и было воскресенье. И пел петух на рассвете, топчась меж рогов красного быка.

Своими увлечениями Анисим Гурарий всегда рулил сам: когда начинать, когда притормаживать и останавливаться. А тут вмешалась неодолимая сила – судьба или случай, какая разница. Лора села в самолёт и улетела в Тель-Авив, и след её простыл в зимнем сером небе. Влюбчивый Анисим никак не мог повлиять на ход событий, и это просто раскатывало его душу, как скалка раскатывает комок теста по разделочной доске. Его девушка, такая хрупкая, с такими тонкими запястьями, взяла и улетела. Девушка, в которую он влюбился. Которая говорит глубоким грудным голосом и так трогательно произносит это, казалось бы, совершенно расхожее слово «жerkое». А каблучки по мёрзлому асфальту: туп-туп! Это же с ума можно сойти, биться головой о стенку! Взяла и улетела, без всякого на то его согласия. Он чувствовал себя униженным глупыми обстоятельствами, которым не мог противостоять и которые, строго говоря, над ним надругались. Это можно было стерпеть, но вынести это было трудно.

Сам Израиль, конечная цель такого несвоевременного, в один конец, отъезда Лоры, не вызывал в грустящей душе Анисима озлобления или досады. Израиль тут был ни при чём, на его месте могла оказаться другая страна, Америка или Германия. На родине предков Анисиму побывать не довелось, зато года три назад он провёл отпуск недалеко оттуда – в турецкой Анталье. Да и в Иерусалим он планировал обязательно съездить когда-нибудь. Все говорят, что там красивая природа, море, как на курорте, и финики растут прямо на улицах. Это даже хорошо, что Лора поехала именно в Израиль – там тепло, повсюду цветы, там ей будет легко. И ведь это очень интересно чувствовать, что когда-то, при царе Горохе, твои далёкие предки там жили и кормились этими самыми финиками, а не грызли подмосковную кислую антоновку.

А Анисиму Гурарию было совсем нехорошо. Та ночь с субботы на воскресенье никак не выходила у него из головы, его душа, куда бы он ни шёл, оставалась повёрнута к ней лицом. Уже месяц прошёл, а ему казалось, что день ещё не кончился и всё это случилось только вчера. Так был устроен Анисим Гурарий, и это, если присмотреться получше, никому не приходилось в тягость.

В зоопарке, в отделе снабжения, коллеги дивились виду и состоянию Анисима Гурария: он был подавлен, и это вызывало тревогу. На все заботливые вопросы сослуживцев он отвечал вымученной улыбкой:

– Да нет, всё в порядке... всё хорошо.

За его спиной шептались: «Опять влюбился, это точно. Несчастливая любовь. Главное, чтоб не удавился». Коллеги тепло к нему относились и заботились о нём: несли чай в кружке, коржик.

На исходе месяца после Лориного отъезда Анисим слёг. Врач сказал обычное: нервное истощение, депрессивный синдром. Нервы, действительно, были никуда – Лора, загорававшая на средиземноморском берегу, чудилась Анисиму на каждом шагу, за каждым поворотом. От этого и пень лесной сошёл бы с ума, что ж тут говорить о влюбчивом Анисиме Гурарии.

Болезнь было тускло: зашторив окна, Анисим валялся на диване носом к стене, пил капли и, в тумане времени, не отличал день от ночи. Ему представлялся вечнозелёный Израиль, куда уехала ко-

варная Лора, оставив его в снежной серой Москве. В Израиле разгуливали стройные молодые люди, играла музыка и пели птицы. Иногда Анисим видел со стороны самого себя, прогуливающегося вместе с молодыми людьми, – в штанах-бермудах, грызущим фисташки. Лора на своих каблукках поспевала рядом, он насыпал ей в ладошку орехи из кулька.

Эти милые картины рождались в голове Анисима сами по себе и независимо жили своей жизнью. Мозг, соображал Анисим, был разделён, таким образом, с телом и тоже существовал отдельно, невдалеке. Это он и рисовал прелестные картины, от которых невозможно было отвести глаз, и направлял мысли Анисима на темы, которые раньше его не занимали, тоже он. Лёжа на диване, Анисим Гурарий был благодарен своему мозгу, он им восхищался – этот дивный аппарат воплощал его мечты в действительность, правда, виртуальную, но от этого ещё более прекрасную и заманчивую. Он чувствовал тепло израильского солнца, ощущал вкус фисташек во рту. Лора, держа его под руку, шагала рядом – туп-туп! – по набережной, вдоль синего моря, и душа Анисима пела и ликовала. А он всё мечтал и воображал, и незнакомая заманчивая даль бегущей лентой разворачивалась перед ним. Он ощущал себя и там, и здесь, и эта двойственность была мучительна и сладка. Чаши весов подрагивали, фисташки понемногу перевешивали антоновку. Душа Анисима беспокойно поворачивалась с боку на бок и не могла найти себе места. Решение бесповоротно в ней вызревало, оно должно было вот-вот выстрелить, как острière листа из зелёной весенней почки.

Жизнь кажется лёгкой и скользкой, если не нагружать её камнями придуманных осложнений. Надо прийти в себя, побриться и ехать на историческую родину, к Лоре.

Так Анисим и сделал.

Случается так, что ветер дует с востока на запад, а птица летит с запада на восток. Иногда события обрывают повода и мчат невесть откуда и куда, не придерживаясь никаких предположений, догадок и доводов разума.

В ночь перед отъездом зазвонил телефон, и Анисим услышал голос Лоры:

– Извиняюсь, что раньше не позвонила! – заливаясь хохотом, сказала Лора. – Никак не получалось, понимаешь! Я тебя помню, а ты меня?

Значит, помнит! – грянуло, как в колоколе, в ночном тёплом теле Анисима Гурария. А хохочет от радости!

– И я, и я! – кричал в трубку Анисим. – Как ты там?

На этот непростой вопрос Лора развёрнутого ответа не дала, ограничившись проходным и ничего не значащим «хорошо, всё в порядке». Зато она сообщила, что живёт под Тель-Авивом, в какой-то специальной деревне, у дальних родственников папы-самогонщика. Запинаясь от волнения, спеша, Анисим открыл, что завтра вылетает. В ответ Лора продиктовала номер своего телефона и деревенский адрес. Конечно, телефон – очень полезное изобретение, но оно совершенно не подходит для того, чтобы живые горячие люди, задыхаясь в прибое счастья, говорили посреди

ночи по проводам или пусть даже по мобильнику, вовсе без проводов.

Назавтра, едва усевшись в своё лётное кресло и пристегнувшись ремнем, Анисим освобожденно задумался над тем, что чудеса всё же присутствуют в нашей жизни. И дело тут было не в том, что вдруг, ни с того ни с сего, появилась Лора, и всё изменилось, и всё пошло-поехало по другой дороге. Зоопарк на Большой Грузинской, с его львами и верблюдами, с его заботливыми сослуживцами из отдела снабжения, — всё это вдруг перестало его интересовать и исчезло из поля зрения. Пространство было теперь занято Лорой, маленькой, хрупкой Лорой; ни для кого другого там не оставалось места. Это, конечно, было чудо, но Анисим Гурарий, слепо уставившийся в иллюминатор и даже прозевавший взлёт, брал шире. Вокруг, размышлял он, полно чудес, а мы их не различаем, потому что привыкли и думаем, что всё так и должно быть. Вот, например, взять человека, обыкновенного человека. Он как — чудо или нет? Вот в чём вопрос! — блаженно рассуждая, повторял вслед за Гамлетом, ничуть об этом не догадываясь, Анисим Гурарий. Человек — чудо из чудес или природная вещь?

Чем ближе Анисим Гурарий подлетал к Лоре, тем больше он склонялся к первому предположению: чудо. Действительно, что тут голову ломать: цветные шарики под бровями видят, уши слышат, нос чует, язык отличает вкусное от невкусного, голова соображает и всё подводит к общему знаменателю; это ведь не просто так. И хотя в зоопарке на Большой Грузинской придерживались иного мнения, Анисим сомневался в том, что человек произошёл прямоком от обезьяны. Может, дело обстояло как раз наоборот.

Долетели благополучно. На дворе стояла тёплая южная ночь. Завтра же он поедет в эту специальную деревню с каким-то африканским названием, к Лоре, и начнётся новая жизнь. Да она уже и началась — как только он ступил на эту приветливую землю, где его поздравили с приездом на ПМЖ, дали важные государственные документы с гербом и даже деньги на карманные расходы. Чиновник говорил по-русски, ему было скучно коротать ночь в одиночестве, и он затеял с Анисимом лёгкий разговор: кто да что, да где работал, да есть ли родные в Израиле, и если нет, то как же так. Испытывая праздничный подъём, Анисим беззаботно признался, что родных нет, зато есть бывшие сослуживцы, которых надо будет обязательно разыскать; они, по слухам, неплохо прижились и устроились. Сослуживцев чиновник не припомнил, зато рассказал, что до Лориной деревни рукой подать — минут двадцать на автобусе.

Приятно проведя время, Анисим Гурарий отправился в гостиницу, а наутро, позвонив хрупкой Лоре, сел в автобус и поехал в специальную деревню.

К немалому смущению Анисима Гурария в деревне его ждала организованная встреча. Подойдя к жилищу родственников Лоры, он увидел, как из дверей дома выкатился клубок молодых людей в ермолках, в сельских чёрных костюмах и белых сорочках. Молодые люди принялись петь весёлую песню на еврейском языке и водить хоровод вокруг Анисима, который топтался посреди почёт-

ного круга, пока на пороге дома не появилась Лора. На девушку была надета чёрная широкая юбка, её мягкие ореховые волосы выбивались из-под коричневой косынки, туго обтягивавшей голову. Растволкав хоровод, Анисим взбежал по ступенькам крыльца – но Лора предостерегающе вытянула вперёд ладошки:

– Нельзя, нельзя!

– Как нельзя?! – потерянно спросил Анисим.

– Никак! – ответила на это Лора и улыбнулась. – Никак, и всё.

Потом поговорим.

«Потом» состоялось через полчаса, после знакомства с роднёй папы, которой Анисим был недостоверно представлен как «старый знакомый». Сели за стол, выпили по рюмке, закусили куриным паштетом с халой.

Родич папы-самогонщика, дядя по линии мамы, был одет, как все мужчины в этой деревне, – чёрный костюм сельского покроя, белая рубашка, чёрная ермолка. Анисим выслушал немало добрых слов в свой адрес: в его лице избранный народ пополнился ещё одним блудным сыном, вернувшимся в Святую землю, на родину предков. О Лоре и цели приезда Анисима не было произнесено ни слова. Сидя за столом, Анисим томился и строил догадки, к которым не мог подобрать ни одной вразумительной разгадки.

Всё имеет свой конец, кроме бесконечности, к которой мы не имеем никакого отношения. Кончилась водка на столе, кончился паштет, кончилась хала. Анисим с Лорой вышли в палисадник и уселись там на лавочке, под апельсиновым деревом. Оранжевые шары свешивались с веток, птицы лениво переговаривались друг с другом.

Анисим не знал, с чего начать разговор, и для верности решил зайти в обход.

– Ну, ты как, вообще? – спросил он Лору.

– Нормально, – сказала Лора, избегая смотреть на Анисима.

– А эти ребята для нас пели? – спросил Анисим. – Которые плясали?

– Для тебя, – объяснила Лора. – Ты еврей, вернулся домой, вот они и пели. У нас так положено.

– У нас? – уточнил Анисим.

Лора свела ладошки в кулачки.

– У религиозных, – сказала Лора. – Я теперь религиозная. Эта вся деревня религиозная.

– А... – деликатно сказал Анисим Гуарий. – Давай поедем в город, у меня там гостиница до конца недели.

– У нас не полагается, – сказала Лора. – Ты не религиозный, а нерелигиозный еврей хуже голя, хуже козла и барана.

Анисим подумал, что Лора пошутила, и шутка ему не пришлась по вкусу.

– Но мы же с тобой... – Анисим понизил голос до шёпота, как будто апельсиновые шары могли его услышать, – ...были вместе. Перед твоим отъездом.

– Ну и что! – досадливо махнула кулачком Лора. – Один раз не считается!

Тогда Анисим Гуарий, озадаченный таким подсчётом, решил двинуть напролом:

– Давай ещё разок, а, Лор? Я ж к тебе сюда ехал, а не к этим певцам!

– А ты мог бы стать религиозным? – помедлила с ответом Лора.

– Ну да, – неуверенно промямлил Анисим. – Я просто об этом как-то не думал. А что для этого надо?

– Надо начать с обрезания, – по-деловому сказала Лора. – Это необходимо. Здесь, в деревне, и сделаем. Да?

Предложение было неожиданным и застало Анисима Гурария врасплох. Он подумал, прикинул и отказался со смущённым сердцем.

Неделя шла к концу. О возвращении в Москву, на службу, Анисим Гурарий даже и не задумывался: израильская жизнь ему понравилась, а встреча с Лорой, сложившаяся совсем не так, как он себе представлял, оставила в его влюбчивом сердце скорее недоумение, чем ядовитую печаль. Перебирая в памяти обстоятельства, приключившиеся с ним в специальной деревне, он всё больше утверждался в уверенности, что ещё неплохо выпутался из этой необыкновенной истории. Теперь следовало отыскать какой-нибудь уголок, где можно было бы душевно обустроиться, пойти на работу и начать если и не новую жизнь, то хотя бы продолжить, с поправками, старую.

В поисках зоологической работы он отправился в сафари. Парк поразил его своим размахом и богатством: здесь было щедро представлено всё, что бегают, летает, плавает и ползает, а дюжина львов на выгороженной территории, за забором, жила дикой жизнью, не обращая никакого внимания на посетителей в их автомобилях с закрытыми наглухо окнами. Замечательно было ещё и то, что по-русски здесь не говорили только звери.

В слоновнике, к обитателям которого Анисим, ещё со времён Большой Грузинской, испытывал тёплые, почти родственные чувства, он встретил уборщика по имени Володя, своего ровесника. Володя оказался природным дрессировщиком, человеком высокого полёта фантазии: он собирался открыть в Тель-Авиве уголок Дурова, ни в чём не уступающий московскому.

– А что! – развивал Володя свою плодотворную мысль. – Мышей тут у нас полно задарма, тройку собачек я с собой привёз из Кривого Рога, да медвежонка, да змей восемнадцать метров, а обезьянку прикуплю. Главное – дрессура! Это главное. Ты понял?

Насчёт работы для Анисима дело тоже складывалось неплохо. В дирекции сафари к Володе из Кривого Рога относились с почётом-уважением как к будущему владельцу уголка Дурова. Зоологического занятия, связанного с закупкой и распределением кормов, не нашлось – место было занято, зато можно было без промедления приступить к труду под названием «страж ворот». Название Анисиму Гурарию понравилось, да и кому бы оно, интересно знать, могло не понравиться – от него так и веяло чем-то рыцарским, даже ветхозаветным.

Плюс твёрдая зарплата. Плюс социальные.

– Соглашайся! – уговаривал симпатичный Володя. – Сидишь на вышке, жмёшь на кнопки. И это же сафари, а не какой-то дровяной склад! А потом я тебя в уголок Дурова возьму.

Башня с обзорной кабинкой наверху возвышалась у ворот, ведущих на львиную свободную территорию. Страж ворот сидел в кабинке, перед пультом управления, и неотрывно следил за тем, чтобы накопитель, расположенный между двумя воротами – вторые были заперты на электрический замок, – наполнялся машинами посетителей. Убедившись, что накопитель полон, страж жал на кнопку; въездные ворота захлопывались. Посетители в своих машинах, таким образом, оказывались запертыми на пяточке огороженного накопителя, куда никакой лев, даже если это ему взбредёт в голову, не сможет попасть и продолжить свой рейд в мирный зоопарк, где, знакомясь с разнообразием животного мира, безмятежно гуляют дети со своими родителями. Убедившись, страж жмёт на другую кнопку, створки вторых ворот расходятся, и отважные путники въезжают на львиную территорию. Вот, собственно, и всё о работе стража ворот.

За полчаса Анисим Гурарий освоил эту науку досконально и уже назавтра, в восемь утра, заступил на смену в высотной кабинке. В рюкзаке он принёс с собою две банки отменного пива «Будвайзер», поставил их на крышку пульта управления створками и, прикладываясь, вполне удовлетворённо бормотал себе под нос:

*На горе растёт ольха,
Под горю вишня.*

Глоточек.

*Парень любил цыганочку,
Она замуж вышла.*

Я люблю наше сафари и часто туда заглядываю. Проезжая мимо сторожевой башни, машу Анисиму Гурарию рукой, и он машет мне в ответ.

январь 2014

Игорь Иртеньев

ЦЕПЬ СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ

* * *

Пройдут какие-то там годы,
Один, ну два десятка лет,
И все явления природы
Практически сойдут на нет.

А если уцелеет что-то
И общей избежит судьбы,
То лишь изжога да икота,
Ну в крайнем случае грибы.

* * *

Я гляжу на мир с тоскою –
Он совсем не шоколад.
Что бы сделать мне такое,
Чтобы жизнь пошла на лад?

Чтоб исчезли без следа бы
Зависть, злоба и вражда,
Чтоб евреи и арабы
Подружились навсегда.

Чтобы люди стали братья,
Но уменьшились числом,
Так, чтоб мог их всех собрать я
За обеденным столом.

* * *

С годами становясь всё старше
И в корень зла всё глубже зря,
Я побывал на русском марше,
В четвёртых числах ноября.

Потусовался там немножко –
И на еврейский марш скорей,
Где мне и проломила бошку
С Болотной пара хиппарей.

* * *

Жизнь – цепь случайных совпадений,
 Неиссякающий сюрприз.
 В ней масса взлётов и падений,
 И снизу вверх, и сверху вниз.

Вот вам пример. Замечу, кстати,
 Что смысла в нём большого нет:
 Один мужик упал с кровати
 И умер через двадцать лет.

А мог бы, вы уж мне поверьте,
 Когда бы на полу он спал,
 Нелепой избежать бы смерти,
 Ведь с пола б точно не упал.

БАЛЛАДА О ПОСЛЕДНЕМ

Длинная очередь грозной стеной
 Стояла, как Родина-мать,
 И вдруг последний, крикнув: «За мной!»,
 Добавил: «Не занимать!»

Не знаю, кто был он, тот аноним,
 Чей подвиг в веках не умрет,
 Но вряд ли бы кто-то встал перед ним,
 Вздумай он крикнуть: «Вперёд!»

* * *

*По людным улицам Москвы разъезжает
 передвижная синагога, т. н. мицва-танк.
 Проходим евреям-мужчинам равнины из
 мицва-танка предлагают совершить
 молитву, женщинам – дают советы по
 соблюдению обрядов.*

Брёл я как-то утром по Солянке,
 С лёгкого, признаться, бодуна.
 Вдруг навстречу мне на мицва-танке
 Три раввина едут. Опа-на!

Вот так неожиданная встреча,
 Вот в такой попал я переплёт.
 Вы откуда, ребе? Издалече.
 А куда? Куда Господь пошлёт.

Видно, хочешь ты опохмелиться?
 Нет проблем, держи, давай стакан

И считай, что это наша мицва,
Зай гезунд, за нас с тобой, братан!

Мы своё призванье не забудем,
Кстати, не желаешь ли мацы?
Свет и радость мы приносим людям,
Как весну приносят нам скворцы.

Если вдруг еврею станет туго –
В небе ли, на суше, на воде,
Три раввина, три весёлых друга
Не оставят слабого в беде.

...И умчалась, ветер поднимая,
Грозная еврейская броня
К берегам далёкого Синая,
К новой жизни возродив меня.

* * *

...Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
Тот, кто с мылом рук не моет,
Тот рискует не шутя.

Руки мыть необходимо
Раз как минимум в году,
Ведь руками хлеб едим мы,
Как и прочую еду.

Ими женщин обнимаем,
Сеем, пашем и куём,
Ими деньги мы снимаем,
А потом в карман суём.

У кого они нечисты,
Пусть пеняет на судьбу,
Хрен возьмут его в чекисты,
Будь семь пядей он во лбу.

Знал бы раньше я об этом,
Драил руки б от души
И не вкалывал поэтом
За несчастные гроши,

А пошёл служить в наружку,
Что гораздо веселей.
...Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей.

* * *

Нет в мире правды, господа,
И счастья тоже нет,
И я жалею иногда
О том, что я поэт.

На что уж Бродский был кобель,
Куряка и алкаш,
Но получил свой Prix Nobel
Земеля бывший наш.

А тут не куришь и не пьёшь,
Про баб забыл давно,
Но так без цацки и помрёшь,
Как полное говно.

* * *

Два старых мудака приехали в Израиль...

Алла Боссарт

Два старых пердуна –
Прошу прощенья, дамы, –
С какого бодуна
Приехали сюда мы?

Ведь тут не все подряд,
Что странно, согласитесь,
По-русски говорят,
В горошек носят ситец.

И пьяных мало тут,
И дети не сопливы,
Хоть кое-где растут
Постылые оливы.

Не все тут very good
И просто «good» без «very»,
Но нас тут не ебут,
Меня по крайней мере.

* * *

Нет, не в есенинском стогу,
Не в шалаше, как В. И. Ленин,
На левантийском берегу
Лежу, исполнен праздной лени.

На свете лучше места нет,
Спокойно, сухо и тепло там,
Не зря Сусанин сорок лет
Водил евреев по болотам

В сопровожденьи чад и жён,
Пока не молвил горделиво:
«Здесь будет город заложен
И примет имя Тель-Авива!

И пронесёт его в веках
Через преграды и невзгоды
На гордо поднятых руках,
Пугая прочие народы.

Не я ль от самой Костромы,
Надеждой ваши души грея,
Через библейские холмы
Довел до цели вас, евреи?

Когда бы жизнь я за царя
Отдал, что прописал мне Глинка
Её прожил, наверно б зря,
Как в поле жалкая былинка.

Но я не Глинка, я другой,
Ещё неведомый мужчина,
И мне царёвым быть слугой,
Признаться, как-то не по чину.

Пусть даже этот царь – Давид,
Особой разницы тут нету,
Мне неприятен власти вид,
И дух мой чужд сему предмету.

Мне тяга к странствиям мила
И к перемене мест охота,
Она сюда и привела
Меня из отчего болота.

А дивный град я заложил
Не под проценты ломовые,
Но чтоб народ здесь вольно жил
И не сгибал бы жёсткой выи,

Читал бы день и ночь Тору,
И пил не воду из-под крана,
А только водку поутру,
И помнил русского Ивана».

УЛИЦА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ

Светлана Марковская

НА ДВОРЕ ПРАВА

* * *

Истерит весна, костерит начальство мужик. Сам стоит, газон поливает с бурьян-травой, «Что за жизнь?» – говорит, вода из шланга бежит, пожилой мужик, с лохматою головой. Из окна жена – «Не ори!» – ему говорит, а сама толста, лет полста ей, в руке кусок. А вода течёт на траву, а трава горит, а мужик не слышит, стоит на траве босой.

Под кустом два пса, этот спит, а тот стережёт. У куста вверху завитушки, сбоку вихры. У куста внутри птичий дом живёт небольшой, у куста внизу мыший глаз торчит из норы.

Из окна жена бросает в траву кусок. И к нему два пса бегут, два скворца летят. Мышь быстрее – схватила, и в норку – скок. Псы опять легли, скворцы на ветке галдят.

А мужик залил траву до самых бровей. И ругает жизнь, и лохмат, и давно небрит. А его жена идёт будить сыновей.

А вода бежит, а весна красна, а трава горит.

ПРО СЕВОСТЬЯНОВЫХ

Мой сосед Севостьянов

пьян с середины прошлого века.

По профессии он – настройщик баянов,

что выдает в Севостьянове культурного человека.

Жена его – Севостьянова Таня,

с прошлого века жарит рыбу.

Много рыбы в мировом океане.

У Севостьяновой Тани широкий выбор.

Ещё есть Севостьянов Коля.

Он безумен, как Ганнибал Лектор.

Коля посещает вечернюю школу.

А по субботам – сатанинскую секту.

Сегодня Севостьянов-старший нас покинул.

В смысле – умер. Такая жалость.

А ведь с прошлого века, с самой его середины

в семье Севостьяновых ничего не менялось.

Таниной рыбой по-прежнему пахнет в подъезде.

Коля творит по отцу свою странную мессу.

А сам Севостьянов в гробу, надушен и прибран.

И главное, впервые с прошлого века – трезвый.

ПРО НИКОЛАЯ

У соседа Николая две собаки, обе лают, у него семья большая – внуки, дочери, зятья. У него хозяйство ладно, у него жена нарядна, у него пирог на свадьбу, а на поминки кутья. Во хлеву стоит корова, во сарае трактор новый, во саду ли, в огороде всё топорщится наверх, Николай рукой пудовой гнёт баранки и подковы, ходит по избе тесовой широко, как землемер. И такое благолепье, и такое время летне, и такое тут столетье на дворе – не передать. Николай гоняет слепня, а под лавкой брага крепнет, и издалека заметна эта божья благодать.

...Но однажды – мы-то знаем – день застанет Николая то ли в поле, то ль в сарае, но случится этот день. Кинет рукавицу оземь, плюнет нервно в стойло козам, без дорог пойдёт по росам в восьмиклинке набекрень.

И в пределах этих дальних сгинет просто и печально, станет без вести пропавший для соседей и родни. А жена, устав в разлуке, как-нибудь расскажет внукам, что их дед, такая сука, жил и помер ради них.

ГОРОД ЭДЕМ

Вокзалы – для бедных поэтов и беглых любовников.

Купи на дорогу ирисок, мы едем совсем.

Ключи от квартиры повесим на ветку шиповника,
Плацкартой во вторник отправимся в город Эдем.

В Эдеме поселимся где-то на маленькой улице,
С названьем весёлым и странным, допустим «Не ври»,
Детей заведём, черепаху и пёструю курицу,
И будем на дудке играть от зари до зари.

Потом мы, наверно, красиво и быстро состаримся,
И тихо умрём, никому не доставив проблем.

Придут поминать короли нас, паяцы и пьяницы,
На этом, пожалуй, и кончится город Эдем.

* * *

Старушка на курьих ножках, в девичестве королева,
На кофточке тощей брошка, безумица, божий пух,
Идёт по кривой дорожке, идёт, до того нелепа,
Бросает синицам крошки, псалмы распевает вслух.

Дойдёт до конца сюжета, достанет китайский зонтик,
Поймает попутный ветер, взлетит, да и сгинет с глаз.
А мы в предзакатном свете увидим на горизонте
Сверкающую комету, летящую мимо нас.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Борис Крутиер

ШКОЛА УЧИТЬ ПРАВИЛАМ

Отважное сердце бьётся, трусливое – стучит.

Честный человек крадёт у государства меньше, чем оно у него.

Ничто так не способствует равенству, как всеобщее бесправие.

А то, что правда всегда в конце концов побеждает – самая большая ложь.

Многие исторические роли сыграны случайными личностями.

Убеждения как якорь: одних – держат на плаву, других – тянут на дно.

Мы уже научились жить без царя в голове, но без царя на троне – ещё не можем.

Цену свободы диктует спрос на неё.

Есть дальтоники, которые всё видят в розовом цвете.

Умная власть не мешает народу верить, что принадлежит ему.

Вначале был обычный бардак, хаос начался, когда стали наводить порядок.

Справедливость перешла на другую сторону, увидев, кто на ее стороне.

Пойти с героем в разведку легче, чем вернуться.

Все люди были братьями, пока не стали соседями.

Что может быть прекраснее восходов на закате дней!

Сколько друзей потеряно в поисках врагов.

И у кредита доверия своя процентная ставка.

Когда из двух зол выбираешь большее, меньшее получаешь в подарок.

В женской интуиции есть что-то от чутья охотничьей собаки.

Тёпленькое местечко в аду бронируется ещё при жизни.

Никто так не любит помахать крыльями, как рожденные ползать.

Каким прекрасным казалось будущее, до того как наступило настоящее.

Не помнящих добра склероз поражает чаще, чем не помнящих зла.

Надежды живут, пока есть кому их хоронить.

Жизнь – это театр, в который каждый приходит со своим репертуаром.

Это каким же надо быть тупым антисемитом, чтобы утверждать, что все евреи – умные.

Плох тот диктатор, который не считает себя демократом.

Никто так трепетно не ждет явления Человека, как Мессия.

До того как нашёл женский идеал, был идеалистом.

Ничто так не портит любовный роман, как его продолжение.

Умная женщина надеется на счастливый случай больше, чем на свой ум.

Пока жена не соврёт, муж не поверит.

Если человек не говорит всего, что думает, значит, он думает, что говорит.

Внутренний голос подсказывает когда надо промолчать.

За обещанный в конце тоннеля свет плату взимают ещё при входе.

Поздно хвататься за голову, если она уже лысая.

Чем запретнее плод, тем больше в нём витаминов.

Вера в загробную жизнь будет жить, пока люди буду умирать.

Теряя совесть, находишь то, что она не позволяла иметь.

Школа учит правилам, жизнь – исключениям.

С гениями всегда сложно – уж больно у них всё просто.

Чтобы показать себя с лучшей стороны, женщине всю жизнь приходится вертеться.

Старческие болезни хороши тем, что с ними можно дожить до самой смерти.

Преступник считается неопасным, если у него достаточно денег, чтобы быть отпущенным под залог.

Покаяться никогда не поздно, поздно можно только согрешить.

Всё, что власть не успела отобрать у народа, остаётся людям.

Не бойся одиночества, оставшись в дураках! Таких, как ты, много.

Краткость – вежливость таланта.

Ни один строй не любит тех, кто не хочет ходить строем.

Зануда – это человек, который рассказывает вам то, что вы собирались рассказать ему.

Правовое поле чудес.

Сильной женщине легче остановить коня на скаку, чем себя.

Лучше зимой ждать хорошей погоды у Красного моря, чем летом – у Белого...

Ничто так не портит личную жизнь, как семейная.

Пить можно и из чужого стакана, но вино должно быть своим.

Наталья Ким

МНОГОТОЧИЕ СКОБКА ШПРИХ

* * *

у многодетной мамочки
в одной заветной папочке
лежат подшивкой галочки
иные даже в рамочке
вот в цирк свозила – галочка
от вшей лечила – галочка
скопилла всем на ролики
три галочки пиши
зачем ей эти списочки
зарубки знаки рисочки
отчётные записочки
наверно для души
а что в такой же папочке
у многодетной папочки?
в ней сын и дочки-лапочки
числом пока что две
я думаю что галочки
той папочке до лампочки
да здравствуют родители
без галок в голове

* * *

вспомнить буквы на пижаме
пять цветков на занавеске
плоских рыб из синей лески
на запах халатик мамин
и в стакане яйца всмятку
ложку с рожей обезьянки
ничего нет гаже манки
маскируют ей облатку
жутко горькую пилюльку
с попы чтоб сошла экзема...
вспомнить детство не проблема
только в нем застряла пухлякой
муть тревоги шерсть вопроса
в твой ли адрес эти слёзы?..
ковыряем мы занозы

одиночества колосса
 детских дней когда родные
 были рядом были вместе
 жизнь спеклась в слоёном тесте
 нету тех хоть есть иные
 кто обузой кто дарами
 появился на орбите...
 всё неважно важно только
 вспомнить буквы на пижаме.

* * *

Слово небрежное сплюнулось камнем.
 Вот и колодец, прыг-скок – не поймала,
 бульк – утонуло. Воробышек каркнул,
 мявкнул бульдог, выпью рысь заорала –
 много на свете словесных пород:
 тля неприятная, жёваный крот,
 бляцкая россыпь наивных букашек –
 всех соберу и запрячу в кармашек,
 сверху ленточку пришью
 и на слово наплюю.

* * *

до пяти часов утра лампочка не гасла
 где б немножко раздобыть для сердчишка масла
 чтоб не тлело не робело не пугало не болело
 ожиданье без контроля
 эх моя была бы воля
 привязала б к двери сеть с меленькой ячейкой
 приходите в гости к нам вашей шайкой-лейкой
 жабры всуньте подышите
 и нах хаузе чешите

* * *

замолчи
 слова без брызганья не осталось
 отвернись
 глаза без вызова не досталось
 убери
 мячик с потёками слёзной краски
 застегни
 в памяти пуговку детской ласки

уезжай
 прямо сейчас привокзальной ранью
 забирай
 смесь анаконды с газелью и кобры с ланью
 на конверт
 маркой прилипни на веки вечны
 смерти нет
 жаль что мячики бесконечны

* * *

а как первая овца разложила молодца
 а вторая овца не с того зашла конца
 а вот третья овца лоханулась слегонца
 утирает слёзы шкурой
 надо быть упёртой душой
 воду пить решить с лица

а как первый молодец всех в гробу видал овец
 а второй молодец доказал что не самец
 третий был молодец прям бегом бы под венец
 сладкий дым в глаза пускает
 сам глаза не открывает
 вот и сказочке конец

* * *

К***

а у меня одно лёгкое – лёгкое
 а какое левое – с дырками
 и лежать нужна поза ловкая
 тенью кажется жаба с крыльями
 я имею уколы в задницу
 я лежу на кровати с пледиком
 дети ходят вокруг и ластятся
 консультируюсь в скайпе с медиком
 выздоравливать буду медленно
 быстро только лишь мухи женьяцца
 было молодо када зелено
 от годов своих не отвертисся
 летом тихое помешательство
 в буквы громкие забивала я
 то воззвания то ругательства
 то моления то камлания
 я кого ждала этой осенью
 продолжаю ждать лёгким квакая

ёжик вштырен был белой лошадью
и в тумане брёл сердцем брякая
а машинные посиделочки
в партизаньем тылу рассветные
мне зачти как старушке-девочке
амнезии кивки приветные

* * *

семнадцать лет назад почти об эту пору
нырнула мордой в пол ища алисью нору
в больницу москомтруд проехала на скорой
сложили в коридор лежать с бездомной сворой
бомжей и молодых держать в палате неча
и так сойдёт в конце концов всех как-то лечат
ей было много лет лица страшней не помню
никто бы не признал в ней человечью ровню
беззубый алый рот глаза как у младенца
и трупной синевы на горле полотенце
обрита без ресниц безброва бессловесна
ни фио ни судьбы вопросы бесполезны
лишь жалкое в ответ на реплики мычанье
ни бесу не нужна в обличьи одичанья
на месяц коридор был логовом и кровом
привыкла и меня звала особым зовом
я знала – это пить а это – вынуть судно
поверьте рядом быть совсем не так уж трудно
от теплоты речей взгляд ласково яснялся
из нечта из ничта почти что вылуплялся
какой-то человек с каким-то адским прошлым
и смерть её ждала нависнувши над поршнем
она любила суп перловый негорячий
тянулась к ложке вся взгляд медленный телячий
вдруг корчами лицо задёргалось и тяжко
обрушилась к ногам раздатчицы бедняжка
меня послали в морг с историей болезни
и там я поняла чем буду ей полезней
и в строчке где её отсутствовало фио
я имя ей дала и возраст сочинила
от тюрем и сумы привыкши зарекаться
семнадцать долгих лет забыть лицо стараться
и сердцем сострадать под пытками учиться
и помнить что с любимым любое приключится
и глядячи в экран как будто снова с ней я
она как младший гном из мультика диснея

* * *

разрешите пожить мне без имени и без семьи
 разрешите забыть кто такие родные мои
 разрешите не знать кто стрелял кто молчал кто кричал
 разрешите изъять этой нитки начало начал
 это буду не я это счастье что буду не я
 это будет история чья-то но ведь не моя
 это будет страница в учебнике или кино
 это буду не я ну а дальше не всё ли равно
 нет не всё ли равно и бессмысленно ниточка лжёт
 нет она не зашьёт ни кишки ни улыбчивый рот
 нет её не порвать не порезать не съесть и не сжечь
 я приму вас в себя ваши муки и головы с плеч

* * *

я тётенька
 с ночи в ангине
 и пофиг
 и дождик и снег
 в бреду размышляю
 как ныне
 собирается Вещий Олег
 куда для чего
 и как скоро
 планирует ехать домой
 вдруг конь у него не подохнет
 и сам он вернётся живой
 и слёз я ни разу не прячу
 подушкой ничто не глушу
 и дальше б тебя попросила
 да адрес тебе
 не скажу

* * *

М.

смотри вот я бегу тебе навстречу
 надела валенки спешу лечу и мчусь
 я проскочила все табу не покалечась
 и на брезгливом «нет» не поскользнусь
 нелепыми крикливыми скачками
 я догоняю свой бесстыдный сон
 с горящими вспотевшими очками
 спешу на наважденческий перрон

и плюхнусь на скамейку электрички
что увезёт надеюсь от себя
я захватила водку соль и спички
и возвращаюсь в небыль января
кто воду льёт тот мельницу уважит
кто водолей тот не идёт на свист
кондуктор знает всё но не расскажет
пойду спрошу кто нынче машинист

* * *

где-то здесь на картинке и я хожу
в красной шляпе и на каблуках
за окошками обморочно слежу
вон за теми в горшечных цветах
я ведь точно знаю что я нашла
и что место моё внутри
я сюда лет двадцать ослепши шла
а теперь топчусь у двери
что-то странное в этих вот есть цветах
что-то хрупко-фальшивое есть
и вполне карнавальнй зачётный страх
обращает бегонию в жесть
разевает фиалка сквозную пасть
бьёт алоз клешней в стекло
и герань так картинно сменила масть
на дерюжное волокно
каблуки несут меня прочь бегом
шляпа потная в лужу плюх
отражают окошки цветной содом
лапы кошек следы старух
магазинный воздух бульваров сныть
и ступенек неровный хор
где же место моё где ж по праву быть
где не окрик а разговор
я всё знаю про собственный отчий дом
и про некто с пустым лицом
я его не боюсь ибо в доме своём
я же с матерью и с отцом
но ведь где-то есть и моё окно
хоть не с ними но не от них
помогите мне я ищу давно
многоточие скобка штрих

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

Кирилл Рожественский *С БОЛЬШОЙ ТЕПЛОТой*

ДВОРЕЦ ФИЛОСОФЫ

Два часа ночи. Какой-то шум в общей комнате.

Выхожу – моя, ну, эта. Сна ни в одном глазу. Бегают вокруг книжных шкафов.

Оживление, бодрость и веселье.

– Что случилось?!

– Понимаешь, – говорит, – категория вечности неправильно переведена и неверно понимается. Где мой двухтомник? Я без него жить не могу! Он зеленый.

– Лук, – говорю, – тоже зеленый. Замени. А насчет вечности: представь себе, что у тебя бессонница, а у кота отпуск. Вот тебе и вечность. А вообще-то, ты ее лучше не трогай. Сломаешь. А зачем тебе это?

– А как же иначе понимать протяженность Божества во времени?

Я хотел сказать что-то разъясняющее, мягкое. Однако рот почему-то открылся и не закрывается, а в голове только Кашей Бесмертный крутится.

Помедлил и говорю:

– А хорошие яички ты покупаешь.

Еще помолчал. Пожевал губами и сказал:

– А знаешь что, давай-ка переименуем наше строение номер 4 в дом философы. Даже в дворец философы.

Мы тут же и переименовали.

Правда, входная дверь как не закрывалась, так и не закрывается.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Люди говорят, что там что-то обо что-то стукнулось, упало и взорвалось.

Почему упало? Это очень просто. Тросы ослабели – закрепить хотели.

Какие-то висюльки – вообще сняли, хотели вроде их протереть, ничего не успели и обедать ушли.

От того, что упало, конечно, ничего не осталось. Интересно другое. Рядом небольшой городок был, так его найти не могут.

Как только это упало и об землю стукнулось, сразу что-то очень большое затонуло.

И совсем в другом месте.

Как эти явления связать – никто не знает, но статистика показывает, что это случается каждые 14 минут 32 секунды.

Назвали это парными неблагоприятностями.

Один учёный расширил ассортимент пар. Скажем, неблагоприятные погодные условия, а тут как раз два завода сгорели.

Некоторые рассматривают тройные образования – триплеты. Скажем, неблагоприятные погодные, ничего не растёт, да ещё два завода сгорели. Да ещё в разных местах.

Очень перспективная теория. Помогает заранее предположить – где и какие гадости надо ждать.

А относительно этого большого чего-то раскопали, что они все какие-то колёса, запасные шестерни и даже красные ведра для тушения пожарной безопасности отдали в ближайшие деревни. Там коровы мёрзнут и огурец не растёт.

Вот они этими колёсами коров согревать будут.

Непонятно, правда, как.

Те, кто отдал им эти шестерни, обычно пробоины ими затыкали.

А ведрами будут картошку накрывать. Зелень большая, даже с небольшими ягодками.

А внизу ничего нет. Прямо не картошка, а крыжовник какой-то.

Был у них там кто-то. Что-то с чем-то всё время скрещивал, с тех пор вокруг берёза с еловыми шишками растёт. Может, его работа – этот крыжовник картофельный.

Бум!!!

Опять где-то что-то упало и недалеко. Интересно, где и что в этой паре затонуло.

Сколько ведь людей талантливых – успевай только за ними подбирать и подскрёбывать.

ЛИВАНСКИЙ КЕДР

Сказал как отрезал. Скупое. По-мужски!

– Всё! Уезжаю с молодой женой. Будем строить заводы по переработке.

– Чего во что?

– Пока не знаю. Как узнаю – позвоню или напишу.

Всё было официально, но с теплотою.

К трапу подали кофе и какие-то японские штучки на длинных зелёных прутиках.

Пожевал с одной стороны – ничего нет.

Попробовал с другой – пусто! Плюнул и выкинул.

Звонил он много. И последнее время из какого-то города, как он говорил, Чухлявая топь.

В Южном Китае, что ли? Однако говорил, что валенки промокают даже в двадцатиградусный мороз.

Какие валенки в Южном Китае?

Повестки в суд начали приходить довольно скоро.

На мой адрес, но на имя какого-то Кири ван-дер-Рогенбобена.

Я говорил – нет. Нет и нет!

Всё так запуталось, что им пришлось всё отправить в Южный Китай с припиской в город Трухлявая Ширь.

И тут даже перепутали.

Скоро они с женой и объявились.

– Ну что, – говорю, – ребёнка родили?

– Да нет, – говорят. – Условия не сгодились. В этой Трухлявой Пылище все жили в одной комнате. И с отоплением плохо. Вот мы и не рожали.

– А как, – спрашиваю, – с заводами по переработке?

– Ну, с этим, – говорят, – сильно лучше.

Оказывается, они перерабатывали подгнившую сосну.

Лиственные они тоже перерабатывали – в ливанский кедр.

Сложная технология, связанная с клеями и акварельными красками.

Сучки они рисовали вручную.

Кто-то этот кедр купил и сделал из него потолок в большом доме для молитвенных собраний.

Как только молящиеся собрались и один раз дружно вздохнули – потолок на них и упал.

Говорят, что обошлось без жертв только благодаря случайности, сказал бы, грандиозной.

Повестки в суд опять стали приходиться довольно скоро.

На мой адрес, но на имя Куру де Рубинштейноса.

Меня опять много и с надеждой спрашивали: не я ли Куру де Родригес?

– Я говорю – нет!

– А вот же написано?

– Надоели, – тогда я им сказал. – Да, – говорю, – заходили эти двое. Попить просили. И ушли. Один направо, а другой налево.

Они с собаками в разные стороны побежали и до сих пор где-то бегают.

А он ходил скучный.

Пока на лбу у него не появилась вертикальная черта.

Правой ручкой он делал движение сверху вниз, как каратисты, когда хотят разбить пару кирпичей.

Это был признак.

Что-то опять придумал.

Может, хоть в этот раз всё будет поспокойнее?!

РАЗГОВОР

– Вы слышали? Первого января в Нью-Йорке остановятся все компьютеры. Граждан призывают к спокойствию. Раздают сухой керосин и патроны.

– Да вы путаете. Сухой керосин – это же в пустыне. Саддам, бактериологическая война там и прочее. И компьютеры остановятся не первого января, а в праздник Байрам-Кызыл, там же.

– Все неверно. В связи с возможной лихорадкой в Каире останавливается вся полиграфия. У граждан просят спокойствия. День без газет – и только. А керосину там навалом. И черный порошок какой-то. Забыл, как называется.

– Перец, что ли?

– Точно – перец. Так вот, вывоз его прекращается в связи с загрязнением Нила фекалиями.

– Да это не Перец, а Перес, Шимон Перес. Израиль! И не вывоз его, а въезд всюду. Это после того, как они взорвали что-то ядерное в какой-то пустыне. Весь мир возмущен.

– Да никто там ничего не взрывал. Опомнитесь. А Перес вон катается по Малайзии. Это в Бразилии, в дельте Амазонки, взорвали. Представляете, какие тучи грязи были в этом грибе. До Нью-Йорка дошло, и там все телефоны...

– Я же говорил! Только не телефоны, а компьютеры: помните – первое января, газообразная поваренная соль, горох какой-то, патроны... Вот ведь что удивительно, как сложно люди воспринимают правду. Уж казалось бы – чего проще...

НИЗ ЭТОГО

Она сварила низ этого, небольшого. Посолила, позеленила, лучку добавила, а там еще круглые такие, прозрачные плавают. Из комнаты прямо слышно, как они в кухне в кастрюльке плавают. Она внутрь, а я в кухню. Тарелка, нож, вилка – и съел. И это, остальное, все выхлебал. Тогда она взяла такого же и пожарила. Ворчит, скворчит сковородка. Запахи во все углы проникают. Она его кастрюлькой прикрыла, все потушила и ушла.

Я в кухню. Постоял немного. И – нож, вилка, тарелка. И все. Хлебушком все подобрал-вытер и к себе ушел. Она вошла, только руками всплеснула. А чего уж руками-то махать. Все ведь уже.

Эти у нее кончились. Она взяла другого, побольше и жестче. Варит-парит. Отдельно перец, баклажаны, майонез, соль, уксус, лимонный сок. И сверху перцем, перцем – черным. А я перца-то не люблю. Она знает.

Кончила, прикрыла, укутала. А уж день-то сильно за половину убежал. Она пот с лица фартучком вытерла и ушла отдохнуть.

Я в кухню. Лежит. Большой, жестковатый. Но запах...

Стою. Думаю. Взвешиваю. Съесть – или назад пойдет.

Решил попробовать, отрезал кусочек. Ничего – решил.

И – нож, вилка, тарелка – и съел. Перчики-помидорчики подобрал, баклажанчики сжевал. Хлебушком посудку подтер. Чисто и пусто. Ну ничего нет.

А уж вечер: только голову на подушку – она прибегает. Плачет прямо. Что ж ты – говорит.

Я ведь целый день... А мне ведь утром вставать. И кот еще. Потом равнины эти. А вечером ребенок... И много еще чего наговорила. Я слушал, слушал вполуха. И вдруг подумал с большой теплотой – а ведь она, наверное, тоже есть хочет. Надо ее поощрить, поддержать как-то. И говорю:

– Знаешь что? Разогрей-ка мне вчерашнего супчика.

Мария Амор

*ТУЛАНТЫ**

*Подземный ангел роз кровавых строк
Считает прибыль на железных франках...*

Анри Волохонский

РАССКАЗ ВЕЛИКОГО И УЖАСНОГО КНЯЗЯ БОЭМУНДА II АНТИОХИЙСКОГО

Слава. Я прибыл в Левант за славой.

Антиохийское княжество мне завещал на смертном ложе легендарный Танкред, друг и соратник моего отца Боэмунда Тарентского.

Отец был одним из предводителей Великого Похода в Святую Землю, он перевел силы латинян через горы и пустыни Малой Азии, и только благодаря его отваге, могуществу и силе была отвоевана Антиохия. Он и его соратники были больше чем просто рыцари – они были настоящие герои.

До сих пор мир не видел воина, подобного моему отцу, и цель моей жизни – стать равным ему, совершить достойные его подвиги. Отец умер, когда я был еще ребенком, но слава рыцаря гремит и за гробом, о Боэмунде Тарентском рассказывают легенды. Его исключительность была очевидна даже грекам. Из всех вождей Великого Похода он единственный изумил в Константинополе византийскую принцессу. По словам мудрой гречанки, светловолосый Боэмунд Тарентский был на локоть выше самых высоких людей, широкий в груди и плечах, узкий в талии и бедрах, сложенный, как древнегреческая скульптура. Анна Комнина записала, что его «голубые глаза выражали волю и достоинство», и добавила, что «в этом муже было что-то приятное, но оно перебивалось общим впечатлением чего-то страшного». Что ж, отрадно знать, что мой отец испугал дочь базилиевса. Норманн должен быть ужасным. Судя по описанию, я похож на своего родителя как две капли воды. Я, сын славного воина и французской принцессы, тоже намереваюсь оказаться страшным для врагов и доказать собственными подвигами, что кровь предков течет в моих жилах неразбавленной!

Мой сюзерен, Иерусалимский король, Балдуин II, четырнадцать лет верно охранял завещанную мне Танкредом землю от сельджуков, арабов, византийцев и армян, дожидаясь моего возмужания. Антиохия – беспокойное место: за годы царствования Балдуину пришлось чаще сражаться за княжество, чем за собственное королевство. Но едва я достиг восемнадцати лет, я без сожаления передал правление своими итальянскими владениями Папе Римскому и отплыл в Левант, навстречу своей судьбе и будущей славе.

* Из романа «Железные франки».

Автор оставляет уничижительное отношение крестоносцев ко всем окружающим народам на их совести, не разделяя его ни в малейшей степени.

Никогда не забуду прекрасный октябрьский день 1126 года, первый день моей новой героической жизни, когда все мои десять кораблей, груженные оружием, вошли в гавань св. Симеона. Иерусалимский король предложил мне в жены свою дочь, Алису, и я был бы неблагодарным вассалом, если бы не согласился на его предложение после всего, что сделал для меня Балдуин. Алиса далеко не красавица – худенькая, черноволосая, но мне она понравилась. Впрочем, я бы женился на горбатой старухе, на черте, если бы меня об этом просил такой рыцарь, как Балдуин! И в моей Алисе таки сидит черт. Я успел вдоволь испробовать и военные схватки, и женские объятия, но только в объятиях этой женщины чувствуешь себя все время, как в битве – настороже, готовым к любому жалящему слову, к любому враждебному выпадку. Я сам бываю вспыльчивым, но надменности, капризности и гадкого характера этой Иерусалимской принцессы хватило бы, чтобы известить всех неверных во всем Леванте, если бы она не тратилась вся столь щедро на меня одного.

Не могу сказать, что я всегда безропотно терпел ее выходки, мне случалось быть с ней крутым. Женщина должна знать свое место. Но чем-то она меня привлекает. Может, как раз своей непорочностью, своим бешеным характером. Алиса создана рожать героев. Пока что она родила мне дочь, Констанцию, но, будем надеяться, родит еще и множество сыновей. За мной-то дело не станет.

Однако я прибыл на Восток не затем, чтобы воевать с женой или мирно делать с ней детей. Я собираюсь превзойти подвиги легендарных завоевателей Святой Земли – Танкреда Галилейского и Рожера Салернского! Недаром мусульмане до сих пор пугают детей их именами. Пора уже и мне заслужить столь же добрую славу. Когда я захватил крепость, в которой оказались мусульманские пленники, меня не соблазнили их трусливые клятвы уплатить за свою свободу щедрый выкуп. Я обезглавил их всех без исключения, одного за другим. И объяснил непонятливым, что именно такими методами собираюсь вести борьбу с неверными собаками. И если необходимо вдохнуть боевой дух в собственных солдат, то и их не вредно обозвать трусами и бабьем. Рыцари не должны размышлять и прикидывать, они должны следовать за своим сюзереном в огонь и в воду!

Тут, в Леванте, старожилы воображают о себе непомерно много. Но я показал и Жослену де Куртене, графу Эдесскому, и Понсу Триполитанскому, кто в Сирии хозяин! Теперь, когда моя решительность и сила указали всем франкским соседям их место, настало время расширить владения Антиохии, и я двинулся против армян. За сорок лет немирного соседства у нас накопилось множество причин не доверять армяшкам и видеть в них почти таких же врагов, как и в сельджуках. Всего несколько лет назад, пользуясь смутой и отсутствием в Антиохии настоящего хозяина, они захватили Аназарб, по праву принадлежащий нам. А нового армянского царя Киликии, Левона, уже успели прозвать Властелином Гор. Слегка преждевременно, на мой взгляд.

Как только покончу с Киликией, настанет час эмиратов Алеппо и Мосула. И полный сокровищ Дамаск, недаром прозванный Невестой Сирии, все еще ждет своего покорителя.

Я твердо намерен вести себя так, чтобы при одном упоминании моего имени друг вздрагивал, а враг – дрожал.

* * *

Князь Антиохийский подоткнул плащ вокруг себя плотнее, поправил седло под головой. Ночь безлунная, только мигают холодные звезды, ветер шуршит высокой травой, и фыркает конь. Лежать на сырой земле в тяжелой двойной кольчуге неудобно, но места тут дикие, отряд его малочисленный, ставить палатку и раздеваться было бы беспечно. Скорее бы утро, скорее бы догнать Левона и быстрым, смелым, неожиданным налетом покончить с зазнавшимся армянским царьком. Посмотрим, кого после этой встречи будут называть Властелином Гор!

Перед глазами возникла белая шея Алисы, ушко, закинутае на подушку темные волосы, мучительно захотелось обнять ее, вдохнуть запах ее пряных, сладких восточных духов. Чтобы прогнать неуместную тоску, Бозмунд принялся думать о завтрашнем бое. Надо бы придумать какие-нибудь тактические хитрости, ибо воинов у него мало, но размышлять над маневрами скучно и сочиненные с превеликим трудом ухищрения редко удается применить на деле. Мозг туманится, руки все еще ощущают приятную тяжесть меча, ноги после целого дня в седле помнят округлость конских боков, плечи по-прежнему оттягивает снятый щит. Князь потянулся, сладко вздохнул, решил, что всякие там засады и обходы – это, конечно, хорошо, но пусть ими увлекается его тесть Балдуин, а он ориентируется прямо на месте боя, тем более что для победы главное – отвага и внезапность. Завтра он отыщет этого Левона и нападет, даже если у царька окажется в десять раз больше воинов. В конце концов, один вооруженный рыцарь стоит более ста армяшек! А отряд франков, сдвинутый в тесное построение, наподобие черепахи защищенный от стрел сплошным заслоном щитов, неуязвим и врезается в ряды врагов, как нож в живот. Никто не устоит против него, Бозмунда Антиохийского! С этими приятными мыслями он провалился в крепкий сон, необходимый перед грядущими подвигами.

Из предрассветной дремы вырвали пронзительные вопли сельджуков. Сердце бухнуло от знакомых до жути звуков и погнало по жилам ярость. Он вскочил, меч сам оказался в руке, а когда оглянулся, вокруг уже вовсю кипел бой. Точнее – резня: на полусонных, растерянных франкских рыцарей налетела подлая тюркская кавалерия, и конные враги рубят, режут, кромсают полураздетых пеших франков. Пытающихся убежать турки преследуют, словно волки овец, гонят обезумевших воинов перед собой пронзительными и ужасными криками, а настигнув, срубают им головы на скаку.

Бозмунд рванулся к ближайшему всаднику, чтобы с земли поразить сельджука. Франкский меч длиннее сельджукских, но Бозмунд один, а врагов мгновенно возникло великое множество. Встать бы спина к спине с кем-нибудь из своих, он бы отбил, выстоял, но никто не отзывается, и хотя он нанес глубокую рану противнику, удар сзади сбил его с ног. Не успел вскочить, как стрела вонзилась в плечо, а вторая проткнула ногу. Тюркский боец наклонился с седла и взмахнул саблей. Бозмунд не успел ни испугаться, ни прикрыться, ни крикнуть, только резкая боль, темень и провал в небытие. Он не увидел, как оставшихся в живых рыцарей оттеснили в крохотное кольцо,

как их становилось все меньше и меньше, как последние еле держащиеся на ногах воины отбросили мечи, рухнули на колени и сдались на милость неверных. Лучше бы они погибли в бою.

Из сарацинских рядов вылетел, подобно осе из гнезда, невысокий всадник в роскошных, ярких шелках, и вся толпа истошно заулюлюкала и заорала: «Эмир Гази! Гамюштекин Гази!» Это имя франкам знакомо. Всем христианам известно, что сарацинский зверь умертвляет всех пленных и жарит детей над огнем. Гамюштекин летит прямо на сдавшихся воинов, размахивая мечом над головой, и радостно вопит: «Алла Акбар!» За ним, как рой демонов за дьяволом, скачут приспешники, налетают на безоружных пленников и рубят доблестных христианских воинов на куски. Кровь хлыщет на траву, один за другим падают в пыль славные рыцари и долетают до каменистой промерзшей земли уже лишенные рук и голов. Лишь души их уносятся напрямиком в рай.

Когда убивать стало некого, эмир велел разыскать и подать ему голову князя Антиохийского. Несколько тюрков поспешно соскочили с коней и бросились на поиски Боэмунда. Славного рыцаря легко опознать по великолепному мечу и по знаменитым длинным белокурым кудрям. Грязные руки неверного схватили спутанные волосы, свистящим взмахом сабли отсекали красивую голову от тела, нанизали ее на острие копья и поднесли заклятому врагу христиан.

Костлявой рукой в драгоценных перстнях эмир Гази II брезгливо сдернул с древка голову, из которой еще капала кровь, и довольнo скривился:

– Башку забальзамировать, оправить в серебро и доставить халифу в Багдад! – и небрежно бросил под копыта скакуна то, что осталось от прекрасного рыцаря, прибывшего на Святую Землю три года и пять месяцев тому назад, дабы совершить невиданные подвиги и покрыть себя вечной славой.

Ничтожный раб склонился за головой, и это был последний поклон, полученный на этой земле могущественным властелином одного из самых значительных владений Леванта.

РАССКАЗ СПРАВЕДЛИВОГО И НАБОЖНОГО ГОСУДАРЯ БАЛДУИНА II

Долг, долг христианина и правителя, вот чему я следовал весь свой земной путь.

Я умираю. За грехи мои не даровал мне Господь милости пасть в бою за него. Кто бы поверил сорок лет назад, что я доживу до столь преклонных годов и скончаюсь в собственной постели? Редкая в Леванте смерть и уж вовсе невообразимая для того, кто провел на войне всю свою жизнь, отдыхая только во вражеских казематах. Отче наш, сущий на небесах...

Я старался быть смелым воином и праведным христианином, с моей руки не сходили мозоли от меча, а с колен – мозоли от молитв. Многие франки втайне считают примирение христианского долга с рыцарским двойной тяжестью. Господи, ты видишь в сердце моем: я всегда знал, что, доверившись тебе, я, напротив –

вдвойне вооружен! Я был достойным и справедливым правителем, верным сюзереном своим вассалам и умелым полководцем.

Я взошел на престол в стране, которая была непрочным союзом частных владений, всю жизнь защищал Латинское Королевство от Анатолийских тюрков, Багдадского султаната и Фатимидов Египта, и оставляю за собой объединенное, мощное государство, простирающееся от армянской Киликии на севере до залива Акабы на юге, в котором сила поддерживает закон, а не устанавливает его. И пока Святая Земля успешно разделяет суннитский Дамаск от шиитского Египта, наши противники бессильны.

Мои сражения прерывал лишь плен, но любые застенки облегчала уверенность, что, когда король Святой Земли пленен, в ней продолжает царить Иисус Христос.

Сарацины считали меня жестоким, алчным, неразборчивым в средствах, прозвали Колючкой. Ну что ж, я старался быть болезненной колючкой в боку врагов. Невозможно сохранить победы великого освободительного Похода, усилить государство, править четырнадцать лет и не вызвать нареканий. Кто еще смог бы держать в узде сумасбродных непокорных баронов, каждый из которых – со своей манией величия, со своими амбициями и с твердым намерением превзойти подвиги Сида и Роланда?

Я всегда был готов воевать, но под давлением обстоятельств заключал с мусульманами и перемирия, если они были к нашей несомненной выгоде. Бог, читающий в моем сердце и знающий, что я всегда предпочитал защиту нашего Спасителя любым договорам с неверными, простит мне временные коалиции, заключенные небрежливо во имя Его.

Да святится имя Твое... да придет царствие Твое...

Я оказался последним королем Латинского королевства, участвовавшим в освобождении Святой Земли. Мне повезло внести свою лепту в невиданное чудо вызволения и возвращения наших святых христианскому миру. Это великое, бесподобное доньше деяние осеняла и поддерживала длань Господня.

Из моих соратников в живых уж никого, все ждут меня там, в Твоем, Господи, царствии... Лишь один кузен мой, Жослен Эдесский, все еще не выпускает меча из крепкой руки. Еще когда я был графом Эдесским, я призвал этого арденнского голоштанника к себе в Заморье и дал ему во владение крепость Турбессель. Мне приходилось иногда быть с ним суровым, но сегодня я могу сказать, что у меня не было более верного вассала.

Левант учит ценить то, чем могут позволить себе пренебречь европейцы: верность людей одной крови и веры. Когда франки единоклюбы, никому из мусульманских атабеков не победить нас. Правя Эдессой, я сдерживал сельджуков почти два десятка лет, а став королем, безотказно приходил на помощь северным баронам. За годы моего регентства над Антиохией я не только сохранил, но и увеличил территории княжества. Сирия знакома мне, как собственная ладонь, стратегическая важность наших сирийских владений – Эдессы, Триполи и Антиохии – всегда была мне очевидна. Однако их владельцы упорно видят в Иерусалимском короле, своем законном сюзерене, угрозу и брыкаются кто во что горазд, отстаивая свою независимость, как жёнкину честь.

Мы все повязаны общей спасительной цепью, но каждому барону она представляется кандалами. Храбрости нам не занимать, герой на герою, а помимо приключений толку от наших усилий немного, потому что отважными рыцарями двигают алчность, самолюбие и надменность, а общему делу платится лишь словесная дань. Никто не желает никому повиноваться, и каждый пытается действовать по собственному разумению. Гордыня каждого из нас – еще один гвоздь в теле Иисуса.

Госпитальеры и тамплиеры принимают все решения без оглядки на нас, а меж собой уж так дружны, что если один из орденов придет тебе на помощь, то будь уверен, что второй в этом случае даже пальцем не шелохнет! И жирующие на наших завоеваниях генуэзцы и венецианцы торгуются по поводу каждого взмаха весла. ...Хлеб наш насущный дай нам на сей день...

Византийские претензии не исчезают, как вонь неубранной падали. Чуть не каждую весну войска базилиевса пересекают Малую Азию, чтобы предъявлять свои сюзеренные права на Антиохию и попытаться отобрать княжество, завоеванное кровью франков. Правители Антиохии, надо отдать им должное, никогда не соблюдали унижительные договоры, навязанные княжеству ромеями. У греков есть силы укусить Антиохию, но нет сил ее проглотить.

Если бы мы смогли отложить в сторону наши с армянами разногласия, мы легко покорили бы всю Сирию. Но киликийские армяне глухи к голосу разума, и объединиться можно одним-единственным способом – завоевав их и заставив признать главенство Папы Римского. Вместе с моим верным Жосленом мы огнем и мечом усмирили восстание эдесских армян, но на покорение Киликии у нас, увы, не хватает сил. А ведь когда армяне встают под наши знамена, они убеждаются, что может сделать для нас Христос. В том бою, где мы совместно защищали Эдессу от атабека Мосула Бурзуки, нас было тысяча триста франкских рыцарей, пять сотен армянских всадников и четыре тысячи пехотинцев, а воинов Бурзуки было тысяч сорок. Он бросился на нас, как орел на голубку, но я изобразил отступление и завлек сельджуков на открытое пространство, и мы победили в долгом и кровопролитном бою.

Жаль, что наши походы на Алеппо так и остались регулярными и бесплодными, как покаяние грешника. Кончилось тем, что осажденные, сожрав всех собак, добровольно отдались под власть эмира Мосула, Занги. Благодаря этому Занги страшно усилился и превратился в главную угрозу.

Живем в постоянном окружении врагов, друзей на Ближнем Востоке не имеем, и благосклонны к нам лишь небеса.

К тому же постоянно приходится прислушиваться к Европе, о местных проблемах и условиях ничего не ведающей. Нести вместе с нами груз защиты Его Града французы и итальянцы не торопятся, зато категорически противятся любому нашему соглашению с мусульманами. Нет предела рвению и готовности европейцев платить за чистоту риз нашей борьбы нашей же кровью. ...И оставь нам долги наши...

Воля Господня была на то, чтобы вместо сыновей я породил четырех дочерей, сильных только норовом. Три старшие – это не женщины, это сущие фурии.

Свою наследницу Мелисанду я наотрез отказался выдать за грека Комнина. Константинополь слишком опасен. Тесная связь с Византией неизбежно привела бы к порабощению Иерусалимского королевства греческой империей. Безопаснее опираться на далекую и расположенную к нам Францию. В лице владетельного и отважного Фулька, графа Анжуйского, моя Мелисанда обрела достойного мужа, а королевство – могучего преемника. Действительно, граф Анжуйский не молодой угодник дам, но ей бы никто кроме ее Ига де Пуизе не угодил бы. Позапрошлым летом свадьба состоялась, несмотря на все ее бешенство и припадки ярости, и теперь я умираю спокойно, исполнив свой долг – оставляя сильное государство под управлением сильного рыцаря. Разумеется, у меня нет иллюзий: северные бароны, моя дочь Алиса в том числе, попытаются скинуть власть Иерусалима. Ничего не поделаешь, каждому новому королю приходится заново выбивать из своих соратников мятежный дух, но Фульк справится. Вассалы – это не жена. Если бы он не влюбился в Мелисанду, как мальчишка, он мог бы одержать верх и над ней. Не дело это, что она даже не скрывает, как нравится ей граф Яффы. Такое кончается бедой. ...И не введи нас во искушение...

Больше остальных дочерей меня тревожит Алиса. С тех пор как погиб её супруг – отважный и воинственный, но невезучий князь Бозмунд, она пытается захватить Антиохию, оттеснив законную наследницу – собственную дочь, и готова действовать самыми безумными способами. Я люблю Алису, однако закон люблю сильнее: я сослал непокорную в ее поместье Латакию и надеюсь, что это положит конец ее интригам. Что еще я мог сделать?

Ивета... Ивета, деточка моя младшенькая... Перед тобой я, наверное, виновен. ...Да будет воля Твоя... Сердце мое разрывалось, когда ты осталась вместо меня заложницей, но я не имел права соблюсти страшные условия моего освобождения: нельзя было отдать неверным земли, принадлежащие Антиохии. Это было бы для княжества началом конца, а без буфера Антиохии у всего королевства не осталось бы шанса на существование. В первую очередь я раб Божий, затем – король Иерусалимский и лишь после этого – отец. Мы каждый день рисковали своей жизнью, жизнью своих воинов, своих родных, я был вынужден рискнуть и тобой. Уже через два года я выкупил тебя за восемь тысяч динаров. Примирил свой долг венценосца и отца, как смог. ...И прости нам долги наши...

Тебе пришлось принять постриг. Теперь ты аббатиса иерусалимского монастыря, и это тоже славная участь. Упорные слухи, что мусульмане надругались над пятилетним ребенком, не позволяли мне рассчитывать на достойный брак для нее. Зато Ивета – единственная из моих дочерей, не развлекающая всё Заморье своими интригами и склоками.

Шестьдесят лет жизни, тридцать пять из них – на Святой Земле... Вот и прошли они все, как одно мгновение.

Скоро узнаю, был ли я правильным человеком на правильном месте. Был... На смертном ложе я отрекаюсь от короны самого святого в мире королевства, надеваю монашеский клобук и встречаю смерть, как положено христианину, нищим и отринувшим любые мирские соблазны. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки.

Аминь.

РАССКАЗ БЕЗУТЕШНОЙ ВДОВЫ АЛИСЫ ИЕРУСАЛИМСКОЙ, КНЯГИНИ АНТИОХИЙСКОЙ

Свобода, воля и счастье казались недостижимой мечтой, пока мою жизнь не изменил единый взмах сарацинского меча.

Как лошадь, с которой свалилась привычная тяжесть седока, я ощутила внезапную опьяняющую легкость. Теперь я полна сил.

За непомерную надменность и самоуверенность Господь наказал моего супруга Бозмунда непроходимой глупостью. Посреди зимы, с крохотным отрядом князь Антиохийский двинулся против Левона. Как всегда, против армян, против христиан! К несчастью для него, ту же мысль заимел эмир Гази. Окружив франков, турки порубили несчастных глупцов на куски.

Не подобает вдове ощущать злорадство и облегчение, но покойный герой приложил немало стараний, чтобы мое восхищение сменилось ненавистью. Когда мы впервые увидели друг друга, мне было шестнадцать, а он был восемнадцатилетним высоким безбородым юношей с длинными белокурыми волосами и голубыми глазами. Тогда он был высок. Тогда он нравился мне.

С тех пор надменный рыцарь стал на голову короче. Теперь его оправленная в серебро голова радуется своими потускневшими глазами багдадского халифа.

Впрочем, ему уже все равно. Зато я получила возможность стать хозяйкой себе и Антиохии. Мужчины и не подозревают, как незаслуженно легко дается им власть и свобода! Ради этого города я почти четыре года терпела вспыльчивого, деспотичного, грубого, высокомерного, постылого Бозмунда, в его отсутствие не раз защищала город от мусульман и византийцев! Я вдова героя, дочь героя, я мать наследницы Антиохийского престола Констанции, я дочь армянской принцессы, и армянское население княжества видит во мне свою полномочную властительницу. Наши законы признают права франкских женщин, и нам, наследницам, нередко случается править – уж очень недолог жизненный путь воинственных франков. И я буду бороться за эти владения и свои права с каждым, кто попытается оттеснить дочь короля и мать наследницы подальше от княжеского трона и забрать бразды правления в собственные руки.

Пока я владею Антиохией вопреки желанию Иерусалима, я вынуждена искать иную мощную поддержку. И я убеждена, что для нас да и для всего Латинского королевства именно в союзе с Византией заключены огромные преимущества. Яснее, чем надменные рыцари, я вижу, как обескровливает франков постоянная война с местными армянами и ослабляет вражда с греческой империей, самым мощным государством Востока.

В отличие от покойного Бозмунда, у меня нет армии вооруженных рыцарей, готовых скакать за мной на любую безумную авантюру. Зато у меня есть готовность принимать взвешенные решения, умение привлекать людей на свою сторону и действовать не только с помощью грубой силы, но и с помощью подкупа, убеждения и хитрости. И моя голова по-прежнему на моих плечах, пусть и не такая гордая и не столь красивая.

Я росла в окружении армянских родственников, кормилиц и нянек – в темных одеждах, как воронья стая, покорных, безрадост-

ных, с поджатыми губами, осуждающими глазами, шепчущих, семенящих, вздыхающих, редко покидающих внутренние покои, ничего помимо молитв и сплетен не разрешающих ни себе, ни друг другу, ни мне. С детства я мечтала жить иначе, поступать по своей воле и заставить остальных повиноваться себе!

Скоро, скоро я сброшу с себя траурные облачения, обтяну тонкую талию тесным платьем из китайской органзы и расшитой золотом дамасской парчи, украшу руки и шею византийским золотом и китайским жемчугом! И никто больше не посмеет сказать: «Женщина, ты ведешь себя неподобающе! Надвинь покрывало пониже на лоб, чтобы никто не увидел твоих волос, закутайся в накидку, чтобы никто тобой не любовался!» Ах, наконец-то все увидят, что и я могу быть пригожей!

Я знаю, что не так хороша собой, как мои сестрицы Мелисанда и Годиэрна. Разумеется, я получила свою долю комплиментов. Привлекательность королевских дочек бросается придворным в глаза. Если владетельная принцесса огорчительно не подает ни малейших поводов восхититься свежестью ее кожи, пышностью волос или белоснежностью улыбки, льстецы всегда могут уцепиться за ее умение держать себя с царственным достоинством, на худой конец – за приятное выражение лица. И нельзя забывать, что юным вдовам присуще особое очарование. Но только при условии, что вдовы не прозябают забытой тенью в какой-нибудь Латакии, а управляют на правах регента богатым княжеством.

Из всех своих дочерей мой отец Балдуин, король Иерусалимский, больше всего любил мою старшую сестру, свою наследницу, красавицу Мелисанду. Но свое королевство Балдуин любит несравненно больше, чем всех дочерей вместе взятых. Он, не задумываясь, нарушил условия своего освобождения из мусульманского плена и напал на Алеппо несмотря на то, что моя младшая сестра, крохотная Иовета, осталась заложницей у эмира Балака.

Однако поведение Балдуина всеми воспринимается как весьма похвальное. Иовету постригли в монахини, а когда прошла надобность во мне, он так же хладнокровно решил и меня задвинуть в затхлую Латакию, чтобы я проводила свои дни в вышивании крестиком и в молитвах, пока не приберет Господь. Напрасно он ожидал, что я беспрекословно уступлю свое место на троне Антиохии малолетней девочке! Понятно, что несмышленное дитя не может править государством, а Констанция особенно. Я хоть и мать, но должна признать, что она странное дитя. То ли умом слаба, то ли просто бесчувственная: всегда погружена в себя, всегда молчит. Так что на деле это означает, что княжество на много лет, а может, и навсегда достанется назначенному Иерусалимом регенту. Никому, даже родной дочери не отнять у меня мой единственный шанс на то, что полагается мне – на власть, независимость, на новый выгодный брак, на любовь. Констанция поймет меня, когда наступит день и ее саму муж или сын попытается оттеснить с Антиохийского престола.

Я такая же дочь Балдуина, как и Мелисанда. И я – единственная осмелившаяся открыто противостоять воле короля. Это требует не меньше мужества, чем выйти на бой с неверными. Никто, никто не захотел бы быть наедине с разгневанным Балдуином.

Но мне нечего терять.

В этой стране каждый получает только то, что он способен вырвать у других. Если я на все буду говорить «аминь», мне придется молиться исключительно за чужое здоровье.

Я молода, вся жизнь передо мной, только не надо бояться протянуть руку за тем, что доступно, что лежит прямо передо мной – за княжеством и счастьем. А хуже, чем Латакия, не будет.

Никогда, никогда я не смирюсь с тоскливым изгнанием. Я еще не сказала своего последнего слова.

РАССКАЗ ВЕРНОГО И НЕПОБЕДИМОГО ВОИНА ЖОСЛЕНА I ДЕ КУРТЕНЕ, ГРАФА ЭДЕССКОГО

Каждый день приносит что-то неожиданное, и ни единый не проходит без приключения. Я рад им всем – и славным, и тяжким.

Вчера проверял эдесские укрепления, и в туннеле на меня рухнула балка. Но Господь решил еще немного потерпеть старого грешника и сквернословия – вынесли живым. А сегодня примчался гонец с сообщением, что на крепость Кайсун напали турки.

В последние годы Эдесса не может оправиться от постоянных потерь. У нас просто не осталось достаточно боеспособных воинов. Сегодня нам трудно собрать больше трехсот рыцарей. Уже потеряны все территории Эдессы за Евфратом, а ведь когда-то наши земли доходили и до Тигра. Мы, конечно, крепчаем духом, но враг – нелегкая его побери! – становится все многочисленнее и сильнее, все упорнее и наглее теснит нас с севера.

Сын мой счел, что силы слишком неравны, чтобы принять бой. Ну, я так не считаю. Я вообще врагов никогда не считаю: вместо этого вывожу свои полки и веду их в атаку. И никогда не жалею: развеваются мои знамена, блестят на солнце доспехи, сверкают мечи, и неприятель бежит. А если я все же терплю поражение, то самое главное – рыцарская честь и доблесть – остаются незапятнанными. Сейчас я не в силах усидеть на коне и велел нести себя в бой на носилках. Не будет такого, чтобы на мой дом напали, а я не вышел его защищать.

Привяжите меня покрепче, друзья мои. И подайте флягу, очень хочется пить.

Здесь, в Леванте, я прожил настолько бурную и насыщенную жизнь, что Франция моей юности стерлась из памяти. Младший безземельный сын, я наслушался песен о Роланде, о Гильоме Оранжевом и принялся мечтать о необыкновенной судьбе, о чудесных, захватывающих приключениях. Ну и о добыче, честной добыче, завоеванной силой собственного меча! Ни разу я не жалел о своем выборе, даже когда в каменном мешке на цепи годами сидел. Я всегда знал, что выберусь цел и невредим, что все превозмогу. Никогда во Франции мне не прожить бы такой жизни, а по сравнению с ней любая другая – как вода послепряного вина.

Балдуин II, еще когда сам был графом Эдесским, отдал под мою защиту лучшую крепость – Турбессель. Я стал его верным соратником, его правой рукой, его лучшим другом. Мы воевали с армянами, с византийцами, с Алеппо и Дамаском, с арабами и турками...

Два раза мы с Балдуином попадали в плен, в первый раз еще в 1104 году, когда силы Эдессы и Антиохии впервые сошлись с сарацинами после взятия Иерусалима. В тот раз мы недооценили противника и вместо подготовки к бою увлеклись дележом будущей добычи. Сокрушительное поражение научило нас уважать наших противников. И поменьше полагаться на собственных соратников: Танкред Тарентский, успевший бежать из схватки, стал регентом Эдессы вместо Балдуина и не слишком рьяно радел о нашем освобождении, предпочитая освободить собственных вассалов. Уже потом нам рассказали, что ему посчастливилось захватить в плен женщину, которую Джекермиш предлагал обменять на Балдуина, и сам тогдашний король Иерусалима просил Танкреда согласиться на эту сделку, но Танкред предпочел получить за женщину пятнадцать тысяч византийцев, оставив братьев по оружию гнить в плену. Только четыре года спустя нас, наконец-то, выкупили, и лишь при помощи византийцев и сарацинов нам удалось изгнать Танкреда из Эдессы. Иногда мне кажется, что чем отважнее герой, тем меньше у него страха Божия и преданности своим соотечественникам.

Вот и ближайший наш франкский сосед, Антиохия, постоянно требует от Эдессы вассальной покорности. Пока я жив, не дождутся.

Между мной и Балдуином тоже всякое случалось. Однажды он посадил меня в темницу и морил голодом, пока я не вернул ему мой Турбессель. Освободившись, я перешел на службу к Иерусалимскому королю, и поскольку доблесть и верность Жослена де Куртене к тому времени гремели по всему Леванту, король отдал под мою руку Галилею.

Не трясите так носилки, друзья мои. Болит спина, и ноги что-то не чувствую. Но, похоже, я и такой сгожусь больше, чем мой сын на ногах и со здоровой спиной. Мельчают люди. Это родившееся здесь поколение, выросшее на всем готовом, разбалованное благами восточной цивилизации, больше всего хочет жить в свое удовольствие. Они не готовы на усилия и жертвы, необходимые, чтобы владеть этой страной. Недаром их называют пуленами – жеребятами. Они и есть наивные, глупые и слабые, как жеребята. Многие из них надеются договориться со смертельными врагами. Да уберезет нас Бог от такого искушения!

Когда мы помирились с Балдуином и при моей поддержке он был избран королем Иерусалимским, он уступил мне Эдессу, а я превратил ее в непробиваемый щит, защищающий с севера все Латинское королевство от постоянных атак сарацин. С тех пор мы с моим сюзереном навеки оставались верными друг другу. И жили, поверьте, нескучно.

Солнце жарит всюю, скорее бы мы добрались до Кайсуна.

Самой страшной битвой стало жуткое поражение на Кровавом поле. Побоище превратилось в жатву мучеников, погибло не только семьсот рыцарей, пропала и легенда о нашей непобедимости. Когда на подмогу прибыли из Иерусалима силы Балдуина, все уже было кончено: доблестное норманнское рыцарство было уничтожено. Балдуин решил собрать оставшиеся на севере страны силы и выйти на бой с превосходящей армией тюрков. За день до этого мы обошли босыми церкви Антиохии и двинулись в поход под звук колоколов

и рыдания наших будущих вдов. Мы знали, что идем сражаться за само наше существование в Леванте, и верили, что милосердный и сострадательный Господь, несмотря на наши грехи, не допустит уничтожения Латинского королевства. Король приказал играть в боевые трубы, и мы бросились на мусульман, творя чудеса храбрости. В тот день наши рыцари проявили мужество отчаяния. Воины сражались под сенью Животворящего Креста, который отважно нес в самые жаркие точки боя патриарх Кейсарики, и командиры во весь голос молили Бога о помощи. Господь услышал своих защитников, сжалился над нами, искупленными кровью его дорогого Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и обратил тюрок в бегство.

С мечами в руках мы рассеяли неверных по равнине. Исполненный ярости, я преследовал сарацинов, словно лев, вышедший на быков, и пресытился их языческой кровью. В тот день враги потеряли пять тысяч человек не только от меча, но и в давке при отступлении. Нам удалось удержать за собой Сирию, а заодно – и повеселиться!

Анри, дай пить. Нет, не останавливайтесь, время дорого. Спасибо, друг мой.

Здесь, на Востоке, живя в Сирии бок о бок с армянами, тюрками, арабами, греками, ассасинами и бедуинами, я научился уважать не только чужаков, но даже неприятелей. Со многими у меня сложились удивительные отношения. Секрет взаимопонимания – обращаться с каждым так, как ты обращался бы со своим земляком и единоверцем. В конце концов, как ни чудовищно это звучит, приходится признать, что у людей больше общего, нежели различного! Я умудрялся ладить даже с заклятыми врагами, заключал договора с самим чудовищем Занги и посредничал между ним и Антиохией.

Как многие из нас, я породнился с киликийскими царями, женившись на Беатрис, сестре царя Тороса, но в отличие от остальных франков я отнесся к нашему родству серьезно, и мои армяне преданы мне. Во всяком случае, с тех пор как я уничтожил в графстве всех изменников. Их верность пригодилась, когда мы с Балдуином попали в плен вторично, на этот раз к эмиру Балаку. Первым схватили меня с Галераном, и Балдуин выступил в поход, отомстить за нас. Поставил палатку и, не подозревая, что коварный Балак притаился поблизости в засаде, отправился на соколиную охоту. Нечестивые внезапно атаковали короля и бывших с ним воинов, убили много могучих мужей, захватили Балдуина вместе с сыном его сестры и заключили их в ту же башню, где уже томилась мы с Галераном. Но и там я не унывал – вместе лучше даже в застенках. Легко и приятно нестись на врага, размахивая мечом, но только прикованный к стене каземата общей цепью, понимаешь, на кого можешь положиться!

Эмир предложил мне свободу в обмен на Эдессу. Я ответил ему: «Мы, франки, как верблюды, несущие носилки: когда один верблюд падает, его груз перекладывают на другого. Так же и наши владения переходят в руки соратников». На этот раз мы провели в заточении почти два года. Однако мои армяне не покинули меня в беде. Трудно поверить, но ради меня, своего франкского сеньора, эти горожане, не умеющие держать меч, оказались гото-

выми на дерзкий подвиг. Заговорщики проникли в город переодетыми, заручились поддержкой местных армян, отчаянными усилиями пробилась в тюрьму, убили охранников и помогли мне выскользнуть из крепости переодетым, с младенцем на руках, которого я должен был оставить в ближайшей деревне. Мои товарищи забаррикадировались в цитадели и отбивались от Балака, а я со всех ног поспешил в Антиохию за подмогой.

Жаль, не вспомнить, чьей была эта придумка с младенцем. Я бы заставил этого хитреца самого всю оставшуюся жизнь одеваться кормилицей. Голодный ребенок орал как резаный, я понятия не имел, как его утихомирить, и едва не сошел с ума. Избавившись от этой обузы, я чудом переплыл Евфрат, уцепившись за надутый и туго завязанный шнурком заплечный кожаный мешок. По дороге меня все же признал один местный житель. Я был уверен, что он продаст меня мусульманам. Вместо этого селянин ради меня зарезал своего последнего барана. Добравшись до своих, я созвал войско и поспешил обратно в Харпут на помощь королю. Но мы опоздали: Балак уже захватил крепость и жестоко расправился с восставшими, сбросив множество несчастных пленников с крепостных стен. Только короля, его племянника и Галерана эмир оставил в живых, вновь заковал в цепи и бросил в каземат. Но даже жестокосердый язычник – гори он все вечности в аду! – был поражен храбростью, преданностью и самоотверженностью христианских рыцарей.

В конце концов нам удалось выкупить короля за огромную сумму в сто тысяч тахеганов. Нехристь, однако, взял в заложники наших невинных деток – пятилетнюю дочь Балдуина Иовету и моего десятилетнего Жослена. А графа Галерана и королевского племянника неверные успели казнить.

Освободившись, мы тут же стягнули навязанное нам позорное перемирие, собрали все наши силы и с тогдашними союзниками – предводителем арабов Садаком и с султаном Мелитены – двинулись в очередной раз на Алеппо.

Сколько раз я водил войска на Алеппо, на Дамаск, на Мосул! Благодаря добыче мы выкупили и моего сына. Храбреца нашего, который теперь не желает идти в бой за собственные владения. На отданные за этого труса деньги я мог бы вооружить целый отряд!

Во всех боях я сражался в первых рядах, поименно ободряя каждого из своих верных воинов! Ах, как хорошо было драться бок о бок с героями! Победа не всегда была нашей, но самым главным я всегда считал не останавливаться на пути завоеваний! Не прекращать атак! Нападая на врагов, человек воодушевлен, смел и силен. На долю того, кто только защищается, остается лишь страх...

Месяц назад мой друг и король Балдуин скончался. Мне радостно думать, что сейчас он наверняка сидит одесную Господа, хоть я и буду скучать по старому товарищу своих битв. Мне повезло пройти необыкновенный путь. Своей кровью мы обеспечили этой стране незыблемое существование и великое будущее.

Устал я что-то, вот беда... Но, Бог даст, сегодня не последний мой бой, и я доблестно послужу еще и новому королю Фульку. Еще много чудесного случится на моем веку.

Анри, друг мой, вытри мне лоб...

Я уже слышу топот вражеских коней.

Никольский *ИЗБРАННИК*

* * *

В долинах рек пасутся стада,
желтеет рожь, стоят города,
сражаются храбрецы.
На кухнях жарят окорока,
в лазурном небе плывут облака.
В могилах спят мертвецы.
Сосны растут у студёных морей,
волки в лесах слышат крик егерей.
Молятся Богу слепцы.
От жары сгорает в полях трава.
Корабли ищут новые острова.
В гнёздах пищат птенцы.
Перебирает чётки монах.
Узник не спит в четырёх стенах.
А в могилах спят мертвецы.

Жатва кончилась, люди собрали рожь,
но упало, пропало одно зерно,
чётки порваны – если их соберёшь,
то увидишь: пропало одно звено.
Сто слепцов молились – прозрел один,
а другим вовек не увидеть свет.
Паладины дали святой обет,
каждый думал, что в песнях будет воспет
что от смерти спасёт его амулет,
но убил их безжалостный Саладин!
Все погибли от сабель, кинжалов, стрел,
но один из них уцелел!

Да! Один – всегда не похож на всех.
Почему? Кто ответит мне?
И приходит всегда к одному успех,
у него горит в темноте доспех,
когда он летит на коне.
Вышла на площадь толпа, гурьба –
этого не отличить от того,
но протянула руку Судьба
и выбрала – одного!

Он выбран, поднят и окрылён,
у него в короне рубин, топаз,
у него в короне сапфир, алмаз,
и он становится королём,
владыкою мира и гордецом,
а потом становится стариком,
а потом становится мертвецом.

А другой становится мудрецом,
хотя считается дураком!
Я о нём поведу рассказ!

ТРУС

...Жил да был солдат весёлый, но немного трусоватый,
чтоб не слышать грома пушек, затыкал он уши ватой,
чтоб не видеть вурдалака, супостата, людоеда,
он зажмурясь шёл в атаку и стрелял из арбалета.
И всегда по цели мазал, неудачник и шлемазл.
И за то его ругали офицеры, генералы
говорили об отчизне, об уставе, о морали,
угрожали, что посадят, не дадут ему медали,
и его на самом деле посадили и не дали.
Потому, как всякий воин, был он этим недоволен.
Он сидел на гауптвахте, неудобной, как пенал,
и с утра до поздней ночи на судьбу свою пенял:
«Смелости не нужно слугам, смелости не надо прачке –
а солдату неприлично опускаться на карачки.
Смелости не нужно ветру, небу смелости не надо –
а солдат немного струсил – все смеются до упаду.
Писарь пишет дни и ночи документы и бумаги,
и никто не озабочен, что у парня нет отваги!
Храбрости не надо морю, храбрости не надо волнам...»
(Он не только был трусливым, но ещё и недовольным.)
Из-за страха в каждой сече он пускался в эти речи.
Из-за страха в каждой сшибке совершал солдат ошибки.
В каждой стычке и бою заикался: «Я б-б-б-ою...»

Как-то раз в одном сраженье все попали в окруженье,
офицеры и капралы от испуга заорали,
сразу начали сдаваться, в юбки переодеваться,
по канавам уползать, завещания писать,
победившим генералам части разные лизать.

И солдат, наш солдат, дал тогда стрекача,
непонятное что-то крича.
Он икал, он потел, он зубами стучал
и безумное что-то мычал.

Он бежал напрямик, он бежал напролом
через пропасти и бурелом.
Ударял себя в грудь, день и ночь удирал
и дорогу в лесу потерял.
Заблудился солдат, заплутался,
в странном месте солдат оказался.

В ЗЕМЛЯНКЕ АЛХИМИКА

В чаще леса у тесной забытой землянки
громоздились реторты, пробирки и склянки,
там лежали и тигли, и фигли, и мигли,
непонятные колбы, железные иглы,
перегонные кубы, бутылочки ртути,
порошки, корешки, кучи дряни и мути.
В том лесу, где растет голубой можжевельник,
жил не ворон, не мельник – алхимик-отшельник,
он сто лет проработал там в поисках золота,
и судьба привела туда труса-солдата –
к незаметной-секретной малюсенькой дверце...

Наш вояка дрожал и глядел одичало,
стал желтее китайца, краснее индейца,
его сердце от страха стучало, стучало...
Он в землянку пробрался, и в угол забился,
и на сутки забылся.

А отшельник?

Отшельника не было дома –
он оставил землянку на десять недель,
плащ накинул, взял посох, и лапти надел,
и на Кубу поплыл за бутылкою рома,
и за снегом поехал на Северный полюс,
и на рынок – купить себе кожаный пояс,
потому что давно такой пояс хотел.
А землянку забыл запереть...

Между нами –
лучше дел никаких не иметь с колдунами.
Подфартило солдату. Ему повезло!
Лишь бы он не использовал это во зло!

Через сутки проснулся пугливый солдат
и подумал: «Не слишком ли я бородат?»
Стал искать он, где можно побриться,
сделать утренний кофе, потом маникюр
(педикюр – это было б уже чересчур!),

стал искать он, где можно умыться,
стал водою плескать, стал он мыло искать,
а на тумбочке что-то искрится!

В пузырьке, что светился в холодном в чулане, –
Голубой Эликсир Исполнения Желаний:
ВЫПЕЙ СНАДОБЬЕ СЛАДКОЕ И ГОЛУБОЕ –
И ИСПОЛНИТСЯ СРАЗУ ЖЕЛАНЬЕ ЛЮБОЕ!

И солдат – этот трус, неудачный стрелок
(вы его не пустили б к себе на порог),
кто не брал, как положено, под козырёк,
кто бежал через горы, не зная дорог,
кто в землянке залёг, как пугливый зверёк, –
он схватил пузырёк,
голубой пузырёк!

Крепко призадумался солдат: что ему хотеть и что желать?
Не желать же сладкий шоколад? Или жвачку, чтобы пожевать?
Это можно просто так купить, если много денег накопить.
И решал он сто часов подряд так, что наступил сперва закат,
так, что наступил потом рассвет, а потом ещё один закат,
а потом ещё один рассвет...
А желаний не было и нет!

Что хотеть – солдату невдогад.
Он был сыт, умыт, согрет и выбрит
и не знал, чего он хочет выбрать:

«Выпью чудо-эликсир – стану рослый кирасир...
Хорошо бы... а то я совсем замухрышка...
Впрочем, нет – мне не нравится эта мыслишка...
Если выпью эликсир, буду сильным, как буксир!..
Как буксир? Может быть... хотя тоже не слишком...
Мне поможет эликсир стать богатым, как кассир!
Всё не то! Потому что не в золоте фишка!»

Разозлился. Заснул он и выспался сладко.
И во сне озарила солдата догадка!

ЭЛИКСИР ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ

«Я не хочу быть трусом, я не хочу быть робким,
прятаться под кроватью, в землянке или коробке,
Быть я хочу ужасным, страшным и беспощадным,
неумолимым, смелым, жутким и кровожадным!

Чтобы в сахарах, альпах или гвадалахарах
мною людей пугали, и молодых, и старых,
чтобы я людям вечно снился в ночных кошмарах,
чтобы не я бежал, а от меня бежали,
чтобы не я дрожал – из-за меня дрожали!
Чтобы забор мой мёртвые головы украшали!»

И он выпил немедля волшебное снадобье!

Эх, не надо бы, милый солдатик, не надо бы!

ПОЛНОЧНЫЙ КНЯЗЬ

На земле проходит за годом год –
был котёнок, а стал полосатый кот,
радость сменилась горем,
был старик, а ныне – могильный холм,
берег размыт от ударов волн,
и земля становится морем.
За сто лет оврагом станет гора,
за сто лет горою станет дыра,
в городах поменяется мода.
За сто лет всё изменится, но посмотри,
что в Холодных Горах случилось за три
многострадальных года!

За перевалом в Холодных Горах появился великий страх!
Там поселился Полночный Князь, он убивает, смеясь.
Разбойник, насильник и лиходея, убийца, подлец и злодей!
Он у крестьян отнимает детей для страшных своих затей.
Пускает им красного петуха, чтобы сказать: «Ха-ха!»
Ему всегда отвечают: «Да!» – и слуги, и господа.
Крестьяне залезут на свой топчан и молятся по ночам.
Губы от страха не могут разжать и боятся бежать.
Князь преследует беглецов, их матерей, отцов.
Дворцу его не нужна стена, стража ему не нужна.
Его охраняет великий страх, он жжёт людей на кострах.
Его дворец называется «Ад», там живут подлецы и мразь.
Тот, кого называли «трусливый солдат» –
зовётся Полночный Князь.

Пять лет пролетело, и тридцать, и сорок –
Князь время проводит в сраженьях и ссорах.
Свирепствует Князь, не боится ни старых,
ни малых, ни срока в тюрьге на нарах,
ни горя, ни худа, ни лиха, ни лажи,
ни кошек, которые чёрны, как сажа.

А Князя боятся его домочадцы,
монахи, герои, враги на границе.
И кажется даже, и кажется даже,
что смерть его тоже боится!

СМЕРТЬ ПОЛНОЧНОГО КНЯЗЯ

Но смерть не боится, лишь медлит и скалится –
все ей достанутся, каждый состарится!
(Каждый ей в ноги когда-то повалится.)
Дряхлой старухой станет красавица –
нравится это ей или не нравится.
Тот, у кого была тяжкая палица,
с ложкой берёзовой нынче не справится.
Звонкий осипнет, а стройный ссутулится –
нет ничего нерушимого, прочного.
Дряхлость, однажды пришедшая с улицы,
стала жилицей у Князя Полночного.
В месяцы зимние, в месяцы летние
силы у Князя слабеют последние
(правда, сильнее становятся слабости).
Хоть у него не убавилось храбрости,
волосы редкие стали и белые,
мышцы у князя теперь ослабелые,
руки усталые, ноги – усталее,
ну и так далее, ну и так далее...

И приходит час, наступает срок,
когда спускает судьба курок
и на шее затягивает шнурок.

Ночью тёмной, ночью тихой
спит в кровати донна с доном,
деверь с дверью, шут с шутихой,
спит жена с супругом Джоном.
Вдалеке спит кто-то дальний,
дремлет в извести – известный,
в петле – висельник отвесный,
в почве – червь горизонтальный.
Спит певец с весёлой песней,
дремлет сторож в тесной будке,
исчезают смех и шутки,
умирает свет небесный.
В небе звёзды заблестели,
над землёю путь молочный.
И навек уснул в постели
Князь Полночный.

Во дворце часы пробили, труп лежит в алмазном зале.
Он на траурном настиле, он с закрытыми глазами.
Князь – его не наказали, ничего не отрубили.
Князь – ему не отомстили! Умер он в своей постели.
Без царапины на теле, руки, ноги – все на месте.
Не наказан кровопийца! В бархате лежит убийца,
у него на пальцах кольца. Можно ль вообще добиться
справедливости и мести? Не нашлось на Князя горца,
самурая, корсиканца, чтоб готов был ради чести
за ужасные деянья в сердце поразить поганца.
Есть ли, есть ли, есть ли, есть ли
в этом мире воздаянье?

ПРОКЛЯТИЕ

Если кто колдовством заниматься отважится,
то оно от него никогда не отвяжется.
Кто лишает народы и счастья, и света,
тот заплатит, заплатит, заплатит за это!
За окошком кричит полуночная птица,
что злодею спокойно лежать не придётся,
а придётся ему по счетам расплатиться!
Ко дворцу кто-то чёрный и страшный крадётся!
Почему он к недвижному трупу крадётся?

Это был чернокнижник, колдун, чародей,
кто не запер землянку на горе людей,
у кого эликсир был когда-то украден.
Он пришёл! И он будет теперь беспощаден!

Почему лишь сейчас, а не сразу, не сразу
наказать он решил кровопийцу-заразу?
Потому что известно от Рейна до Буга –
не накажешь того, кто не знает испуга!
Расспросите спеца, мудреца, знатока –
смерть мгновенна, а боль коротка, коротка!
Знают все от Памира до гор Карабаха:
не накажешь того, кто не ведает страха!
Как же можно тогда отомстить мертвецу?
Ведь не дашь ему в морду, пардон, по лицу!
Но злодею колдун подыскал наказание.

Вот что нам рассказали в легенде-сказанье:

Тёмной ночью у Князя в алмазной палате
произнёс чернокнижник такое проклятье:

«В небе кричат чёрный ворон, в чаще леса тьма клубится.
 Ты был трусом, ты был вором – стал злодеем и убийцей.
 Ухает сова лесная, червь ползёт по розе чайной.
 Сам не ведая, не зная, ты коснулся силы тайной –
 силы тайной, силы грязной, силы грозной, неотвязной.
 Силы верхней, силы нижней, силы липкой, страшной, клейкой!
 Лучше было быть калекой, чем касаться чернокнижья!
 Князю – княжье, Богу – Божье, запорожцу – Запорожье,
 Диснейленду – кока-колье, для дебилов есть дебиле...
 Князь, не знать тебе покою, не лежать тебе в могиле –
 ждёт тебя судьба иная.
 Через час рассвет забрезжит...
 Князь, ты превратишься в нежить!
 Проклинаю, проклинаю!!!

Глупые человеки тебя разбудят однажды,
 и ты проснешься от муки, боли, голода, жажды.
 И дрогнут мёртвые веки, дрогнут мёртвые руки.
 Мчатся горные реки. Над кладбищем коршун реет,
 волки в лесу завывали. Жажда тебя одолеет,
 и в тёмной тесной могиле тебе уже не забыться!
 Гроб задрожит от воплей, от плача, стонов и рёва!
 Ты будешь страдать и биться.
 Крови красной и тёплой, густой человеческой крови
 ты захочешь напиться! Но кровь тебя не утешит
 не напоит, не успокоит.
 В полночь собака брешет, ветер холодный воет.
 Рождённый людям на горе, умерший людям на горе –
 тебе не узнать покоя,
 будешь страдать, доколе ты не встретишь героя
 в горах или в чистом поле...

*Казалось бы – сто пятьдесят восьмая, простая кража.
 Качай права, но дело выясняя – не надо ража!
 А чародея, видимо, задело, мозги сломались:
 он Князя проклял даже не за дело, а так – за малость.
 Он Князя проклял через пень-колоду – алхимик злющий!
 А что погибнет тысяча народу – его не плющит.*

МОГИЛА ПОЛНОЧНОГО КНЯЗЯ

Грозной ночью на кладбище Князя зарыли,
 для приличья слезу промокнули на рыле,
 слуги руки друг другу зачем-то пожали
 и сбежали из замка, в долину сбежали!
 Плоскогорье, откуда творились набеги,
 люди из деревень покидали навеки –

мудрецы уходили, рабы, остолопы,
понимавшие только нагайку холопы,
мужики убегали, и дети, и бабы,
псы, и кошки (и мышки), и курочки-рябы.
Все решили, что надо отсюда бежать им.
Побежали, и жито осталось несжатым,
побросали амбары, сады, огороды,
чистый воздух, красивые виды природы.
И не взяли крестьяне с собой ни черта –
только деньги, права и загранпаспорта.
С Гор Холодных текли вереницей в низины
мерседесы, повозки, возы и дрезины.
Не осталось людей в этой горной долине.

Вот что нам рассказали в легенде-былине:

ПЕРЕВАЛ В ГОРАХ

У подножья гор – хутора, деревни,
вешняки, часовня, и кладбище рядом –
безымянные плиты, кресты, ограда,
ибо край этот древний, древний, древний.
Всюду прошлое, прошлое, прошлое.
Вот крестьянин возделывает свой сад,
вот хозяйка ткёт белое полотно,
ибо так поступали и век назад...
И куда ни взглянешь – всюду оно:
прошлое, прошлое, прошлое.

Оно волком заглядывает в окно,
паутиной затягивает углы,
что случилось когда-то давным-давно,
неожиданно колет больней иглы.
Это прошлое, прошлое, прошлое.
В горах есть проклятые места,
почва там плодородна, черна, жирна.
Но, увы, всё равно целина пуста,
и никто не сеет там семена,
ибо рядом прошлое, прошлое, прошлое.

Первые годы людская память крепка,
и люди дрожат от шума или хлопка
и боятся подниматься на перевал.
Шум времени долетает из-за окон,
страх исчезает, тогда издают закон,
что нельзя подниматься на перевал.

Но люди забывают слепой запрет,
рассказывает легенду столетний дед,
как люди поднимались за перевал.
Легенда становится сказкою Братьев Гримм,
она не страшней, чем Чехов или Куприн,
И каждый может подняться на перевал!

ПЯТЬ КРЕСТЬЯН

Жили-были на селе пять крестьян,
каждый весел был и пьян, сильно пьян –
раскрасневшиеся лица,
шутки, крик, в глазах двоится –
и в горах они решили поселиться:
там дешёвая земля, нет милиций и полиций,
ламца-дрица – заведем себе баян!
И пошли: крестьянин Бут – грубиян,
Тер – буян, а Брод – вообще обезьян,
а ещё крестьянин Смас, а ещё крестьянин Лом –
в горы двинулись они за рублём,
за рублём и за землёй, за землёй.
Каждый был такой герой удалой,
каждый был весёлый и молодой,
каждый был с такой большой бородой.
Каждый грубо на закон наплевал
и поднялся в горы за перевал!

И в горах они пахали впятером
и мотыгою махали, и кайлом,
веселились, выпивали за столом.
Каждый посадил пшеницу,
каждый захотел жениться...
А потом там поселились костолом,
парикмахер (чтобы бриться), бутатор и агроном,
тридцать грузчиков, певица,
безответственные лица
и красавица, попавшая в полон.
Там крестьяне напевали на работе трали-вали,
для жены или подруги очень часто буги-вуги,
ели мёд и караваи, огурцы, икру белуги,
пили пиво, а потом – под столом,
просыпались по утрам под столом.

Первый год так и жили – и пьяно, и сыто,
жили жирно, счастливо, и шито, и крыто –
в смысле жили одето и жили обуто,
но однажды овца потерялась у Бута.

Даже две. Или три. Или целое стадо!
Вот досада! Теперь отыскать его надо.
Или было не так – было наоборот?
За коровою в горы отправился Брод.
Или это был Тер? Или это был Лом?
И отправились в горы они за козлом?
Словом, наши крестьяне ходили, бродили,
всё искали, искали и не находили,
звали коз, ели хлеб, пили воду горстями,
отдыхали и пахли, как пахнут крестьяне,
подошли к неизвестной старинной могиле,
но и там не нашли ни козы, ни овцы
и поэтому дальше пошли молодцы...

Человека запах сладкий у могилы той остался,
в землю влажную впитался,
крест могильный зашатался,
крест могильный изогнулся.
Там проснулся кто-то гладкий и подняться попытался
кто-то скользкий, кто-то гадкий,
кто-то призрачный проснулся.

В могиле лежал охладелый труп,
под гробовой доской.
Он не слышал пенья небесных труб,
но почуял запах людской!
Проснулся вдруг, шевельнулся вдруг,
дрогнули мышцы рук.
Он проснулся и больше уснуть не мог,
и вошла в него сила подземных рек,
гор подземных, подземных глухих дорог.
Он не хочет лежать там век!
Ему чернозём набивается в рот,
жмёт и давит, и гонит его земля,
его тревожат то червь, то крот,
он проснулся и к свету пополз, скуля.
Ему нужен свет, а не тёмный грот,
его не удержит ни крест, ни гроб –
он дорогу наверх проскрёб!
Из могилы выполз на белый свет
и теперь наделает бед!

Нашлись и коровы, и козы, и овцы,
домой возвратились усталые хлопцы,
уснули,
проснулись
и отперли двери,
на улицу вышли, глядят и не верят:

У Бута крыльцо, дымоходы и кровля
 испачканы кровью, испачканы кровью!
 Разбиты стаканы, мечты и корыта,
 а жители дома убиты, убиты!
 Убиты кухарка, и конюх, и плотник,
 заезжий торговец, наёмный работник!
 Толпа собиралась и рот разевала,
 людей от кошмара парализовало,
 до самого завтрака тама и тута
 народ говорил про убитого Бута!
 К обеду они успокоились трошки
 и стали копать в грязи и картошке.
 Но завтра случилось ужасное дело:
 беда добралась до могучего Брода –
 когда он стоял посреди огорода,
 его растерзало, убило и съело!

УБИЛО И СЪЕЛО!

От ужаса воя,
 толпа потрясённого страхом народа
 застыла, потом затрясла голову,
 совсем помешалась от адреналину
 и с гор побежала в долину, в долину!
 Бежала в долину безумная масса –
 племянники Лома и родичи Смаса,
 бежали девицы, бежали ребята...

ПРОСНУВШИЙСЯ МЕРТВЕЦ

Вы помните? Так уже было когда-то!

Было так, да не так! Было так, да не так!
 Крови жаждал мертвец, а не жалкий злодей!
 На ночную охоту поднялся мертвяк,
 но в домах опустевших не встретил людей,
 и на запах пошёл, и пошёл по следам,
 он ревел, и словами я не передам,
 как ужасен он был, как рычал и плевал!
 Тёмной ночью мертвец перешёл перевал
 и спустился в долину. На первых порах
 притаился. Но жажда его повела
 к деревням, где играла в войну детвора,
 где курилась зола, шум стоял на дворах,
 где готовили жирный обед повара
 и где жизнь богачи проводили в пирах!
 Он пришёл, он пришёл – и теперь в хуторах,

в дальних сёлах, таможнях, портах, крепостях,
деревнях – некрологи одни в новостях,
и вороны пируют на белых костях.

Дни и ночи мертвец убивал, убивал –
кого в бровь, кого в глаз, а кого наповал!

Его мучила жажда и ночью, и днём –
полыхала в груди негасимым огнём!
Его плющило, жгло, донимало, ломало,
он напиться не мог, он забыться не мог,
он от пота промок и от крови промок,
он не мог успокоиться без люминала.
Кровь безумную жажду на время тушила,
но потом его снова проклятье душило!

Липкий ужас теперь поселился в округе.
Что деревни! Уже в города, в города
заглянула беда, зачестила беда.
Нынче гибнут в лохмотья одетые слуги
и в шелка упакованные господа.
Даже житель столицы дрожит и боится!
Восклицает: «Что скажет о нас за граница?
Может, смыться скорее на озеро Рица
или выждать, покуда король разозлится?
Разозлится и распорядится».

ВОЙНА, ВОЙНА, ВОЙНА

Через месяц и правда воскликнул король:
«Где герой, чтобы эту беду поборол!»
Эй, скорее пошлите к герою гонца,
чтоб скорей победил... как его... мертвеца!

А героем служил у них дюжий атлет...
только старый... ему было семьдесят лет.
Да, конечно, когда-то он был молодым
и опасным, а в старости стал он седым,
чуть замедленным, с левого боку облезлым...
Но остался разумным, логичным и трезвым.
Прочитав только первые строчки письма,
беззаветный герой удивился весьма,
чуть подумал и сразу на пенсию вышел,
и никто с той поры о герое не слышал.

Нет героя? Пусть едет его заместитель!
Эй, князья, помогите ему, оснастите,
дайте меч, дайте шлем, портупею из кожи!
Заместитель подумал... Уволился тоже.

Что такое? Всегда с мертвецами загвоздка...

Собирает король колоссальное войско!
В этом войске служили лихие испанцы
(по уставу – испанцы закованы в панцирь).
В этом войске служили лихие эстонцы
(они лихо зевали и грелись на солнце).
Маркитантками были у них иудейки
(полагаю, за очень приличные деньги).

Объезжает король своё грозное войско,
перед замком на площади воины встали.
«Докажите, ребята, что вы не из воска,
не из пыли. Что вы из негнущейся стали!
День сегодня погожий, Господь вам поможет!
Вас не сможет какой-то мертвец укокошить!
Ждут вас слава, награды, бельгийское пиво!
За Свободу! За Родину! Словом – счастливо!»

Из ворот потянулись стальные отряды,
пели песни, потом заряжали заряды,
крикуны там кричали крикливые крики,
а пикейщики плакали острые пики,
кавалерия шла, и шагала пехота.
Было жарко. Но вдруг поменялась погода:
снег пошел в середине зелёного лета.
(Это очень и очень плохая примета.)
Значит, ангел-хранитель их не охраняет,
горько плачет, холодные слёзы роняет.
Становилось понятно, что смелая рать
не идёт побеждать, а идёт умирать.

Ночь настала, солдаты разбили палатки
(раньше были такие смешные порядки),
суп сварили из репы, бобов и моркови
(так любили поужинать в средневековье).

Караулы поставил седой генерал,
выпил водки, потом на солдат наорал,
чтобы, глаз не сомкнув, сторожили, не спали,
чтобы ночью внезапно на них не напали.
Стража мёрзла и стыла на сильном ветру,
а мертвец прогрызал под землёю нору,
в тишине, в темноте выползал на простор,
он простёр свою руку (и ногу простёр).
Было поздно, а может быть, рано.
Произнёс заклинанье, чего-то растёр,

и погас освещавший округу костёр,
крепко-крепко заснула охрана.
Подобрался к солдатам убийца-мертвец
и на лагерь напал, словно волк на овец.
Он налево рубил, он направо дробил,
он испанцев убил и эстонцев прибил,
генералу сперва надерзил, нагрубил,
а потом и его погубил.

И монах записал в государственной хронике:
«Все мертвы – командиры, солдаты и конники»

ГИБЕЛЬ КОРОЛЯ

Войско разбито, и сам король
должен выйти теперь на бой.
Раньше он рубил, и колол,
и любил мордобой,
а теперь он стар, он устал и лыс,
у него катар и какой-то криз,
он боится ходить босиком,
он еле ворочает языком,
и от крови его кривит.
Но главный закон, но древний закон
его заставляет махать мечом,
улыбаться и делать вид,
что по-прежнему битвой он увлечён
и что все ему нипочём!

Хотя он чихает, хрипит и пищит –
дают ему в руки щит,
и хотя охота пойти прилечь –
дают ему длинный меч.
Дают тяжёлый стальной доспех,
хоть надежды нет на успех.

А когда посылают на бой короля,
то никто не поет «тра-ля-ля, тра-ля-ля».
Если убьёт короля мертвец,
королевству – конец!

Ехал сутки король, ехал двое
на задание, на боевое.

*(А известно, что стало с ним, детки,
потому что король вёл заметки,
путевые такие заметки.)*

Он

«...сначала налево, потом под мостом,
видел деву, свернул за терновым кустом
и проехал три долгие мили
так, что конь был и в пене, и в мыле,
дальше были поля, кирпичей штабеля
(я не знаю, откуда взялись штабеля),
а потом тополя, тополя, тополя,
ел тушёнку и спал без кровати.
(Скучно вам? Но ведь это дневник короля!
Замолчите и не прерывайте!)
И опять тополя, тополя, тополя
(потерпите, совсем уже скоро конец!),
тополя, тополя, тополя, тополя,
спать хотелось, глаза закрывались,
тополя, а потом появился мертвец...»

Тут заметки его обрывались.

Государь вынул длинный зазубренный меч
и сказал очень краткую грозную речь.
Вот она:

«Я тебя зарублю, паразит!»

Но клинок не сумел мертвеца поразить.

Хоть сражался король, как джигит и орёл,
был он слаб, словно из пластилина.
В этой битве мертвец короля поборол
и на завтрак сожрал властелина.

*Не знаю, милые, как вам, хотя король и был болван,
но мне его немного жаль: сражался он и не бежал.
И вот теперь король убит! Окажем королю почёт.
Он будет скоро позабыт. А наш рассказ вперед течёт.*

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

На центральную площадь идут мясники,
лесники, рыбаки, скорняки, силачи,
слабаки, у которых везде синяки,
несерьёзные девы и их усачи.
Людям надо решить, как на свете им жить.
Людям нужен начальник, им нужен режим,
высший суд, властелин и свободы зажим,
нужен отзыв, пароль, лагеря и закон!
(И вообще, каждый любит трепать языком:
я, к примеру, знаком был с одним стариком,

у него была дочь, а у дочери муж,
он был лыс и выращивал флоксы,
он болтал день и ночь и вертелся, как уж...
впрочем... впрочем я малость отвлёкся.)
Людам нужен закон, людам нужен покой,
и они документ составляют такой:
«Кто сумеет убить подлеца-мертвеца,
будет нам и король, и вместо отца.
Ждем спасенья и молим о чуде!»
Дата. Герб.

И подписано: «Люди».

Покуда народ бушевал и галдел,
жил себе дурачок – он на небо глядел,
чего-то писал, был всегда не у дел.
в архивах работал и в библиотеке,
над чем-то дурацким химичил в аптеке.
Приличия все безнадежно нарушив,
ходил он без шляпы, без трости, без кружев
на счетах считал непонятные иксы,
курить не любил и по моде не стригся,
не пил и не бегал потом неглиже,
на башни собора не лез в кураже.
Короче – балда и дурак дураком!
Такой остолоп всем по школе знаком:
есть в классе блондины, красавцы, качки,
а этот читает и носит очки.

Однако вот этот балда и кретин,
ботаник и олух, позор и зараза, –
и есть тот герой,
судьбоносный ОДИН,
обещанный в самом начале рассказа.

А как его звали?
Конечно же, Яном!
В то время занятъем его постоянным
была расшифровка смешной закорючки
на камне, который за четверть получки
по почте прислали ему из Розетты.
Он чистил тот камень кусочком газеты
и видит внезапно – в газете статья,
в которой какая-то галиматья:
«Король и мертвец... наше правое дело...
победа... награда... долой неудачи!..»
Статья дурака заняла и задела –
любил он решать на досуге задачи.

ПОИСКИ КНИГИ

Не медля, не мешкая и не обеда,
он лезет на полку, где энциклопедия,
и там, разобравшись среди инкунабул,
он прыгает с нужною буквою на пол,
читает, читает, дуреет немного –
там мало по сути и много про Бога,
но важную ссылку находит в конце
на книгу учёную о мертвеце!

Но где драгоценный найти фолиант?
На рыночной площади? Не вариант!
В архиве, где редкие книги в подвале?
В архиве – не будет. В подвале – едва ли!
Убейся о стену, ножом заколись ты –
не держат подобных томов букинисты,
желанья людские им по фигу, по фигу!
А значит, придется идти в вифлиофику,
в бумагах копаться и пылью дышать.
Но смелым не может и пыль помешать!

И через неделю, усталый и бледный,
он книгу находит на полке последней.
Её он читает от корки до корки:
как роют покойники норы и норки,
про то, как живут мертвецы под землёю,
измазаны кровью и чёрной смолою,
про то, что нельзя мертвеца побороть,
про то, что нельзя мертвеца заколоть,
про то, что нельзя мертвеца убедить,
но хитростью можно его победить!!

ПЛАН

Начал наш Ян размышлять и мерекать,
чего-то чертить и чего-то писать,
думать, придумывать, мыслить, кумекать,
дакать и некать, в затылке чесать.

Думал весь день и придумал попутно
пудру, чтоб вывести блох у дворняги,
выдумал плед, чтобы было уютно,
велосипед, чтобы ездить в Гааге,
выдумал, хоть дурака не просили,
способ помочь интересам Бразилии.

И так, от обилия мыслей балдея,
сидел наш герой в кабинете уныло...
Внезапно пришла к дуралею идея,
пришла среди ночи и в дверь позвонила.

Ян немедленно бросился в ткацкий посад,
неумыт и небрит (*в смысле – был волосат*),
С речью он обратился к швеям и ткачам
(*были в древности равнодушны к речам*),
он сказал им: «Сотките мне саван,
и тогда я убью мертвеца, упыря!»
А ткачи, закричав: «Наконец-то! Ура!» –
стали ткать ему полным составом.

А потом Ян-дурак отыскал кузнецов,
произнёс (*угадайте, что он произнёс*):
«Самый жуткий и подлый из всех мертвецов
нашу родину жутко и подло разнёс
на кусочки!

На подвиг отчизна зовёт!
На борьбу! Помогите же мне, мужики!
Мне для этого нужен железный живот
и перчатка из стали для правой руки».

И пошёл к землекопам решительный Ян,
а потом навестил камнетёсов,
закричал: «Венсеремос!» и «Но пасаран!»,
задал им сорок восемь вопросов
и минут эдак семьдесят кряду
им читал по бумажке...

ТИРАДУ!

(*На востоке, на севере, западе, юге
есть и были не только лишь скучные речи,
но филиппики, дискурсы, спичи, речуги,
выступленья, анафемы, ругань и встречи.*)

ЯН И МЕРТВЕЦ

Ян-дурак был наряжен, готов, снаряжён
и ближайшею ночью полез на рожон:
он перчатку надел, белый саван надел
и железный живот пристегнул к животу,
кто-то умный от страха бы похолодел,
а дурак напевал и на все наплевал,
сам поел творога, молока дал коту,
сыновей на прощание поцеловал,

керосиновый свет за собой потушил,
а потом поспешил, поспешил, поспешил –
Ян-дурак должен был торопиться,
потому что мертвец-кровопийца
гадко выл-завывал и людей убивал,
потому что был гад и убийца.

Мертвец дурака увидел издалека
и подумал: «Щас я этого сопляка...
Только как же лох от ужаса не усох?
Ну-ка, стой, ни с места и хендехох!»
Ян-дурак не бросился наутёк,
он сказал злодею: «Привет, браток!
Ты чего кричишь на порядочных упырей?
Извинись и иди себе, не болей!
Я потомок вурдалаковых королей,
я с вампирами – водой не разлей!
Погляди, какой на мне саван,
на зависть мертвым красавам!»

А мертвец отвечает: «Ты, паря, не врешь?
Ты на мёртвого что-то не шибко похож!»
«Ты пощупай живот! – отвечает дурак, –
Мой живот неживой и холодный, как лёд!
Так что я – стопроцентный и мёртвый мертвяк!
Я такой же, как ты, совершенно такой!
Я пришёл сюда из ядовитых болот!»
И пожал ему руку железной рукой.
Удивлённый мертвец завертел головой:
«А я думал, ты, этого... типа... живой.
Ну а если ты, этого... типа... мертвец,
пачиму ты смеёшса, как будта вдовец?
Почему тебя жар изнутри не палит?
Почему у тебя ничего не болит?
Или жажды тебя не сжигает огонь?
И ни кровь не нужна тебе, ни самогон?»

А дурак говорит: «Ты дурацкий дурак!
Есть за лесом река, за рекою овраг,
за оврагом пещёра «ТартАр»!
Там по дну протекает волшебный ручей,
холоднее, чем снег, кипятка горячей,
там вода – настоящий нектар!
Я тебя отведу, я тебя научу:
выпей этой волшебной и сладкой воды...»
Отвечает мертвец: «Для чего мне туды?
Не воды я, а крови хочу!»

Ян-дурак говорит: «Ты дебильный дебил!
Хоть меня ты сейчас без нужды перебил,
я готов повторить тебе дважды –
там родник утоления жажды!
Там родник утоления жажды любой,
выпив этой воды, прозревает слепой!
Ты послушай, браток: сделав первый глоток
разомлевший почувет в груди холодок,
неудачнику скажут, что он молоток,
превратится в актёра рябой!
Бледный станет румян безо всяких румян!
Ожирением не заболевет гурман!
Не захочется вшивому бани!
Станет каждый джигит коренным москвичом
безработный – врачом, а бедняк богачом,
пан найдёт раскрасавицу-пани!
Выпей этой воды – будешь жить-поживать,
ради спорта и смеха людей убивать,
перестанешь от боли и жажды томиться,
если выпьешь волшебной водицы!»
И ответил покойник: «Душевно... лады!
Отведи меня, паря, туды!»

ЛОВУШКА

А сейчас... А сейчас я, друзья, расскажу,
что, вообще-то, понятно любому ежу:
Ян совсем не хотел мертвецу помогать,
он решил мертвецу (извините) солгать!
Обхитрить, объегорить его и ещё
понавешать лапши ему на уши
(и хоть врать, разумеется, нехорошо –
отнеситесь к нему понимающе!).
Взять его на арапа и пушку,
завести вурдалака в ловушку,
в западню! Как бы вам объяснить половчей.
Протекал рядом с городом скучный ручей,
по земле каменистой, сырой и ничьей,
рядом были болота, звериные тропы,
И явились всем скопом туда землекопы,
Ян сказал им: «Камрады, амигос, моншеры!
Вот вам план глубоченной ловушки-пещеры
Вы по этому плану копайте здесь яму,
помогите отчизне, народу и Яну!»
Грабари стали землю киркой колупать,
и копатой лопать, и лопатой копать,

а потом отдыхать и работать опять,
рыли вглубь и направо, налево и прямо
получилась глубоко-о-о-о-о-о-о-о-о-кая яма!

И была она так глубока и черна,
что, казалось, в ней не было дна.
Землекопы, работу свою завершив,
поднимались оттуда полдня!

А потом камнетёсы притопали к Яну,
они были могучими, злыми, небритыми,
стали камнем выкладывать страшную яму –
валунами, базальтом, гранитными плитами,
отдыхали и ели селёдку с батоном,
а потом собирались и с новыми силами
били молотом и заливали бетоном,
громыхали кайлами, стучали зубилами.

Чтоб гранит под землёй мертвеца удержал,
чтоб его завалить валунами на дне,
чтоб стены не прорыл, чтобы не убежал,
чтоб остался упырь навсегда в западне!

Слышен, слышен громовой
тяжкий топот ломовой.
Бегемоты-першероны
валуны везут на склоны,
и булыжник, и бетон,
глыбу в десять тысяч тонн!
Это снится? Нет, не снится –
слышно, как кричат возницы,
слышны ругань, гомон, песни,
«Осторожно!», «Вира!», «Майна!».
Что им надо в этом месте?
Что им надо?
Это тайна!

Согласитесь, совсем неплохая идея –
обдурить, обмануть, заманить лиходея,
в каземате базальтовом замуровать, и
пусть гниёт там без света, еды и кровати.
Пусть он топает грозно и стены громит –
не поддастся, не треснет базальт и гранит!
Пусть он мёртвыми пальцами камень скребёт,
пусть он вылезти хочет, кричит и ревёт –
он останется в этой пещёре навеки,
и свободно вздохнут в городах человеки!

Ах, какой коварный план, умный-хитроумный план!
По лесам и по полям шли весь день мертвец и Ян.
Там, где сосны, вязы, ели – шли, не пили и не ели,
шли они среди полян, быстро, резво, еле-еле,
по горам и по долам и притопали к пещёре!

КОНЕЦ МЕРТВЕЦА

Было очень непросто туда залезать –
всюду камни, сплошные гранит и базальт,
не видать ни хрена, чернота, глубина,
и кругом – тишина, тишина, тишина,
слышно только – журчит ключевая вода.
А мертвец – загорланил и прыгнул туда,
чтоб волшебной водицы напиться...
Не заметил ловушки тупица!

И Ян тогда крякнул условленным кряком,
он звякнул секретным малиновым звяком,
он свистнул каким-то особенным свистом,
истощно мяукнул условленным мявом
и хлопнул в ладоши особенным хлопом.
Ян был героическим, хитрым и быстрым
и подал команду не менее бравым
ткачам, мужикам, кузнецам, землекопам,
которые сзади сидели и сбоку
в засаде, устроенной неподалеку.

Вся эта огромная масса народу,
услышав условные звуки и кряки,
рванулась к огромной базальтовой глыбе
и глыбу столкнула к пещерному входу!
*(Не только покойники и вурдалаки,
но даже поддубные и чемпионы
от входа её откатить не смогли бы.)*
Она была каменна и многотонна,
её укрепили раствором бетона,
потом валунами её закидали
и слоем щебёнки покрыли метровым,
но это детали, всё это детали,
а главное то, что мертвец замурован!

Мертвец замурован, мертвец в западне,
он мечется, бьётся, буянит на дне,
он вылезти хочет, скребёт валуны,
но крепко бетоном они скреплены!

Он бьёт головою в бетонные плиты,
колотит ногами базальты, граниты –
тогда начинается землетрясение
и буря – на небе не видно луны,
от страха в стране просыпаются семьи
и воют тревожно собаки на сене.
В бессилье он камни слюнявит и гложет!
Напрасно! Ему ничего не поможет!
Мертвец утихает, страна засыпает,
беспамятство всё на земле засыпает,
жизнь катится дальше спокойно и ровно,
довольно, счастливо, богато, бескровно.
Никто мертвеца не боится, не помнит,
а строят хоромы со множеством комнат,
играют в лото, ожидают мессию,
смеются и благодарят амнезию.

* * *

А где же герой? Где тот самый ОДИН
(Как звали его? Вольдемар? Константин?),
кто в битву вступил с упырём окаянным?
(Нет, всё-таки... кажется... звался он Яном...)
Он стал королём?
Да, ему предлагали...
Давали корону и тыщу регалий.
Но он отказался и не захотел,
сказал, что работа и множество дел,
что должен на завтрак сварить геркулес,
что хочет узнать, где зарыты собаки,
узнать, где зимуют озёрные раки...
что No гораздо короче, чем Yes.
что хочет понять, как устроен комар,
что времени нету, что денег в обрез,
что будет свободен он только в четверг,
что младшую дочку назвали Тамар,
что надо коптить ещё окорока...

Короче,
не стал королём Вольдемар,
не стал королём,
предложение отверг.

А что ожидали вы от дурака?

Дмитрий Сухарев

ОТКРОВЕНИЯ ЮРИЯ ВИЗБОРА

В начале нынешней весны архивист-любитель Сергей Весёлый обнаружил в своих домашних завалах магнитофонную запись встречи Юрия Визбора с участниками литературного семинара молодых московских бардов. Запись сделана 28 декабря 1983 года – Визбору 49 лет, инфаркт уже залечен, рак ещё не обнаружен. В июне наступающего нового года мы поздравим Визбора с пятидесятилетием, а 17 сентября он уйдёт из жизни. Я прикинул: если поспешить с расшифровкой, можно успеть к восьмидесятилетию. Расшифровку мгновенно сделала Ирина Хвостова. Мне досталась косметика – поубавил реплики семинаристов, у Визбора убрал повторы.

К юбилею мы успели, ура. Монолог Визбора публикуется в этом номере журнала.

Теперь хочу кое-что пояснить. Во-первых, семинар. Он возник в том же 1983 году как следствие борьбы высокого начальства с клубами самодельной песни (КСП). Их тогда закрывали по всей стране. Московский КСП, заколоченный гвоздями и как бы уже не существующий, пытался изобрести альтернативные способы общения. Одна из идей сводилась к тому, что надо по-умному использовать приказ, обязывающий органы культуры вести культурно-воспитательную работу с этими некультурными бардами. Как выполнить приказ, органы не знают. Нужно им культурно помочь.

Скажем, гитарная школа. Это плохо или хорошо? Это хорошо. И органам культуры есть чем отчитаться. А если – литературная школа молодого барда? И чтобы проект исходил как бы от Союза писателей? И чтобы он, Союз, как бы направил в помощь органам культуры своего человека. Но чтобы это был наш человек.

Сказано – сделано.

12 апреля 1983 года мы собрались на первое занятие.

Поначалу соруководителем семинара был Александр Городницкий, позже он оставил меня одного, и с лёгкой руки участников к нашему сообществу, просуществовавшему целых пять лет, приклеилось имя «Сухаревка».

Мне идея литературного семинара для людей, желающих петь поэзию, показалась увлекательной независимо от внешних обстоятельств. За годы работы в поэзии я так и не научился чувствовать себя в ней профессионалом. Я знал, что такое профессиональная уверенность, её я полноценно ощущал в биологии. И перспектива вести литературный семинар, наверно, привлекла меня как шанс преодолеть свой комплекс неполноценности.

Но не только это.

Накопились мысли о поэзии, казавшиеся мне нетривиальными. Короче, с какой стороны ни глянь, игра стоила свеч.

Некоторые занятия Сухаревки отличались тем, что главной фигурой был на них приглашённый гость. Гостя я неизменно просил поделиться с семинаристами заветными мыслями о профессии. Гости были неслабые – Валентин Берестов и Татьяна Бек, Юлий Ким и Олег Чухонцев, Вероника Долина и Фазиль Искандер, Виктор Коркия и Виктор Берковский, много было гостей. Заветным они делились с неожиданной щедростью – видимо, другой подобной возможности им в жизни не выпадало. Надеюсь, их монологи тоже найдутся и тоже будут опубликованы. А всё же первой обнаружилась запись Юрия Визбора. Не небесный ли это умысел?

Притягательность Визбора не померкла за последние тридцать лет. Концерты, посвящённые песням Визбора, собирают сейчас больше людей, чем это было при его жизни. Почему, в чём дело? По-видимому, в масштабе личности. Этот масштаб чувствуется на всём протяжении публикуемого здесь текста.

Многоопытный выступальщик, Визбор мог бы ограничить свой рассказ профессиональными секретами сценического поведения. Но он говорит о более значимом – о творческом поведении: об испытании славой, о важности гражданской позиции, о том, что дурному человеку не дано быть хорошим художником. В разговоре об авторской песне Визбор то и дело выходит за рамки предмета, хотя именно здесь он «дедушка русской авиации» – зачинатель и мастер. К примеру, опыт коллег по бардовскому цеху не так весом для Визбора, как опыт Алексея Фатьянова, народного поэта, автора великих песен великой народной войны. Визбор не скрывает неприязненного отношения к элитарности, точнее, к той элитарности, которая отдаёт снобизмом. Предпочтения Визбора логичны и последовательны. Он стремился быть народным артистом – и стал им.

Не по званию, а по существу.

Его напутствия сегодня по-прежнему актуальны.

Юрий Визбор

О РЕМЕСЛЕ *

Д. Сухарев: Сегодня у нас в гостях Юрий Иосифович Визбор. Рассказывать про него ничего не буду, просто выражу радость, по поводу того, что мы видим Юриосича...

Ю. Визбор: ...живым.

Д. С.: ...живым и готовым поделиться своим опытом. Я рассказал, чем мы с вами здесь занимаемся, какие вопросы нас обычно интересуют. Поэтому я просто предоставляю вам, Юрий Иосич, слово.

Ю. В.: Наверное, уместно назвать несколько главных моментов. Первый момент: я никаким образом не теоретик, и никакими теоретическими изысканиями не занимался. Ещё один момент, но он общебанальный: нет таких мыслей и нет таких слов, которые сделали бы из непрофессионала профессионала, или из плохого поэта хорошего, или из хорошего поэта отличного. Это моё глубокое убеждение. Даже существование литературного института, на мой взгляд, вообще ничего не доказывает, а только доказывает именно ту мысль, которую я хочу сказать. Поэтому никаких тайн или каких-то супероткровений тайных вы не ждите от меня, я с вами просто хочу поделиться достаточно практическими, во многом дилетантскими мыслями относительно того, что мы называем «песня», «самодеятельная песня», и так далее...

У меня был один приятель, который вообще отвечал, что музыка делится на две категории: отрывистая и плавная. И он во многом был прав. В это понятие, в это деление входит вся музыка мира вообще, включая всех великих композиторов и всё песенное творчество, естественно. Думая о песне и занимаясь долгое время песней, я пришёл к выводу, что вообще песня как таковая представляет из себя жанр невероятно разнообразный. Даже единичная песня может представлять из себя жанр. Я не имею в виду подотделы песен, которые существуют в редакциях или каких-то учебниках: массовая песня, комсомольская песня, — нет, я имею в виду песню и жанр как таковой. Если мы будем рассматривать золотой фонд советской песни, или то, что нам досталось от русской песни, или лучшие произведения так называемой самодеятельной песни, то можем прийти к выводу, что лучшие из этих произведений способны породить целую волну подражательств, целую волну аналогов. Легко пародировать хорошие вещи или яркие. А плохое произведение очень трудно пародировать, поскольку можно хуже написать, но не более.

И если мы перейдём к бардовской песне, о которой мы разговариваем... Я с самого начала был против названия жанра «самодеятельная песня»; слово «самодеятельность» ассоциируется с гопаком на колхозной сцене. Ну, так случилось. Когда говорят «самодеятельный художник», уже не поедешь в дальний район посмотреть эти картины. У

* Печатается с незначительными сокращениями.

нас совершенно другой вид песни. Это литературная песня. Это песня, в основном (в основном, я подчёркиваю это) построенная на литературных моментах. Хотя в жанре самодеятельной песни (если мы уж будем этот термин употреблять) есть замечательные музыканты: Ада Якушева, Ким, Клячкин, — это люди, которые одарены, на мой взгляд, не только как поэты, но и как незаурядные композиторы. Но есть отпочкования чисто композиторские: Дулов, Никитин, Берковский.

Чтобы быть более конкретным, я её лично для себя делю на две категории. Не отрывистая и плавная, как делил мой товарищ, а песни для слушания и песни для пения. Это принципиально важное различие. Мы не говорим об авторской задаче, это довольно сложный круг вопросов, но в итоге, когда получается песня, то её можно либо слушать, либо сначала слушать, потом петь. Женя Клячкин, например, — он в основном автор для слушания. Он замечательный автор, и у него замечательные песни, но мне трудно представить себе сто человек, которые поют «Рождественский романс» Клячкина хором или — «Псков». А есть, например, песни (как они получаются) для пения. Мне-то как раз кажется, что наиболее ценный минерал, который можно добыть в этом распределении, — это когда песня для слушания становится песней для пения. Когда получается песня достаточно сложная, на достаточно современной основе, с достаточно современными мыслями и вместе с тем которую можно и хочется, главное, петь. Вообще это — цель любых сочинений. Хотя есть совершенно откровенные и очень интересные формы, которые невозможно представить себе, чтобы другие люди их исполняли. Здесь нет противопоставления. Я хочу, чтобы вы понимали, что существует это различие, что деление это существует.

Если песни для слушания могут быть самых разнообразных форм, оттенков, характеров, развитий... причём, чем фантастичней это происходит, чем неожиданней, тем всегда интересней (и здесь фактически нет никаких берегов, — то есть они есть, мы потом остановимся на них), то песня для пения приобретает характер достаточно чёткий. Она состоит фактически из двух частей. Из поэтики как таковой и какой-то формульной части. Причём эта формульная часть...

Д. С.: ...Шлягворд?

Ю. В.: Не только. Шлягерное слово в основном присуще массовой культуре или эстрадной песне. Формула «В жизни раз бывает восемнадцать лет» — совершенно невозможная в поэзии; это кошмарные слова. Однако в песне она приобретает некий новый, тайный смысл.

Д. С.: Магический.

Ю. В.: Да! Причём действительно хочется подумать: действительно — бывает! Действительно, в жизни раз бывает восемнадцать лет. Хотя, если мы прочтём стихотворение, мы с ненавистью, с яростью отбросим эту дикую, дикую банальность. Часто банальные места приобретают новое качество, становясь формулой в песне, и обретают какую-то тайную, неясную, новую жизнь.

Во время войны, которая родила несметное количество замечательных песен, существовало очень много прекрасных поэтов, в рабочем состоянии все они были и писали замечательные стихи. Однако ведь первым человеком в песне был Фатьянов, который писал на

стоящие песни: «Горит свечи огарочек» и так далее. Фатьянов написал лучшие песни военные. Этот человек чувствовал песню и понимал. Вот Фатьянов, например, даже шёл в формульной части на вещи, которые могут показаться совершенно дикими. Он писал: «Йграй, йграй, рассказывай». Это смещённое ударение, не существующее в природе. Ни в каких землях и странах Руси не скажут «йграй». Это подчёркивание такого сверхэмоционального отношения к этому баянисту, который сидит на солнечной поляночке, оно даже в формульной части допускало подобную вещь.

Сужу по многим своим песням, которые написаны и про которые знаю, что их поют. Я знаю, что их поют, видел это. И пришёл к такому определённом выводу, что чем тоньше и ярче поэтика, в которую впрессована формульная часть... Я специально говорю «формульная часть», не употребляя слово «припев», потому что формульная часть может быть и совершенно не в припеве, хотя очень часто она лежит там, но это абсолютно необязательно...

Д. С.: Юриосич, скажите, вам как удобнее? Чтобы вам вопросы задавали и перебивали по ходу или лучше, чтоб помолчали?

Ю. В.: По ходу, пожалуйста. Чем свободнее, тем лучше.

Д. С.: Мне кажется, что то, что сказано об ударении, это в принципе присуще русской народной песне. Виктор Фёдорович Боков даже выделил такое понятие: скользящее ударение. Что ударение даже в одном и том же слове в рамках строфы переходит с одной позиции на другую или занимает совершенно необычное место, даже на рифмующихся словах. Я помню, он приводил такой пример: «Ой, вода, теки, теки / Ванечку в солдатики». Ударение стоит в совершенно нелепом для слова «солдатики» месте, и оно даже зарифмовано здесь, то есть это подчеркнуто, акцентировано. У Фатьянова такое потому, что он следовал традиции русской народной песни. Нет?

Ю. В.: Да, конечно.

Д. С.: У другого автора какого-нибудь это бы не пошло. Возьмём Лебедева-Кумача, у которого более немецкая – хотя не фашистская, но немецкая – традиция, так у него такие ударения не встали бы. А у Фатьянова это делалось легко. Извините, если я вас сбил с мысли.

Ю. В.: Ты это не в качестве критики?

Д. С.: Нет.

Ю. В.: То есть в качестве развития.

Д. С.: Развития, да. Комментарий.

Голос: Не получается с песнями для слушания. Они, конечно, есть, но Клячкина... Я много слышал в маленьких и в больших компаниях, в том числе и «Псков».

Ю. В.: Нет, Саш, нет. Ну, я могу себе представить, что «Псков» могут петь пять человек, ну, пятнадцать.

Д. С.: Высококвалифицированная аудитория...

Ю. В.: Я могу себе представить оркестр Глена Миллера, который исполняет «Псков», безусловно. Но я имею в виду не высокограмотных гитаристов, а просто песню, которая может мурлыкаться, петься, то есть приобретает черты *вообще* песни, не самостоятельной, не бардовской, не массовой, – просто песни, просто «Подмосковных ве-

черов». Я только об этом говорю. Элитарность, исходящая от некоторой инфантильности, которая существует в самодеятельной песне как в движении, она и рождает большой процент песен для слушания и очень маленький процент песен для пения. Это моё личное и старое мнение. Мне кажется, что корень кроется именно здесь.

Голос: Каких песен должно быть больше – для слушания или для пения?

Ю. В.: Песен должно быть больше хороших. Хотя я считаю (и сказал уже об этом), что песня, написанная для слушания, которая становится широко популярной, приобретает, мне кажется, бóльшую ценность. Песня, которую потом поёшь, мурлыкаешь, потом поёшь в дороге, потом она становится твоей спутницей на многие, многие годы, – она приобретает бóльшую ценность, чем песня, которую слушаешь с магнитофона. На мой взгляд.

Очень важный вопрос связан с конструкцией произведения. Это тоже мои, так сказать, домашние выводы. Но я могу с вами поделиться. Есть три конструктивных, что ли, гена в песне. Одна песня – это песня, рождённая от строки. Появляется какая-то строка. «Июнь, четвёртый час в окне». И от этой строки начинает писаться песня. Она беспокоит автора, он с ней ходит сутки, может быть, минутки, может быть, года, это неважно. Второй случай – это когда песня придумывается, от начала до конца. Мы придумываем конструкцию её, мы знаем её финал, мы знаем, зачем она написана, мы знаем, что она будет пользоваться успехом. И начинаем достаточно ремесленно и в силу своих талантов выстаивать это произведение. И, наконец, третий, что ли, образ песни – это песня, которая где-то боженькой написана, и летает, и никак не найдёт головы, в которую она залетит. Как только она залетает, так тут же она пишется, очень быстро. И кто-то водит за тебя пером и получается неизвестно что – ничего не хотел, ни о чём не думал, – получается произведение.

Когда я, на заре туманной юности, пытался думать о конструкции песни и о том... ну, грубо говоря, чему мне подражать, – потому что большой процент, не могу сказать какой, но большой процент творчества индуктивен, творчество индуктивно. И хорошо, когда оно индуктивно от хорошего. Вот есть один критик, очень большой подлец, исключительный подлец, но он всю жизнь занимался Достоевским. И вот, читая двадцать лет Достоевского, всё-таки он стал под конец жизни очень хорошим человеком. И вот когда я раздумывал над такими моментами, я однажды открыл для себя совершенно поразительную вещь: я понял, что у песни есть конструкция. И одна из лучших конструкций, по которой я очень много раз умышленно и ремесленно пытался написать какие-то произведения и в итоге так и не добился желаемого, но, размышляя над этой проблемой, я всё-таки находил те или иные нестандартные и небанальные варианты, как мне казалось, – конструкция этой песни такова. Я вам её расскажу.

Есть такая песня, которую поёт Пит Сигер. Она приписывается, во всяком случае, ему. Хотя я однажды, на заре туманной юности, брал интервью у одного американского барда Джерри Сильвермена, и он утверждал, что эта песня из какого-то русского произведения. Но како-

го произведения, он тоже не помнил. Он назвал «Тихий Дон», что-то ещё – то, что он знал. «Анну Каренину». Эту песню пело очень много исполнителей. Её пела замечательно Марлен Дитрих, во всяком случае, то, что я слышал, – потрясающе. Причём и музыкальная форма соответствовала её конструкции, такой пирамидальной. Называется она по-английски «Where Have All the Flowers Gone?» – «Куда же девались все цветы?».¹ Первый куплет: «Куда же девались все цветы? / Их собрали девушки». Это содержание первого куплета. Второй куплет: «А где же девушки? / А девушки ушли провожать парней». Третий куплет: «А где же все парни? / Все парни в армиях». Четвёртый куплет: «А где же все армии? / А все армии на кладбище». Пятый куплет: «А где же все кладбища? / А все кладбища укрыты цветами, которые собрали девушки». Вот эта исключительно ярко выраженная кольцевая структура, замыкание гуманистической мысли через ряд очень простых, в общем, и совершенно незатейливых, абсолютно неметафорических образов, которые построены не на переброске словами и не на...

Д. С.: ...не на гениальных изобретениях...

Ю. В.: ...не на штукарстве, да. И вот, как ни странно, эту конструкцию... Я эту песню знаю очень много лет, она меня всегда наводила на желание всяческим образом подражать этому произведению именно как конструкции.

Отсюда рождались мои собственные открытия и какие-то новации. Отсюда я открыл, что, предположим, одна и та же строчка может

¹ Прочитируем Википедию: «Where Have All the Flowers Gone?» (1961) – англоязычная антивоенная песня в стиле фолк. Первые три её куплета написал в 1955 г. Пит Сигер, а остальные в 1960 г. написал Джо Хикерсон. В 2010 журнал *New Statesman* включил эту песню в список 20 самых известных песен политического содержания. В 1955 году американский бард Питер Сигер, сидя в самолёте, перечитывал понравившиеся ему три строчки из песни из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (в переводе на английский), которые он выписал в свою записную книжку: «Where are the flowers? The girls have plucked them. Where are the girls? They've taken husbands. Where are the men? They're all in the army.» (Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они в армии.). Неожиданно один пассажир сказал своей жене: «Когда же они, наконец, научатся?!» (он говорил о своих детях). После этих слов в голове Сигера что-то соединилось, и он быстро дописал песню, придумав несколько куплетов. В оригинале песня (колыбельная) из романа (глава 3 первой книги «Тихого Дона») звучит так: – *Колода-дуда, / Иде ж ты была? / – Коней стерегла. / – Чего выстерегла? / – Коня с седлом, / – А иде ж ворота? / – Вода унесла. / – А иде ж гуци? / – В камыш ушли. / – А иде ж камыш / – Девки выжгали. / – А иде ж девки? / – Девки замуж ушли. / – А иде ж казаки? / – На войну пошли...*

Песня стала известной в США после того, как её почти одновременно запели Пит Сигер, Джоан Базз и Рой Орбисон, а в Европе её на английском и в немецком переводе пела Марлен Дитрих. Эта песня также использована в фильме «Форрест Гамп». В русском переводе в фильме-концерте «Найди свою песню» (1976 г.) эту песню исполнила Жанна Бичевская.

Пит Сигер в 2004 г. обсуждал с автором книг о фолк-музыке Валерием Писигиным возможность пожертвования в Россию средств, полученных в виде ролли за песню, так как эта песня отчасти заимствована у «русского народа».

быть разной в зависимости от предыдущего содержания. Ещё раз повторю, что я никогда этому не учился. Если бы мне в жизни встретился такой замечательный руководитель, как Дмитрий Антонович Сухарев для вас, я бы уже на ракете летел бы.

Д. С.: «Медного всадника» бы написал.

Ю. В.: Я постигал всё в перерывах между несерьёзными занятиями... И сочиняя песню «Серёга Санин», вдруг пришёл к выводу – тоже исходя их «Колоды-дуды», вот из этой «Куда же девались все цветы», – что слова припева «То взлёт, то посадка» каждый раз меняются. Они меняются, и смысл их плавает в зависимости от того, за каким куплетом он идёт, – хотя первоначальный смысл слов «То взлёт, то посадка» был совершенно другой, абсолютно не авиационный.

Теперь такая мысль. Песня – очень маленький плацдарм, чрезвычайно маленький. Даже длинная песня. Она очень мала. Средняя песня звучит две с половиной минуты. Это крайне маленькая площадь. Это квартира – однокомнатная, с совмещённым санузлом. Поэтому населять её густо мы не можем. То есть мы можем о многом сказать, но как жанр – он диктует нам в эту квартиру поселить одного-двух человек, во всяком случае, не многих. Для того, чтобы их рассмотреть, для того, чтобы была возможность с ними познакомиться. Потому что мы находимся в этой квартире ограниченные секунды. Поэтому население нашей песенной квартиры, населённой в основном автором, должно быть таково... Я говорю сейчас, вы меня поймите правильно, не о числе, а о моменте подробного рассмотрения лица, подробного рассмотрения души. Это крайне важный вопрос подробного рассмотрения ситуации. Она должна быть в определённом понятии, едина.

Есть песни – как фильмы, которые проверяются нехитрым образом. В документальном кино есть самый простецкий тест: если его можно рассказать, то это хорошая картина. Если её можно рассказать, значит, у неё есть начало, середина и конец, значит, конструктивно картина построена, значит, в ней что-то произошло, значит, мы смогли рассмотреть либо человека, либо какое-то событие, либо какое-то явление в жизни. Мне кажется, это отчасти относится к песне, потому что, повторяю, я не столько говорю о персоналиях в песне, их может быть очень много, как об интонации, о настроении, о состоянии души, о той нити, которая в ней находится, внутренней, – вот это должно быть одно. А всего остального может быть очень много. Но мне кажется, что в этом смысле квартира должна быть населена очень малыми объёмами.

Во что я верю? Я верю в не очень сложное высказывание Тургенева о том, что талант – это подробность. Но подробность, наверное, не такая, что... Я вот сейчас работал над произведением Теофиля Готье «Капитан Фракасс». Камзол там описывается на пяти страницах, а замок – на двадцати восьми страницах. Он очень подробно описывает каждую пуговицу на камзоле, заплаты, локти...

Д. С.: Может, он очень Тургенева уважал?

Ю. В.: Имеется в виду, естественно, не такая подробность. А имеется в виду подробность, которая нечто решает или создаёт ту интонацию, то состояние души поющего и пишущего, при которой... Вот для меня, например, в одной из песен нашего руководителя слова «по

пояс в медунице» были той замечательной подробностью, на которую опиралась вся песня.

Д. С.: Биологи меня чуть не съели. Они сказали, что медуница вот такая – низенькая.

Ю. В.: Медуница высокая, между прочим.

Д. С.: Да. Я тогда взял Даля и доказал, что то, что называется медуницей в учебнике ботаники, это не то, что называет медуницей народ.

Ю. В.: Да, совершенно верно. Вот в замечательной песне Саши Городницкого «Кожаные куртки»... Посмотрите, как она развивается. Она развивается очень гладко. В таком псевдоромантическом духе: *Кожаные куртки, брошенные в угол, / Тряпкой занавешенное низкое окно, / Ходит за ангарами северная выюга, / В маленькой гостинице пусто и темно. // Командир со штурманом мотив припомнят старый...* <проборматывает скороговоркой> *...тихо подпоёт. // Эту песню грустную позабыть пора нам, / Наглухо моторы и сердца зачехлены...* Вот первое место, на котором мы спотыкаемся, но всё-таки проезжаем.

Снова тянет с берега снегом и туманом, / Снова ночь нелётная даже для луны.

Первые замечательные слова! Но это ещё не всё.

Лысые романтики... Вот подробность! Потому что она совершенно не вписывается в этот псевдогероический круг. И она ещё правдива, потому что люди, служащие и летающие на Севере, носят бесконечно шапки, и шапки эти (я знаю, потому что проводил сам на Севере немало лет) вытирают головы, и они лысые – у молодых людей; там много лысых. Но вы об этом знать не можете. Но слова «лысые романтики, воздушные бродяги» вам дают некоторое новое качество, представление о правдивости происходящего. И поэтому девочки-невесты, которые там ещё ходят школьницами, у нас рожают совершенно замечательное чувство, что жизнь не прошла.

Д. С.: Можно алаверды? У Городницкого есть ещё более замечательные вещи. Пример, который только что прозвучал, – здесь всё-таки подробность имеет смысловую связь со всем остальным и она как бы освещает всё остальное. Но иногда Городницкий даёт – это замечательно совершенно, этого никто почти не делает – даёт подробность, которая лежит вне контекста абсолютно. Ну, например, в песне «Предательство» есть такая строчка: «И гривенник пылится на полу». Этот гривенник не имеет ни начала, ни конца, он просто сам по себе, но он – та подробность, которая делает всё остальное достоверным. Это не ружьё, которое когда-нибудь стрельнёт, нет! Он не имеет ни к чему отношения. И это, по-моему, вдохновенная находка.

Ю. В.: Да... Подробность как некое тайное, или второе, скрытое лицо песни – чрезвычайно важна. Мы сейчас со скальпелем чудесным...

Д. С.: ...в тело песни вонзились...

Ю. В.: ...в тело, да... Вот, не знаю... Для меня очень важна первая строчка в песне, безумно важна. Как и в любом другом произведении литературном. В песне, почему-то мне кажется, с плохой первой строчкой ничего не получится. Или даже когда песня пишется не от первой строчки, а от последней или от середины, но в первой

строчке должно быть нечто божественное. Она должна быть по форме замечательна. Она должна легко говориться. Она должна петься. Хотя она может быть не так уж значительна.

Я очень люблю, вы знаете, в песне юмор. Имею в виду песни, написанные не для юмора, а просто написанные как песни. У того же Жени Клячкина была серия, он называл их «фишки». «Троллейбус не торопится, а капли на спине, о-о, уже остыли», и так далее. <кто-то поправляет> «Согрелись», да. Целая система у него была фишек: про любовь, как он там на люстру прыгал. И у других авторов есть такие же песни, написанные для, так сказать, рассмешения аудитории, они намеренно смешные. Но я говорю о другом юморе. О скрытом юморе. Несмотря на самые различные личины, под которыми автор прячется в песне, он описывает в основном себя. И способность быть ироничным по отношению к себе у Клячкина, по-моему, проявлялась прямо. В одной из песен он написал: «На Театральной площади немного театрально стоял я, опершись рукой на оперный театр. Профессор Римский-Корсаков, вертясь на пьедестале, никак не мог ммм... чтоб руку мне пожать». Потом всё это кончается довольно печально.

У Анчарова есть совершенно потрясающий пример: *Ах, Маша, Цыган-Маша! Уже смешно – цыган! Ты жил давным-давно. / Чужая простокваша / Глядит в твоё окно, / Чужая постирушка / Свисает из окна, / Старушка-вековушка / За стёклами видна. // Что пил он и что ел он, / Об этом не кричал. / Но занимался делом / Он только по ночам. / Мальбрук в поход собрался, / Наелся кислых щей... / В Измайловском зверинце / Ограблен был ларёк. // Он получил три года / И отсидел свой срок, / И вышел на свободу, / Как прежде, одинок. / С марухой-замарахой / Он лил в живот пустой / По стопке карданахи, / По полкило «простой». // Мальбрук в поход собрался, / Наелся кислых щей... / На Малой Соколиной / Ограблен был ларёк. / Их брали там с марухой, / Но на его беду, / Не брали на поруки / В сорок втором году.*

Здесь от пропускает, – делает сразу гигантский сюжетный ход: *Он бил из автомата / На волжской высоте, / Он крыл фашистов матом / И жарил из ТТ. / Там был Архангел, Рыло, / Два Гуся и Хохол – / Их всех одной накрыло / И навалило холм. // Ты жизнь свою убого / Сложил из пустяков. / Не чересчур ли много / Вас было, штрафников? / Босаявка косопузый, / Военною порой / Ты умер, как Карузо, / Скончался, как герой!*

Несусветная совершенно амплитуда характера, судьбы, времени заключена в этой песне. Начиная от «как прежде одинок», что предполагало борьбу за него безумного количества женщин, но всё-таки он устоял, – и кончая вопросом «Не чересчур ли много вас было, штрафников?», на который есть масса ответов. Вот эта, понимаете, амплитудность в песне настроенческая, она всегда замечательна, она всегда выдаёт большого мастера.

Если из песни делать какой-то кусок жизни значительный и отдавать этому время, то, наверное, к этому делу нужно относиться как-то по-серьёзному. Наверное, прежде всего, нужно, как ни странно, как ни школярски выглядит мой совет, – нужно делать заготовки. Надо рабо-

тать непосредственно, как говорится, над текстом слов. А это бывает часто и огромные наития, и просто чёрная, очень скучная работа. Мне как-то Миша Баранов принёс после смерти Высоцкого вот столько вот листов – черновики Высоцкого. И я их посмотрел и был совершенно поражён. У него такая есть песня – из «спортивных» песен – «Моя толчковая левая, его толчковая правая». Написано мелким почерком, с двух сторон листа – семь страниц вариантов! < сбой в записи >

Уверяю вас, память очень нестойкий момент и многое забудется. Вам кажется, что вы помните сейчас железно, но это всё забудется. Поэтому лучше всего заносить это на бумагу. Потом, возвращаясь всё время к тому, что у вас записано, – это вторая польза записей – вы будете проделывать некоторую реверсионную работу. Не обязательно, что из этих записей у вас будут получаться песни, но они обязательно вас будут толкать на какие-то ассоциативные моменты и действия, и в конце концов, вы придёте обязательно к сочинительству.

Ещё ряд моментов... Мне кажется, когда мы сочиняем и когда вообще занимаемся творчеством, перед нами так или иначе, в той или иной степени встаёт вопрос нашей позиции – в самом широком смысле этого слова. Хотя слова «гражданская позиция» часто очень носят смысл вульгарной социологии. Гражданская позиция – это позиция и понятие гораздо шире. Можно сказать «человеческая позиция», но это очень расплывчато. Перед вами обязательно будет вставать, встанёт, вставал вопрос о вашей позиции. Я лично придерживаюсь из двух позиций – адвоката и прокурора – позиции адвоката, защитника, позиции человека, которому нужно утешить, одобрить, *обнадежить*. Это и есть одна из великих целей. А песня – всё-таки настолько маленькая площадка для творчества, и она такая короткая, такая спринтерская дистанция, что здесь этот вопрос очень важен. Несмотря на то, что сейчас это кажется... или в начале творчества это кажется слишком общим моментом, но рано или поздно вы поймёте, что нужно определиться – не перед кем-нибудь, не перед какими-нибудь организациями и даже не перед друзьями, а только перед самим собой. Вот это важнейшее определение в конце концов самым решительным и невероятным образом будет влиять, и влияет, и влияло на ваше творчество. Я вам скажу абсолютно откровенно, существует мнение о, так сказать, разделении личности художника. Когда художник в быту, в жизни, в социальном окружении, он может быть одним – невыносимым эгоистом, какой-то сволочью, которая тиранит домашних – а вот как только он приступает к творчеству, так тут из него... Знаете, я в это не верю. Хотя художники все люди сумасшедшие в определённом смысле и имеют большое количество странностей, но пустота души, и её несовершенство и слабость – всё это в общем и целом выступает в творчестве. И творчество поэтому и является таким, не то что разительным, а единственным сколом души человеческой и самым главным. Вот это мне кажется очень важным. Очень важно то, что я вам говорю сейчас. Очень важно то, что хотя бы такие слова вы слышите, – и рано или поздно вы поймёте, что это так...

И ещё один момент. Однажды на Грушинском фестивале мы имели большую ночную беседу с Горюничкиным по поводу инфантилизма

в самодеятельной песне. Вот и Дмитрий Антоныч бывал на этой страшной Голгофе, когда приходится за день прослушивать двести авторов. И когда они начинают все идти разом, и всё это происходит одновременно: один уходит – второй, третий, четвёртый. Это не заключительный концерт фестиваля, а прослушивание, отборочное жюри. В общем, колоссальное количество песен, написанных слабой мужской рукой, слабым мужчиной. Переживающим, очень любящим, – но в основном пейзаж один и тот же: дождь, ты ушла, какие-то недостатки в жизни. Такая безвыходность молодой тоски, а молодая тоска всегда несовершенна, потому что в ней нет настоящей тоски, когда прёт тоска настоящая, старая, зрелая... И этот поток песен инфантильных, сочинённых совершенно в разных краях нашей страны, первой в мире железнодорожной державы, он поражает абсолютно. И мы как-то с Сашкой пришли в неопишемую ярость от этого, и рассуждали таким образом: боже мой, куда же всё подевалось?

Д. С.: То есть с позиции прокурора всё-таки, да?

Ю. В.: Нет! С позиции прокурора по отношению к автору, но не к человечеству. Мы думали, что поколение, к которому мы принадлежим, оно ведь вышло из двора, оно родилось в общем не столько от блатной песни, сколько от дворовой. Во дворах московских бытовало гигантское количество песен, которые мы сейчас уже вспоминаем... Было время, когда мы стыдились, что мы их знали. А сейчас мы их вспоминаем уже... Недавно с моим приятелем, большим чиновником, мы страшно вспоминали все слова песни «На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан». Это такая, вообще, дворовая понтыра, ну невероятно просто... ну, это чудо! От силы от некоторой, от того что нужно было в этих условиях выживать, в этих условиях существовать, и появились эти песни, в которых виден мужчина, который может оценить событие, постоять за себя или за даму.

Д. С.: За леди.

Ю. В.: За леди, да, например. Я очень горячо призываю вас – как наибольшие сливки молодые, сбитые с бардовской Москвы, – именно к мужскому началу в песне. То, что было у Высоцкого, то, что есть у Городницкого. Потому что инфантилизм и вялая позиция – она очень привлекательная тем, что она в общем и целом легка, это проторенная дорога, где можно уложить массу замечательных образов, метафор. И чем глубже вы будете погружаться в это затягивающее метафоричное болото, тем будет всё хуже и хуже. Это моё личное мнение. Да.

Д. С.: Я в каком-то смысле чувствую себя как бы мальчиком для битья. Ты не имел в виду лично меня, но имел в виду некоторые явления, которые я отношу к себе. Например, меня публично за инфантилизм всё время ругали...

Ю. В.: Правильно. Мало ругали.

Д. С.: Действительно, я определённо не отношусь к тем людям вроде Городницкого или тебя, у которых культивируется мужское начало...

Ю. В.: Я не сказал бы...

Д. С.: Но это не я один, много есть таких, даже и в классике. Скажем, Чехов мужского начала не культивировал, да?

Ю. В.: Ты сразу такими отбойными молотками бьёшь – Чехов, Толстой. Нет, я просто говорил о том, что в процентном отношении это занимает гораздо большую площадь, чем всё другое, вот и всё, и мне казалось... Кстати говоря, и ты в этом виноват во многом. Потому что известным мастерам подражают, понимаешь, и гигантское количество подражательных песен породили твои песни.

Д. С.: Ну... нет...

Ю. В.: Не нет, а да, Митя. Ты посмотри по клубам, и ты поймёшь...

Д. С.: Я, во-первых, вообще песен не писал, практически.

Ю. В.: Практически – да, но твои песни есть, полно.

Д. С.: Юрий Иосич в другой момент сказал совершенно справедливо, к чему я полностью присоединяюсь, что всё имеет право на существование: и такое – и такое, и массовое и элитарное. Может быть, просто необходимо, чтобы было и такое и такое.

Ю. В.: Здесь моя позиция заключается в том, понимаешь, что... Хочется написать что-нибудь интеллигентное, но не получается у меня, понимаешь? Поэтому... Ты понял?

Д. С.: Я понимаю.

Ю. В.: Конечно. Да нет, это всё шутки. А теперь маленький вопрос, но он существует. Это вопрос успеха. И вопрос, как относиться к аплодисментам или к одобрению.

Д. С.: Или к их отсутствию.

Ю. В.: К их отсутствию относиться плохо. Но вот вопрос переживания мелких или крупных успехов. Они вообще равны. Понимаете, в чём дело... Я не хочу называть имена, но и в бардовском движении был ряд людей, которые не смогли устоять перед кулачными ударами успеха. Не смогли устоять. Они скатились в лучшем случае к водке, а в худшем случае – к проигрыванию той же самой достаточно банальной пластинки, с которой был начат успех. Потому что успех как материальное отражение творчества всё время должен допингироваться новизной, он всё время должен допингироваться поиском, творчеством. И если даже оно вас заводит в неизвестные дебри и туда, где, кажется, ничего не выскребешь, это бесполезные походы, как и бесполезны моменты отчаяния в творчестве.

Когда вы начинаете писать песню, у вас сложившаяся конструкция, вы знаете, к чему вы должны прийти. И вдруг проявляется момент, который вас начинает тянуть в совершенно другую сторону, куда вы не смотрели. Я думаю, нужно *туда* идти. Именно туда, где темно. Так и с отношением к успеху. Вас всегда должна преследовать мысль (я сейчас говорю как дедушка русской авиации), что этот успех, который вы сегодня имеете, он вчерашний, это успех вчерашнего дня. Сегодня ничего не сделано и не приобретено. Для того чтобы был успех сегодняшнего дня, нужно не застыть, не оставаться в тех формах и на тех горизонтах, на которых вы только что побывали.

Ну, и в заключение моего сумбурного разговора я должен сказать ещё одну вещь. Конечно, самодеятельная песня отличается от профессиональной тем, что она, в общем, песня в свитере, песня в ковбойке, и ей претят блёстки на лацкане пиджака. Особенно отвратительно, ко-

гда... Вот развелось масса песен о БАМе. И выходили молодые люди в каких-то немыслимого цвета, в фиолетовых пиджаках, снабжённых какими-то блёстками (из вокально-инструментальных ансамблей), в лимонных, и, расставив широко ноги, начинали петь про БАМ, как они там якобы что-то куют и ветры свистят, – ну это кошмар! Это какая-то дикая пошлятина и низость. И всё-таки, выходя на сцену, вы должны уважать зрителя. Я имею в виду моменты, связанные, как говорят в армии, с формой одежды. Не обязательно, чтобы вы были одеты, как граф Монте-Кристо Магомаев. Но вы должны одеваться пристойно. Аккуратно. Потому что у сценического момента (это целая особая статья) есть законы приспособляемости зала к певцу или зала к актёру, так же, как и актёра к залу. Если вы даёте сольный концерт или отделение, то первые три песни, которые вы поёте, проскакивают мимо. Они проскакивают мимо – и отдавайте их на съедение, сразу. Потому что это то мясо, в результате которого вы должны наладить общение друг с другом. Если в вашей одежде есть какая-нибудь вызывающая деталь – оденете красный бант – то весь зал будет весь концерт смотреть на этот бант и больше ни о чём не думать. Так устроен зритель! Они действительно так устроены, понимаете? Поэтому моменты, связанные с поведением на сцене, очень сложны и разнообразны. «Последний шанс», предположим, двигается совершенно не так, как Дольский или ещё кто-нибудь. В этом существует жанр. И ряд шокирующих моментов, которые были в раннем «Последнем шансе», абсолютно шли в жанре того, что и как они исполняли; это было содержанием, собственно говоря, этого концерта, – содержанием именно. Если вы одеты и держитесь респектабельно, то это один образ. Если вы одеты более свободно и более свободно общаетесь с залом, это – другой. Но, во всяком случае, образ свой вы должны как актёры создавать, вы от этого никуда не уйдёте, если будете выступать. Это тоже задача – и задача, которая решается в каждом конкретном случае по-разному.

В заключение своей нехитрой беседы хочу сказать ещё одну вещь. Как мне кажется, искусство как таковое – вообще – призвано удивлять человека, – если мы будем выражаться языком для пешеходов, несложным. Оно призвано удивлять и через удивление уже достигать своих других целей. Сказать человеку «будь героем» – это всё равно, что ничего вообще ему не сказать, лучше воздух не тревожить ради этой фразы. Но спеть песню, в результате которой человек сам придёт к этому выводу, и спеть песню такую, в которой был бы элемент того, что я называю удивлением, того, что может человека зацепить необычно, – вот это, мне кажется, и есть номер, которым стоит заниматься. Другое дело, что существует поэзия и вид песен, который удивителен сам по себе. Булат Окуджава не пользуется какими-то резкими моментами. Его поэзия чрезвычайно пряма и иногда до банальностей пряма. Он пользуется очень маленьким образом, но это образ абсолютно точный. Это, так сказать, поэтическая «десятка», понимаете? Как использование фамилии героя Лёнька Королёв. «Он кепчонку, как корону» в одном месте, и «Я Москву не представляю без такого, как он, короля», – всё! Но это абсолютно точно расставлено, в прямой поэзии, абсолютно не метафорической. Метафора, во-

обще, в песне чрезвычайно, так сказать, опасная вещь. Она должна быть ярка и очень точна. В этом смысле Булат нам подаёт замечательный пример, условно говоря, прямой поэзии, которая содержит момент того, что нас удивляет. «Я эмигрант с арбатского двора». Это очень маленький объём, очень маленький. Но это очень точная мысль, очень точное чувство, которое развито (или развито? нет, не знаю) на очень маленькой площади, и населена эта площадь очень небольшим образом, но который мы чувствуем и можем его понять, можем его ощутить...

Ребята! Вот всё, что я хотел вам сказать из своих наблюдений.

Д. С.: Юрий Иосич, зашла где-то речь об элитарности. Было сказано, что элитарность лежит в основе инфантильности, и вы обещали развить эту мысль. Можно попросить?

Ю. В.: Но я её развил, по-моему.

Д. С.: Нет. Инфантильность, как я понял, это отсутствие мужского начала. Да?

Ю. В.: В общем да. Привязались к этой инфантильности, зачем я только сказал... Ну, можно сказать по-другому. Я просто стою за... Вот езда на автомобиле: есть пассивная и есть активная. В пассивной езде вы попадаете в дорожные ситуации, а в активной вы их создаёте. И создавая ситуацию, вы знаете точно, как вы из неё выберетесь. Я лично за активную езду.

Д. С.: А после нас хоть потоп?

Ю. В.: Да. Абсолютно. Да.

Голос: С точки зрения ГАИ те, кто создаёт ситуацию, менее желательны...

Ю. В.: Безусловно. Безусловно. Я просто за активную позицию в авторской песне. Потому что зеркал – полно. Ах, знаете, я зеркало, я отражаю мир. Он такой плохой, я ничего не могу с ним сделать. Или он такой хороший, но я – зеркало. Таких зеркал, знаете, вон сколько.

Д. С.: Одно дело мягкость как черта характера, она...

Ю. В.: Мягкость это не инфантильность, это разные вещи...

Д. С.: ...она может сочетаться с твёрдостью убеждений. И это совершенно другая вещь.

Ю. В.: Вот Чехов, например.

Д. С.: Вот Чехов, например. <общий смех>

Голос: Мне кажется, здесь речь идёт о разности мировоззренческих позиций. Бывают времена, когда люди (и это не так уж плохо) размахивают палками и в жизни, и в искусстве, часто у них бывает более лобовитая позиция, и довольно чётко сформулированная. С другой стороны, наступают когда-то времена – чеховские, когда люди утомляются, что ли, немного, и это не пассивная жизненная позиция, а более спокойный и, в известном смысле, более мудрый взгляд на мир. Когда те же, грубо говоря, декабристы кажутся своеобразными монстрами.

Ю. В.: То есть вы рассматриваете инфантильность как альтернативу другому существованию, так скажем. Да? Как известный уход?

Тот же голос: Как более мудрый взгляд на мир.

<голоса про то, что не случайно появился фильм Никиты Михалкова про Илью Ильича Обломова...>

Ю. В.: Но это мало связано...

Тот же голос: Просто есть две разных жёстких позиции... Есть позиция, как в рассказе Шукшина «Срезал», когда человек просто срезаёт... А есть другая позиция...

Ю. В.: Мне понятна ваша мысль. Вы рассматриваете инфантилизм как альтернативную тему, что ли, направление в искусстве. Да? Правильно?

Тот же голос: Да.

Ю. В.: Ну понимаете... Несмотря на простоту примера, должен сказать... Вот булатовские песни не инфантильны. А позиция чрезвычайно мягка. Очень мягкая позиция, но инфантильными их назвать нельзя.

Д. С.: Да, и в них нет культа мужской силы. А?

Ю. В.: Есть, Митечка. Он менее, что ли, чем у Высоцкого выражен. Володя был вообще – распахнутый совершенно, с кулаками на отмажку. А у Окуджавы всё абсолютно... Но позиция безусловно мужская.

Д. С.: Да, но не мускульная.

Ю. В.: Не громкая.

Д. С.: Не мускульная.

Ю. В.: Да, не мускульная, абсолютно точно... Понимаете в чём дело... Здесь, так сказать...

Д. С.: И это никак не связано с элитарностью.

Ю. В.: Нет, это связано. Понимаешь, в чём дело. Вообще, слово «элитарность» не ругательное, на мой взгляд.

Д. С.: Конечно. Может быть, даже наоборот – хвалебное.

Ю. В.: Да. В известном смысле, элитарна вообще вся поэзия.

Д. С.: Конечно.

Ю. В.: Я ругаю ту элитарность, которая рождает снобизм. И которая потом превращается в довольно бесплодную тематику: что меня не понимают, что я очень хорошо пишу, я очень талантливый, а меня не понимают. И есть замечательные сразу примеры, что Белинского выгнали из университета за неуспеваемость, – и всё, и тут можно прикрыться сразу массой гениев и таким образом дальше под всеми парами шуровать вперёд. Так вот, под словом элитарность я имел в виду именно это. Когда произведение не имеет что ли потенции, обращённой к другому человеку. Вот это мужское начало, которое...

Д. С.: Мужская потенция?

Ю. В.: Именно! Dixi.

Голос: А как насчёт общения с теми, перед кем вы выступаете. Или всё-таки скорее вы себя показываете?

Ю. В.: Проблема общения с залом, конечно, существует. Она существует не только для меня, а для любого человека, который выходит на сцену, даже для объявляльщика. Потому что, как только вы начинаете выходить перед людьми, которые собрались с совершенно определённой целью, так сразу перед вами возникает ряд задач, которые вы должны решить. Что касается меня, предположим, то у меня есть... Я строю свои концерты таким образом, что у меня есть ряд тестовых моментов в песне... то есть они написаны просто как песни, но внутри них есть ряд моментов. И когда я вижу, что зал так или иначе реагирует на эти строчки, я в дальнейшем начинаю вносить коррекцию в свою про-

грамму. Если они вообще ничего не понимают, то приходится очень быстро и оперативно перестраиваться, на ходу. Репертуар большой и можно что-то выбрать. Но должен сказать... Вот, например, у меня был концерт однажды, года два назад, который меня поразил. Обычно на концертах я пою (ну, так складывается) двадцать две – двадцать пять песен, это средняя длительность концерта, со всякими словами, с выходами, аплодисментами, – в общем, так получается. И года два назад (если не больше) у меня был концерт в Доме культуры «Правды». Ну, такой обычный концерт. И сидели в основном рабочие типографии, как я потом выяснил, – типографии «Правды». Как вдруг где-то в начале концерта я ощутил такое невероятное единение с залом и такое совершенно небывалое, я даже не знаю отчего, понимание, даже не то что понимание (чего там понимать!), – это была просто *огрия*, *огрия* <дважды произносит именно так: «огрия»> песен, я спел 43 песни, хотя это и физически очень тяжело. И я клянусь, что я не понимал даже причин этого. Из песен, написанных мной (я написал около трехсот песен), я пою на концертах очень немного. Пою порядка пятидесяти песен – которые есть в ореоле сценического исполнения. Потому что, кроме всего прочего, песня, которая поётся с эстрады, должна иметь... даже трудно определяемые эстрадные качества – вот так можно сказать. То есть она должна более коротким путём, чем другие, идти к человеку, к зрителю. Мои песни, которые я очень люблю и считаю, хм, вершинами своего творчества, я никогда в жизни не пою на концертах. Потому что, во-первых, это исполнение приносит мне безумную травму. Я человек эмоциональный, и иногда у меня слёзы наворачиваются, когда я пою, – на сцене. Это происходит. Правда. Но когда выносишь любимого дитя во двор и говорят: «А... хорошая девочка», – и уходят, то я от этого безумно расстраиваюсь. Во-первых. И во-вторых, сама мысль о том, что это произведение не пойдёт прямым путём... Хотя, конечно, будут люди, которые включатся в него... Поэтому песни, которые я пою в концертах, – в них должно присутствовать небольшое эстрадное качество. У меня позавчера было выступление в коллективе, который я прекрасно знаю, где сидели тысяча двести человек. Это коллектив 15-й больницы, где я лежал с инфарктом.

Д. С.: Так эти полторы тыщи были после инфаркта? Или врачи?

Ю. В.: Врачи.

Д. С.: Зачем так много?

Ю. В.: Ну, большая больница. Но я там очень многих людей знаю, и очень многие люди знают меня. Приехали Жванецкий, Карцев, Ильченко и я. Ну эти-то, вообще, просто танки «Фердинанд»!.. Я думал: скажу два-три слова и полчаса попою, но после второй песни с первой скорости переключился на четвёртую. Потому что было чрезвычайно трудно, непередаваемые рыдания. Ну, когда выступаешь в коллективе после полочки – одно выступление, а после партийного собрания с критикой директора – это совершенно другое. Это у них у всех написано на лицах, и ты с ними должен бороться, ты должен как-то заставить их послушать, что ты хочешь им сказать. Карцев и Ильченко когда вышли и стали исполнять ну абсолютно беспроектную вещь «Собрание на винно-водочном заводе», ползала ушло. А Мишка вообще

вступил в конфликт с залом, стал говорить «если не нужно – уходите». Там чёрт-те что в итоге началось. Но на этом фоне я прошёл вообще, как противотанковое оружие. Вообще, должен сказать, скажу совершенно откровенно, я считаю, что ремесленная часть моих выступлений достаточно профессиональна. Каких-то там детских накладок уже не бывает – я уже очень много выступал в своей жизни. Однако. Уровень концерта и его успеха – даже дело не в успехе, а дело в том, как концерт проходит – всегда зависит от того, сколько душевных сил ты положил на этот концерт. При любой технике, при любых микрофонах. Это абсолютнейшая аксиома. Сколько ты отдал, столько и получишь.

Голос: Вы говорили о коррекции по ходу концерта. А режиссуру концерта, какие-то фразы – вы их готовите изначально, априори?

Ю. В.: У меня разработанных шаблонов нету. Я не могу сказать: посмотрел – зал выпимши, значит, вариант № 17. Всё происходит в естественном общении с залом. Замечательный случай, рассказанный Ростроповичем. Была в своё время мода, когда они ездили: Англия, Франция, Канада, и после этого обязательно – Урюпинск, Саратов, Кемерово, да, в глубинку. И вот Ростропович однажды приехал в какое-то место, где не оказалось фортепьяно на сцене, а ему нужно сопровождение. Сопроводитель есть, а инструмента нету. Ему говорят: у нас здесь есть замечательный баянист, он по нотам замечательно всё вам... Ростроп, значит, с ним поиграл, – действительно, парень по школе играет всё. И они вышли. Шахтёрский посёлок. Ну, он стал играть – а этот на баяне. Потом рассказывает: вижу, что в первых рядах сидит большой мужчина, который всё время что-то хочет мне сказать, и тихо очень говорит, я не могу понять. Я играю и всё время пытаюсь понять. Наконец он встал и сказал: «Да замолчи ты, дай баян послушать!» Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но это – живое общение с залом.

Коррективы, как они вносятся? Просто есть ряд песен, которые требуют углублённого внимания аудитории, так скажем. Или тонкого понимания вещей (какого-то, поэтического). Но это не всегда бывает. И когда этого не бывает, то лучше этим не заниматься. Потому что, когда ты понимаешь, что если люди не реагируют на определённые моменты, то уж дальше они... всё это будет проскакивать. Тогда лучше огрублять программу. Вообще, это довольно тонкие вещи.

Голос: А вот вы считаете, ваши песни, каких большинство: для пения или для слушания?

Д. С.: Позиция была высказана.

Ю. В.: Нет, вы знаете, нет. Я говорил так только потому, что *потом* анализировал. И я, и вы, никто из нас не садится за стол и не берёт гитару и не думает: сейчас я напишу песню для пения. Её будут петь, она должна быть бодрой...

Д. С.: Профессиональные композиторы именно так и говорят: давай, старик, массовую напишем. У них есть такое выражение.

Ю. В.: Массовую – да. Возможно.

Д. С.: Они уже не сомневаются, что... не что масса её подхватит, но что в массовом количестве будет идти через эфир, скажем так...

Ю. В.: Да, есть редакция массовых песен, так называемая. Нет!.. Самую популярную, насколько понимаю, свою песню «Солнышко

лесное» я написал как лирическое произведение, я совершенно не предполагал, что её будут петь огромные массы людей. Но, конечно (ещё раз говорю), это не показатель качества. Есть замечательные песни, которые никто не может петь, кроме автора. И тем не менее они остаются прекраснейшими произведениями. Но песни Булата почти все поются. Вот это – вдохновляющий пример, я бы сказал.

Я за широту взгляда. Самое главное, что есть в песне вообще, – это интонация. Интонация *песенная*. Это не интонация мелодии, а интонация самой песни. Это свой голос. И его нужно обязательно возвращать в себе, поливать, удобрять и отстаивать. Именно *свой* голос. Когда ты почувствовал, что это ни на кого не похоже, а твоё, маленькое, но твоё, – тогда из этого вырастет очень многое.

Голос: Есть мнение, что в жанре самостоятельной песни важно слушать песню в исполнении автора.

Ю. В.: Да, это так. Многие песни, даже известные, можно услышать в таком исполнении, что от них ничего не остаётся. Здесь мы уже приближаемся к вопросу, связанному с печатью, публикацией, звучанием и так далее. Это совершенно другая тема. Мы сейчас говорим о творческих моментах. Конечно, авторское исполнение наиболее полное и лучшее, как мне кажется. Хотя, есть, например, у меня одна песня, которую я спеть не могу, у меня голоса нету. Песня называется «Многоголосие». Вот её очень многие, особенно женские дуэты, пытались петь. На самых различных фестивалях, и в провинции, и в Москве. Никто её не спел так прекрасно, как я. Ни один коллектив. Ну клянусь тебе! Совершенно безголосый. Потому что в этой песне совершенно о другом говорится, а не о разложении голосов.

Д. С.: Может быть, вот так сказать: когда бардовскую песню поют люди из другой песенной культуры, то она действительно как правило проваливается и теряет всё. Но вот внутри КСП многие ансамбли, по-моему, очень здорово делали песни. Возьмём «Домино» или старый ансамбль Никитина, когда был квинтет, – многие песни просто зазвучали совершенно...

Ю. В.: Да, егоровская песня прекрасная у них была. «Дожди».

Д. С.: Мне кажется, это было вершиной существования этой песни. Ещё «Когда я пришёл на эту землю». Никто бы не знал этой песни, если бы её так мощно не спели никитинским ансамблем.

Ю. В.: Здесь было одно исключение. Кира Смирнова сделала прекрасную программу песен Новеллы Матвеевой – и это было лучше, чем поёт Матвеева сама. Та сиротская интонация, которая присутствует во всех её песнях – у Киры она присутствует, но только там, где нужно.

Голос: Если, как вы говорите, первые строчки отдать мелодии... Ну а если дальше слова не вписываются?

Ю. В.: Понимаете в чём дело. Я не сочиняю стихи, я сочиняю сразу песню. И у меня рождается строчка вместе с музыкальной интонацией. И тогда начинается дикая борьба, понимаете. Я с некоторых пор очень не люблю работать с другими композиторами. Потому что они почти всегда тянут в другую сторону. А вот те безумные муки, когда ты, бесконечно упрекая себя в бездарности, сам сочиняешь всё это, – в этой борьбе с самим собой и проходит творчество.

Кстати говоря, я думал, здесь будет кассетник. Есть замечательная задача на композицию, на конструкцию песни.

Д. С.: Вот кассетник.

Ю. В.: Наблюдая творчество своих товарищей... У меня есть, например, такая тенденция, так сказать, за них дорешёвывать нерешённое, или дописывать недописанное, или пытаться представить себе другую комбинаторику произведения. Когда рассматриваешь чужое произведение, кажется невероятным, что автор, причём очень опытный, проходит мимо таких замечательных решений и уходит в совершенно другую сторону.

Д. С.: Ну, давай поупражняемся.

Ю. В.: У Жени Клячкина есть песня...

Д. С.: У меня, например, всегда возникает желание отредактировать песни Юрия Визбора. Или сборники стихов, которые я читаю... Мне подарит какой-нибудь доверчивый человек сборник своих стихотворений, – я начинаю коверкать эти стихи, переставлять, дописывать... Есть кассета?

Ю. В.: Вот песня Жени Клячкина, где он, как мне кажется, прошёл мимо замечательного приёма, который мог бы всю песню изменить. Может, вы её знаете, это «Ночной пейзаж»... Песня эта очень хорошая, я не хочу ни в коем случае охуливать или охаивать это произведение. «Ночной пейзаж», он так и есть ночной пейзаж.

<Звучит кассета, Клячкин поёт:>

Июнь, четвёртый час утра, / Всё спит, на улице погода, / Поскольку не было захода, / То и восхода тоже нет, / То и восхода тоже нет. // Я удивляться перестал / Наличию той странной силы, / Что в девять с ног меня свалила / И усадила в три за стол. // В Смоленке плавают дома, / Кусты притемнены искусно. / В перечисленьях столько грусти, / Что впору не сойти с ума, / Что впору не сойти с ума. // Пока понять мне не дано, / Которой же из строчек ради / В ночном спокойном Ленинграде / Моё глядит на мир окно. // Недвижен воздух в этот час, / Не разрываемый гудками, / И тихо остывают камни, / Тепло хранящие для нас, / Тепло хранящие для нас. // Блажен, кто не искал страстей, / Не зная, что это такое, / Ни жизнью тихую своей, / Ни смертью мир не беспокоя. // Укрыты Запад и Восток, / Единой бледной пеленою, / И низко небо надо мною, / И горизонт не так далёк, / И горизонт не так далёк.

Ю. В.: Ну вот, собственно, и всё. Я приволок эту песню как, на мой взгляд, образец неиспользованного замечательного приёма, который в ней заключён. Зерно конструкции появилось, и оно оказалось брошенным, он поехал в другую сторону.

Д. С.: Ну, всё-таки, своими словами, чтобы было понятно.

Ю. В.: Первые четыре строчки: *Июнь, четвёртый час утра, / Всё спит, на улице погода, / Поскольку не было захода, / То и восхода тоже нет...*

...Недвижен воздух в этот час, / Не разрываемый гудками... / В Смоленке плавают дома...

И там начинается, так сказать, ряд пейзажных подробностей. Их можно писать на восемнадцать куплетов: такой пейзаж, сякой пейзаж,

это так выглядит, другое по-другому выглядит. Однако строчки «Поскольку не было захода, то и восхода тоже нет» – они естественно...

Д. С.: Они достойны лучшей судьбы, да?

Ю. В.: Они естественно требуют развития. Поскольку не было радости, то не будет и печали, поскольку не было любви, то не будет – и так далее. Это явное поле для поэтического конструктивного мышления, которое здесь упущено.

Голос: Может, он другую задачу себе ставил...

Ю. В.: Возможно...

Голос: ...«кто не искал страстей» – это то же отсутствие восхода...

Ю. В.: Нет-нет-нет... Я не усматриваю здесь никакого развития.

Голос: А какой у вас вариант развития? У вас есть?

Ю. В.: Нет. Я просто говорю о зерне, которое здесь есть и которое не использовано, очень яркое и сильное зерно.

Голос: А может, получилось бы более прямолинейно?

Ю. В.: Может быть, конечно. Я говорю так, как я мыслю. Но мне кажется, что это утерянная возможность.

Д. С.: Это естественная вещь, что когда мы слушаем или знакомимся с вещью другого автора, то часто возникает желание что-то добавить, что-то улучшить и кажется, что у нас получается лучше. Вспоминаю случай с тем же Клячкиным, только на этот раз он был в противоположной роли. Могу принести и показать кассету, это песня Никитина «Монолог у новогодней ёлки», домашняя запись.

Ю. В.: На слова Левитанского.

Д. С.: Клячкин там придумал мелодический ход. Он сказал Никитину: «Ты пой, а я наложу свой голос и покажу, как мог бы здесь звучать музыкальный фон». Он очень здорово придумал.

Голос: Легко говорить уже потом, задним числом... Тропочку когда протопчет кто...

Д. С.: Нет, это было совершенно самостоятельное дополнение, то, чего не было у Никитина. И то, что сейчас предлагает Юрий Иосич, – развить фразу, даже не мысль, здесь мысли нет, – фразу. Но она может быть импульсом к развитию в другую сторону, не в пейзажную...

Ю. В.: Ребята! Я не хочу, во-первых, обвинить Клячкина, и, во-вторых, не хочу никаких альтернативных мнений. Я просто вам говорю, что вот пример, когда можно было повернуть песню в другую сторону. Это не означает, что она будет гораздо лучше, чем написанная. Это просто пример конструктивного мышления, конструктивного отношения к песне.

Д. С.: На самом деле улучшать чужие вещи легче, чем свои. И на этом можно тренироваться, набивать себе мозоли, это полезная вещь.

Ю. В.: Да.

Голос: Лермонтов так делал.

Д. С.: Да? Я этого не знал. Мы можем друг друга редактировать. Без обид. Это же для себя, не для печати. Именно как упражнение.

Сейчас вопросы немного иссякли, и мне хотелось бы обратить внимание тех, кто ходит сюда регулярно, что некоторые вещи, которые рассказывал сегодня Юрий Иосифович, делясь своими мыслями, они, эти мысли, совпадали с тем, что нам уже здесь приходилось

слышать. Вот, например, я себе записал, что когда речь шла о песне Анчарова, да? – вы, Юрий Иосич, сказали, что в песне хорошего автора присутствует амплитудность настроений. И как раз этой амплитудности настроений посвятил здесь свой рассказ Валентин Дмитриевич Берестов, но на материале русской народной песни. Он говорил, что в старинной русской песне это часто присутствует: она начинается за здравие, а кончается за упокой, или наоборот, или просто чередуются эти крайности. На самой первой нашей встрече здесь был поэт Алексей Королёв. Когда он говорил о работе с черновиком, много прозвучало сходного с тем, что и вы сегодня говорили.

Но некоторые из сегодняшних вопросов мы прежде не слышали, хотя собираемся не первый раз. Например, о взаимоотношении со слушателем или с читателем, что в конце концов одно и то же, – это целая отдельная проблема, очень интересная, и Юрий Иосифович, помимо, с нами здесь интересно делился собственным опытом. Речь ведь идёт не только о коррекции, скажем, программы концерта, а это гораздо более широкий вопрос – вопрос взаимопонимания, как его добиться. О первых нескольких песнях, которые отдаются на заклатание, я не раз слышал и от Никитина. Он тоже кладёт несколько песен на погибель, но эта гибель – она во имя развития концерта: удастся или не удастся в этот момент создать контакт с аудиторией.

Конечно, если у вас есть новая песня, которая вам кажется самой лучшей, самой главной, нужно подготовить, приучить уже публику к себе двумя другими. Тут вы можете положить всё что угодно. Но главное – это должны быть песни, которые расположат к вам публику, облегчат ей понимание того, что для вас особенно важно.

Это действительно важные вещи, и здесь опыт каждого, кто имеет такую огромную практику, какую имеет Юрий Иосич, – для всех для нас огромная ценность.

Голос: Есть две концепции, противоположные. Одни говорят, что первое впечатление самое сильное и от того, как ты нанесёшь первый удар, зависит всё дальнейшее поведение аудитории. И есть другой подход...

Голос: На большом концерте – это одно. Всё от дистанции зависит...

Ю. В.: Да, всё зависит от дистанции, но даже на такой дистанции, как три песни...

Голос: Это самая трудная дистанция.

Ю. В.: Да, это 400 метров примерно в беге: когда нужно бежать четыре раза и все по стометровке. Я бы лично, если бы передо мной такая задача стояла, я бы спел одну песню самую известную, старую, которая как знак стоит просто: что я автор такой-то песни; вторую песню какую-то проходную; а последнюю – самую ударную или новую, на которую я возлагаю какие-то надежды. Но обязательно с ударной концовкой...

Д. С.: Может, споёте нам три песни, Юрий Иосич?

<Визбор трогает струны...>

Игорь Бяльский

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

На тыльной стороне обложки его последней книги рассказов, вышедшей в библиотеке ИЖа, удостоился и я чести оставить собственную фразу. Повторю: «Среди моих благодарностей Всевышнему – благодарность за знакомство с Ицхокасом Мерасом и его прозой».

Изя... Он с достоинством пронес это простое общееврейское имя, которым называли его друзья и знакомые, вместе с торжественным литовским *Ицхокас*.

Летом 1990 года Сохнут устроил для писателей – новых репатриантов семинар с двухдневной экскурсией по Галилее, и Изя Мерас – так он представился – встал сразу же после длиннющего напыщенного тоста тогдашнего главы Еврейского агентства и сказал всего несколько слов о том, что верить высокопоставленному чиновнику не стоит, что ни Сохнут, ни другие прославленные конторы устроиться в Стране в качестве писателей нам не помогут, что первым делом надо выучить иврит и научиться зарабатывать на жизнь не литературным, а более обыкновенным способом и всё же пытаться продолжать писать. Слава Богу, получилось. Во всяком случае, в первые годы в Израиле: стройка, охрана, уборка дали возможность познакомиться с новыми реалиями поближе, а главное – отвлекли от бесплодных стрессов.

Начиная с 90-х годов рассказы Мераса блистательно воссоздавала на русском Соня Шегель, и все её новые переводы, пройдя самую педантичную авторизацию классика (да, классика!), с колёс печатались в ИЖе. Соня же опубликовала в нашем журнале и несколько замечательных статей о писателе.

...Будучи в курсе постоянных проблем ИЖа с финансированием, а точнее, с отсутствием этого самого финансирования, Изя, словно забыв лаконично изложенный в самую первую нашу с ним встречу собственный опыт общения с функционерами, куда только не слал горячие просьбы материально поддержать «лучший литературный журнал на русском языке в Израиле», но немногочисленные утешительные ответы милых секретарш (не исключаю, что до боссов письма могли и не дойти) на его просьбы были устными и продолжения не имели.

Однако именно Мерас помог ИЖу как ни один из олигархов. Лет восемь назад, прекращая деятельность творческого объединения, которое Изя со своими друзьями основал еще в 70-х, он сумел перечислить все остававшиеся на счету Товарищества им. И. Бабеля деньги нашей «Иерусалимской антологии», что позволило выпустить несколько номеров журнала.

А вот, как говорят продвинутые пользователи, – офтопик. Еще в прошлой жизни прочитав строки Бориса Слуцкого *По отчеству!* – *учил Смирнов Василий, – / их распознать возможно без усилий!* / – *Фамилии сплошные псевдонимы, / а имена – ни охнуть ни вздохнуть*, пытался я определить, о каком Смирнове идет речь, но безуспешно. И только совсем недавно – из рассказа Феликса Дектора о полувекковой давности мытарствах по редакциям в попытках опубликовать свой перевод первого романа Мераса – прояснилось. «Редакторы “прогрессивных” литжурналов, – вспоминал Дектор, – ужасно боялись, что им припают еврейский национализм, и только редактор «Дружбы народов», известный в тогдашних литературных кругах своим положительным отношением к лицам определенной национальности, Василий Смирнов, прочитав рукопись и оценив эту, по-настоящему поэтическую прозу, решил роман напечатать. Он обвинений в сотрудничестве с “сионистами, маскирующимися под личинами литераторов,” не предполагал.¹ После чего спустя год “Юность”, уже почти без колебаний, опубликовала второй роман Изю».

Только сейчас начинаю осознавать, что Мерасу, несмотря на всю его любовь к Эрец-Исраэль и прожитые здесь десятилетия, в профессиональном смысле было намного труднее, чем нам, пишущим по-русски. Довольно мало израильтян разговаривают на его родном литовском, а читают – совсем уж немногие...

Завершить сумбурные эти заметки хочу словами Мераса о себе, которые он счел нужным разместить на той же обложке уже упомянутого сборника рассказов «На полпути»: «Есть писатели, умеющие не обращать внимания на окружение, на читателей, на критику... Иногда я думаю, что мне недоступна наивысшая ступень творчества – писать, не задумываясь о том, прочтет ли это хоть кто-нибудь. Мне, грешному, нужен и читатель, и критик, и друг-приятель, который похвалит или попеняет».

...Когда я приехал навестить Изю в одной из тель-авивских больниц, в которых он провел последние месяцы жизни, то пересказал ему слова своего старшего сына об этой книге: «Рядом с Мерасом могу поставить только Ремарка».²

Услышав «отзыв читателя», Изя, уже не встававший с постели, заулыбался и мечтательно завел речь о будущей публикации в ИЖЕ своего главного, как он считал, романа «Стриптиз»...³

– Хорошо, – наигранно-весело сказал я, – выздоравливайте, и будем редактировать перевод вместе...

¹ И, возможно, зря не предполагал, подумал я, прочитав полчаса назад статью в Википедии о русском советском писателе и журналисте В. А. Смирнове, из которой узнал, что возглавлять «Дружбу народов» он перестал в 1965-м, т. е. в том же году, когда роман «Вечный шах» в этом журнале был опубликован.

² Разъясню: именно Эрих Мария Ремарк – сына, и мой тоже, самый – из прочитанных в переводе – любимый писатель.

³ В портфеле ИЖа давно присутствуют два разных перевода этого романа, но Мерас, строжайшим образом относившийся к каждой публикации, ни с одним из представленных переводчиками текстов не смог согласиться...

Зинаида Палванова

ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Познакомил меня с Инной Львовной Лиснянской Александр Межиров, это было осенью 1990 года в Тель-Авиве...

В сентябре 2001-го, в первый мой после репатриации приезд в Москву, я была в Переделкино, в доме-музее Окуджавы, на 90-летнем юбилее Семёна Липкина, мужа Инны Львовны. Поразило, что Липкин читал наизусть. Начал он со стихотворения «Имена», написанного в 1943 году, и не где-нибудь, а в Сталинграде! О чём оно? О войне, о боях? Вовсе нет. О том, как Адам даёт всему существу имена...

Инна Львовна была всё время рядом с мужем, но словно в его тени, просто была рядом. Я стеснялась подойти к ним – слишком много народу устремлялось к этой, как нынче говорят, звёздной паре. А когда всё-таки решилась, то была щедро вознаграждена: получила в подарок совместную книжку двух поэтов – Лиснянской и Липкина – с таким естественным названием «Вместе». Автограф они тоже «соорудили» вместе. Я обратила внимание, что Инна Львовна – левша...

Семёна Липкина не стало 31 марта 2003 года. Осенью 2004-го я ездила в гости к Инне Львовне в Переделкино с моим московским другом, историком-архивистом, знатоком поэзии Николаем Поболем. Это был день рождения Липкина, на который Лиснянская позвала своих общих с Семёном Израилевичем друзей. Деревянный домик, дачная теснота, симпатичные интересные люди, но не писатели. Были самые что ни на есть «свои». Так, благодаря Коле, я нечаянно попала в разряд «своих». Колю Инна Львовна очень ценила – это было заметно невооружённым глазом.

В конце февраля 2005-го я была в гостях у Инны Львовны уже в Иерусалиме, в доме Лены и Серёжи Макаровых. Распечатала фотографию, на которой на первом плане – её холёная рука с сигаретой... И. Л. попросила задать ей тему для импровизации. Я огляделась и предложила сочинить стихотворение о картине, висевшей на стене и привлекавшей моё внимание своей таинственностью – тёмное озеро среди тёмных гор, покрытых лесом. Инна Львовна немного подумала и начала читать стихотворение, медленно, но верно «нащупывая» строку за строкой...

К 80-летию юбилею Инны Лиснянской я написала шутивное стихотворение о её удивительных руках.

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

*Я общалась, пряча нервы,
С поэтессой, с королевой.*

– Как Вы пишете шедевры?

– Очень просто. Одной левой!

– Неужели? Боже правый,
 Сколь таинственны поэты!
 Что же пишете Вы правой?
 – Правая – для сигареты!

Ах, одна другой прелестней,
 Руки правят королевой!
 Сизый дым стоит над песней.
 Боже правый! Боже левый!

Как же я обрадовалась, когда узнала, что лауреатом премии «Поэт» (2009) назвали Инну Лиснянскую! Это был год 70-летия Коли Поболя, и впервые за многие годы я приехала в Москву не осенью, а весной. Цветёт сирень. Мы с Колей пошли на церемонию вручения премии. Зал полон. Сцена освещена, а в зале света нет, что создаёт атмосферу особой торжественности. Инна Львовна в чёрном платье, с чёрной шалью на плечах, читает, сидя в кресле за низким столиком, держа перед собой листы со стихами. За букетами цветов, как за баррикадой.

Из письма Сергея Макарова от 8.11.2010: *«Инна Львовна написала несколько стихов, курить бросила, чувствует себя удовлетворительно. <...> Огромный привет Коле».*

В феврале 2011-го – презентация на Иерусалимской книжной ярмарке книги И. Л. «Перемещённые окна». Из письма Серёжи: *«...привезти Инну Львовну не получится, но она написала приветствие».*

В мае 2011-го И. Л. снова в больнице. Бледное лицо, больничная одежда... А руки её по-прежнему прекрасны. Каким-то чудом она ухитрилась делать маникюр даже в больнице!

Просматриваю переписку с Макаровыми. Поздравления с наступившим 2012-м. Весеннее письмо: *«...Инна Львовна преодолела "планку" и чувствует себя стабильно. Более того, СТАЛА ПИСАТЬ!»*

Время летит. Вот уже и 2013-й на пороге. Письмо из Хайфы: *«Поздравляем с 2013 – желаем много вдохновения и здоровья. У нашей поэтессы пока, тьфу-тьфу! – и то, и другое».*

В конце января 2013-го пришла весть из Москвы: не стало Коли Поболя, нашего общего любимого друга. *«Мама очень тяжело переживает Колину смерть. Приехали бы к нам, мы бы про Колю поговорили»*, – пишет мне Лена.

И. Л. отозвалась на смерть Коли горькими пронзительными словами: *«...Трудно даже говорить об этом – ушло от нас огромное чудо доброты, щедрости, понимания и сочувствия. < ... > Если в космосе есть дыры, то глубокая дыра останется с нами после ухода Николая Львовича Поболя».*

Есть одна книга на этом свете, где мы с Инной Львовной оказались под одной обложкой, – это книга памяти Николая Поболя «Собеседник на пиру».

А 12 марта 2014-го пришло письмо от Лены и Серёжи Макаровых с известием о кончине Инны Лиснянской...

ИМЕНА

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966). В Иерусалиме именем Агнона названа улица, здесь расположен дом-музей писателя; его архив хранится в Национальной Университетской библиотеке. В «ИЖ» произведения **Ш. Й. А.** опубликованы в №№ 2, 5, 8, 10, 39, 47.

Мария АМОР (Перуанская) родилась в Москве. Репатрировалась в 1975 году. Окончила истфак Иерусалимского университета. Работала пресс-секретарем Сохнута. С 2000 года живет в Висконсине (США). В «ИЖ» № 35 опубликована повесть **М. А.** «Пальмы в долине Иордана». Ведет блог в Живом журнале: <http://maria-amor.livejournal.com/>

Александр БАРАШ родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог. В 1985–89 годах издавал (совместно с Н. Байтовым) альманах «Эпсилон-Салон», был участником клуба «Поэзия». Репатрировался в 1989 году. Автор книг стихотворений «Оптический фокус» (1992), «Панический полдень» (1996), «Средиземноморская нота» (2002), «Итинерарий» (2009), романа «Счастливое детство» (2006). Стихи **А. Б.** включены в антологии «Строфы века», «Самиздат», «Crossing Centuries» и др. Лауреат премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002). Живет в Иерусалиме. Работает на радио. В «ИЖ» опубликованы стихи **А. Б.** (№ 37), переводы из И. Амихая (№ 44).

Геннадий БЕЗЗУБОВ родился в Москве в 1946 году. Жил также в Киеве и Ленинграде. Репатрировался в 1990 году. Стихи публиковались в антологиях «Строфы века», «Самиздат века», «Возвращенный Улисс» и др. Автор пяти книг стихотворений. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов (№№ 2, 9, 24–25, 30, 38) и рецензия на книгу стихов **А. Верника** (№ 3).

Иосиф БУКЕНГОЛЬЦ родился в 1955 году в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт. Репатрировался в 1990 году. Работает реставратором археологических находок в Департаменте древностей. Живет в Иерусалиме. Повести и рассказы **И. Б.** опубликованы в «ИЖ» в №№ 32, 38, 42, 44.

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатрировался в 1996 году. Автор поэтических книг для детей и нескольких сборников стихов. Лауреат литературных премий. Живет в Модиине. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **М. В.** (№№ 5, 14–15, 20–21, 27, 29, 34, 39, 44), рецензия на книгу **А. Крестинского** (№ 16) и заметки о нем (№ 22), заметки об **А. Эппеле** (№ 41). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги стихов «Третья попытка» (2002) и «Следы пребывания» (2011).

Юрий ВИЗБОР (1934–1984, Москва). Киноактёр, журналист, прозаик, сценарист, драматург, поэт, художник. Один из основоположников и классиков жанра авторской песни в СССР. В «ИЖ» опубликованы эссе **Дмитрия Сухарева** «Последний день Юрия Визбора» (№ 3), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26). Легендарный Юриосич стал также одним из героев повести **Юлия Кима** «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17).

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. По образованию сценарист (ВГИК). Работала в документальном кино. Репатриировалась в 1971 году. Переводила с иврита. Автор книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.» (1998, 2007), романа «Красный Адамант» (2006), сборника рассказов «Место для жизни» (2011). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы повесть Ю. В. «Смерть в доме творчества» (№ 29) и главы из книги «Былое и выдумки» (№№ 40, 44, 46, 47).

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), великий израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля (1957). Дом наследия У. Ц. Гринберга в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары переводчиков, презентации «Иерусалимского журнала», творческие вечера и заседания литклуба «ИЖ». В «ИЖ» опубликованы стихи У. Ц. Г. (№№ 13, 16, 19, 20–21, 22, 23, 36, 47), а также его «Манифест» (№19).

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» стихи И. Г. опубликованы в №№ 1, 11, 13, 22, 23, 24–25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44; эссе «Текст к рисункам» (о художнике Саше Окуне) – в № 4, «Блики эпохи» (№ 12); главы из книг прозы (№№ 8, 20–21, 33, 43, 45). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005), «Седьмой дневник» (2010), «Восьмой дневник» (2013).

Ханох (Геннадий) ДАШЕВСКИЙ родился в 1948 году в Риге. Учился в Латвийском университете. Участвовал в подпольном сионистском движении, был одним из руководителей нелегального семинара «Рижские чтения по иудаике». С 1971-го находился в отказе. Репатриировался в 1988 году. Переводы с иврита, идиша и испанского публиковались на литературных сайтах и в альманахах. Живёт в Иерусалиме. В «ИЖ» № 47 переводы Х. Д. из Х. Н. Бялика, Ш. Черниховского, Рахели, А. Шлёнского напечатаны в статье В. Чернина «Домой, в Эрец-Исраэль».

Игорь ИРТЕНЬЕВ родился в 1947 году в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров (1972), Высшие театральные курсы (1989). Работал на телевидении, в газетах. Был президентом Московского клуба «Поэзия» (с 1986), редактировал журнал «Магазин Жванецкого» (1993–2003). Автор многих поэтических книг. Лауреат нескольких литературных премий. Репатриировался в 2011 году. Живет в Кармизле. В «ИЖ» стихи И. И. публиковались в №№ 33, 38, 40.

Наталья КИМ родилась (1973) и живет в Москве. Окончила журфак МГУ. Работала звукооператором в театре-студии «Третье направление», колумнистом и редактором в популярных и профессиональных журналах. В «ИЖ» № 41 опубликованы короткие рассказы Н. К.

Роман КАЦМАН родился в 1969 году в Житомире, репатриировался в 1990 году. Окончил Бар-Иланский университет (1994), тема доктората – «Агнон и Достоевский» (2000), в настоящее время – профессор кафедры Еврейской литературы этого университета. Автор нескольких книг и многих статей об Агноне, Я. Штейнберге, М. Шалеве, Э. Керете и др., о вопросах мифотворчества в литературе, о языке тела, о риторике и проблеме искренности в литературе, а также об альтернативной истории. В последние годы занимается также русско-еврейской литературой и философией, в частности трудами М. И. Кагана. Живет в Реховоте. В «ИЖ» публикуется впервые.

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела в отказе. Репатриировалась в 1987 году. Окончила Еврейский Университет по специальности «ивритская литература», доктор филологии; занимается исследованиями в области современной израильской литературы, её связей с еврейскими классическими текстами, а также с русской культурой; преподаёт. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (1998). Живет в Иерусалиме.

Подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). В этом же номере – эссе **З. К.** «В новый край идешь ты...», в № 7 – эссе об И. Амихее, в №№ 8, 10 – о Ш. Й. Агноне; в № 9 – о Г. Шофмане, в № 12 – о Н. Захе. В ее переводе опубликованы рассказы И. Амихая, Б. Таммуза (№ 7), Ш. Й. Агнона (№№ 8, 10, 39, 47), стихи Н. Заха (№ 12).

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский медицинститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли отечественных афористов» (2009). Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборки афоризмов **Б. К.** (№№ 24–25, 27, 33, 36, 40, 44) и слова прощания с Павлом Хмарой «Плыл по небу самолёт» (№ 37).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил медицинститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград – Иерусалим» (1997). Живет в Текоа. Работает в медицинском центре «Адасса». Лауреат «Русской премии» (2011).

Один из основателей «ИЖ». В журнале опубликованы рассказы **Л. Л.** (№№ 1, 14–15, 24–25, 29, 42, 47), эссе «И вот я увидел» (№ 11); повесть «Проект» (№ 6), заметки о Г. Кановиче (№ 30) и В. Александрове (№ 31), главы из романа «Сказочник» (№ 37).

Инна ЛИСНЯНСКАЯ (1928, Баку – 2014, Хайфа; похоронена в Переделкино). Известная русская поэтесса. Печаталась с 1948 года. Автор многочисленных сборников стихов, нескольких повестей, моноромана «Хвастунья». Участвовала в альманахе «Метрополь» (1979) и вместе со своим мужем Семеном Липкиным и Василием Аксеновым вышла из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из этой организации В. Ерофеева и Е. Попова. Лауреат Государственной премии России (1998), премии А. Солженицына (1999, «за прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания»), премии «Поэт» (2009) и других литературных премий. Последние годы жила в Иерусалиме и в Хайфе.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **И. Л.** (№№ 18, 41, 46) и ее воспоминания о С. Липкине «На крылечке» (№ 22).

Ицхокас МЕРАС (1932, Кельме, Литва – 2014, Тель-Авив). Выдающийся прозаик и сценарист. Воспитывался в спасшей его в 1941 году от уничтожения семье литовских крестьян. Окончил Каунасский политехнический институт (1958), работал инженером в Вильнюсе. Репатриировался в 1972 году. Преподавал в школе. В 1977–1981 гг. возглавлял Союз русскоязычных писателей Израиля. Автор повести «Желтый лоскут» (1960); книг прозы «Земля всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж – Рим – Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения **И. М.** изданы на двадцати языках. Лауреат Премии президента Израиля и Национальной премии Литвы. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса. Рассказы опубликованы в «ИЖ» в №№ 12, 14–15, 18, 20–21, 26, 39. В «Библиотеке ИЖ» вышла книга рассказов **И. М.** «На полпути» (2013).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. М. Горького, на Высших сценарных курсах. Репатриировался в 1972 году. Участник Войны Судного дня. Автор более двух десятков книг, лауреат нескольких литературных премий. Живет в Ор-Иегуде. В «ИЖ» (№№ 6, 8, 11, 12, 17, 24–25, 27, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46) опубликованы рассказы **Д. М.**, эссе «Русская рулетка Олеси» (№ 14–15); интервью с В. Полухиной «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тублиер» (№ 32), заметки об Асаре Эппеле (№ 44).

Светлана МАРКОВСКАЯ родилась в 1965 году в Новосибирске. Много лет прожила на Крайнем Севере. Работала на телевидении и радио. Публиковалась в литературных альманахах. Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», автор песенных текстов, телесценариев, телесериалов, сценариев массовых зрелищ и концертов. Репатриировалась в 2011 году. Живет в Кацрине. В «ИЖ» № 32 опубликована подборка стихов **С. М.** «Вдоль ручья».

НИКОЛЬСКИЙ (Сергей Никольский) родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище (1983). Репатриировался в 1990 году. В настоящее время живет в Нидерландах. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **С. Н.** (№№ 7, 24–25, 30, 34, 38, 42) и книга стихов в журнале «Всего лишь шаг до рая» (№ 45). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга его стихов «Каталог женщин» (2010).

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. С 1963 года жила в Москве. Окончила МИНХ им. Плеханова, ВЛК при Литинституте им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Редактирует и издает книги.

В «ИЖ» были опубликованы подборки ее стихов (№№ 3, 12, 18, 24–25, 32, 39) и заметки об А. Межирове. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля, премии «Олива Иерусалима», поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Стихи поэта в переводе **З. П.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 20–21, 22). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги **З. П.** «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточница» (2006), «Энергия согласия» (2009), «Все та же тайна» (2013).

Николай ПОБОЛЬ (1939–2013, Москва). Учился на радиотехническом факультете МЭИ, работал в КБ этого института. Окончил геофак МГУ, участвовал во многих экспедициях на Север, Дальний Восток в качестве радиоинженера, географа, работал начальником базы МГУ в Охотске,

учителем географии в еврейской школе при Московской Хоральной синагоге. Будучи знатоком поэзии Серебряного века и, в частности, творчества Осипа Мандельштама, в 1996 году был избран в Совет Мандельштамовского общества. Участвовал в многочисленных архивно-издательских проектах, связанных, прежде всего, с темой сталинских репрессий. Памяти Н. П., книгочея, великолепного рассказчика, гения дружбы, посвящена книга «Собеседник на пиру» (Москва, ОГИ, 2013).

Юлия РАБИНОВИЧ родилась в Москве в 1968 году, репатрировалась в 1990 году. Окончила Тель-Авивский университет (1994), Живет в Реховоте. Работает логопедом. Сказки Ю. Р. публиковалась в журнале «Кукумбер» и сборниках «Заповедник сказок».

Кирилл РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932, Москва – 2002, Хаянис, Массачусетс) окончил Московскую консерваторию по классу виолончели, затем физмат МГУ. В аспирантуре МГУ занялся фотографией. В России его работы не выставлялись, но, попав на Запад, разошлись по серьезным коллекциям, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке. С 1997 года жил в США. В последние годы жизни писал короткие рассказы.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте в 1953 году. Жила также в Москве. Репатрировалась в 1990 году. Автор более сорока книг, переведенных на 22 языка. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. «Большая книга» (2007) и «Русская премия» (2010). Живёт в Маале-Адумим. В «ИЖ» опубликованы повесть Д. Р. «Высокая вода венецианцев» (№ 2, одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке ИЖ»); рассказы (№№ 11, 13, 38, 39); эссе (№№ 5, 11, 23, 31), главы из романов «На солнечной стороне улицы» (№ 8), «Синдром Петрушки», (№ 35) «Русская канарейка» (№ 43).

Юлия СЕГАЛЬ родилась в 1938 году в Харькове. В 1953–1957 гг. училась в Алма-Атинском строительном техникуме. Окончила скульптурное отделение Харьковского художественного училища (1960). Вернулась в Алма-Ату, работала учителем рисования, художником кукольного театра, художником на телестудии. Окончила МХИ им. В. И. Сурикова (1971). В 1973 году принята в Союз художников СССР. В 1991–1993 гг. руководила художественным объединением «Функциональная скульптура», получила диплом ВДНХ за лучшие детские игровые комплексы в России. Репатрировалась в 1994 году. До депортации жителей Санура (2005) руководила художественной галереей в этой деревне художников. В 2012 году в Иерусалиме установлен созданный Ю. С. памятник М. Липкину и всем жертвам террора. Работы экспонируются в Третьяковской галерее, Русском музее и других музеях. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 46 опубликованы подборка ее рассказов и интервью.

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких сборников стихов. Один из основоположников жанра авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. А. Синявского (2000), Государственной премии им. Б. Окуджавы (2001), премии «Венец» (2005). В «ИЖ» опубликованы его эссе (№№ 3, 11, 13, 19, 26, 30, 46), стихи (№ 7); беседы с Т. Бек (№ 11), С. Трухановым (№ 23), Ю. Ряшенцевым (№ 24–25); проза «Венок сонетов» (№14–15); статьи «Экспертиза» (№ 35), «Влажным взором» (№ 39); посвящения А. Городницкому, С. Никитину, А. Дулову, Ю. Киму, В. Клецелю (№№ 23, 40, 41). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен Д. С. «Холмы».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Спасибо, если даже Тебя нет. <i>Гарики</i>	3
ДИНА РУБИНА. Остров Джум. <i>Глава из романа-саги</i>	15
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ. Китл. <i>Стихи</i>	63
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ. Воздаяние. <i>Повесть</i>	68
МАРК ВЕЙЦМАН. То, что было нам доверено. <i>Стихи</i>	113
ЮЛИЯ ВИНЕР. Пушкин написал начало... <i>Из опытов реконструкции черновиков</i>	119
АЛЕКСАНДР БАРАШ. Из цикла «Источник отшельника». <i>Стихи</i>	141
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Если бы. <i>Рассказ</i>	143
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ. Невыдуманная жизнь. <i>Рассказы</i>	145
ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. Пока не придет Элиягу. <i>Рассказ</i> . <i>Перевел с иврита Роман Кацман</i>	155
РОМАН КАЦМАН. Улыбка пророка	168
ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. Непечатый хлеб. <i>Рассказ</i> . <i>Перевела с иврита Зоя Копельман</i>	171
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Несколько пояснений	181
УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ	
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. В Царстве Креста. <i>Поэма</i> . <i>Перевел с идиша Ханох Дашевский</i>	183
ХАНОХ ДАШЕВСКИЙ. Еврей на закате Европы. <i>Послесловие переводчика</i>	194

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ЮЛИЯ РАБИНОВИЧ. На ощупь. <i>Стихи</i>	196
ДАВИД МАРКИШ. Влюбчивый Анисим. <i>Рассказ</i>	200

УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. Цепь случайных совпадений. <i>Стихи</i>	210
---	-----

УЛИЦА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ

СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ. На траве дрова. <i>Стихи</i>	215
---	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

БОРИС КРУТИЕР. Школа учит правилам. <i>Афоризмы</i>	217
НАТАЛИЯ КИМ. Многоточие скобка штрих. <i>Стихи</i>	220

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

КИРИЛЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. С большой теплотой. <i>Рассказы</i>	227
МАРИЯ АМОР. Гиганты. <i>Пролог</i>	231

УЛИЦА КОРЧАКА

НИКОЛЬСКИЙ. Избранник. <i>Сказка</i>	244
--	-----

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Откровения Юрия Визбора	268
ЮРИЙ ВИЗБОР. О ремесле. <i>Стенограмма</i>	270

ХОЛМ ПАМЯТИ

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Слова прощания. <i>Памяти Ицхокаса Мераса</i>	290
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Под одной обложкой. <i>Памяти Инны Лиснянской</i>	292

ИМЕНА

Авторы и персонажи	294
------------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты
и чек на имя *Jerusalem Anthologia*
по адресу: **P. O. Box 32297, Jerusalem 91322**

или

перевести деньги на счет 215502, отделение 585, банк Апоалим
(Account 215502, Bank Napoalim, Branch 585 (Gilo), SWIFT: POALILIT),

уведомив редакцию о переводе по электронной почте:
jerusalemreview@gmail.com

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 180 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$70 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

в Израиле – 50 шекелей;

в других странах – \$20 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азас-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва),
Ольгу Аксютину (Иерусалим), Елену Аксельрод (Маале-Адумим),
Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила
Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую
(Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Сару Воробейчик (Хайфа), Татьяну
Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова
(Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим),
Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Ханоха
Дашевского (Иерусалим), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова
(Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову
(Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-
Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида
Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда
(Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия
Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион),
Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Безр-Шева), Якова Лившица
(Иерусалим), Станислава Минакова (Харьков), Бориса Мафцира
(Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра
Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим),
Давида Маркиша (Ор-Еуда), Юрия Моор-Мурадова (Тель-Авив),
Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса
Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича
(Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского
(Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Александра Туркота
(Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила
Фельдмана (Безр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля
Фишзона (Ноқдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит
(Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим),
Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим)
за поддержку журнала.

**Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью**

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2013 годах вышли книги:

- Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;
Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»,
«Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;
Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯАЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;
Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;
Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»; Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;
Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустия три года»;
Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»,
Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер», Ицхокас МЕРАС «На полпути»;
Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»; Лорина Дымова «Вальс в полночь»;
CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Аллы БОССАРТ, Михаила ЗИВА, Владимира ДРУКА,
Игоря ИРТЕНЬЕВА, НИКОЛЬСКОГО, Феликса КРИВИНА,
Семёна КРАЙТМАНА, Семёна СУШАНСКОГО, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

IGOR GUBERMAN. Thank You anyway, even if You do not exist. *Garriks*

DINAH RUBINA. Jum Island. *A chapter from the novel*

GENNADY BEZZUBOV. Kitl. *Poems*

YOSEF BUKENGOLTZ. Retribution. *Novelette*

MARK WEITZMAN. We were entrusted. *Poems*

JULIA WIENER. The first lines were written by Pushkin...

Reconstructing the drafts

ALEXANDER BARASH. Hermit's spring.

LEONID LEVINSON. If. *Short story*

JULIA SEGAL. Non-concocted life. *Short stories*

SHMUEL YOSEF AGNON. Until Eliyahu comes. *Short story.*

Translated from Hebrew by Roman Katzman

ROMAN KATZMAN. The prophet's smile. *Translator's afterword*

SHMUEL YOSEF AGNON. Untouched loaf. *Short story.*

Translated from Hebrew by Zoya Kopelman

ZOYA KOPELMAN. Some explanations. *Translator's afterword*

DESIRED LAND STREET

URI ZVI GREENBERG. In the Kingdom of the Cross. *Poem. Translated from Hebrew by Hanoh Dashevsky.*

HANOH DASHEVSKY. A Jew in the twilight of Europe.

Translator's afterword

JAFFA GATE

JULIA RABINOVICH. By touch. *Poems*

DAVID MARKISH. Amorous Anisim. *Short story*

GALILEE STREET

IGOR IRTENEV. The succession of coincidences. *Poems*

GOLAN HEIGHTS STREET

SVETLANA MARKOVSKAYA. Firewood on the grass. *Poems*

RUSSIAN COMPOUND

BORIS KRUTIER. The school dictates the rules. *Aphorisms*

NATALIA KIM. Dots bracket stroke. *Poems*

AMERICAN COLONY

KIRILL ROZHDESTVENSKY. Warm-heartedly and cordially. *Short stories*

MARIA AMOR. Giants. The prologue

KORCZAK STREET

NIKOLSKY. The chosen one. *Fairy tale*

JUBILEE QUARTER

DMITRY SUKHAREV. Revelations by Yuri Wizbor

YURI WIZBOR. On the craft. *Verbatim record*

MEMORY HILL

IGOR BYALSKY. Words of farewell

In commemoration of Inna Lisnyanskaya

ZINAIDA PALVANOVA. Under one cover.

In commemoration of Itzhokas Meras

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים

שער האריות

איגור גוברמן. תודה לך, אפילו אם אינך – גאריקים
דינה רובינה. האי גיום – פרק מרומן-סאגה
גנדי בזובובוב. קיטל – שירים
יוסף בוקנגולץ. הגמול – נוכלה
מרק וייצמן. מה שהופקד בידינו – שירים
יוליה ווינר. פושקין כתב התחלה – מהנסיון של שחזור טיטוטת
אלכסנדר ברש. מ מחרוזת "מעיינו של המתנזר" – שירים
לאוניד לווינזון. אילו – סיפור
יוליה סגל. החיים הלא בדויים – סיפורים
שמואל יוסף עגנון. עד שיבוא אליהו – סיפור. מעברית – רומן כצמן
רומן כצמן. חיוכו של הנביא – אחרית דבר של המתרגם
שמואל יוסף עגנון. פת שלמה – סיפור. מעברית – זויה קופלמן
זויה קופלמן. כמה ביאורים – אחרית דבר של המתרגמת

רחוב ארץ חפץ

אורי צבי גרינברג. במלכות הצלב – פואמה. מיידיש – חנוך דשבסקי
חנוך דשבסקי. יהודי בשקיעת אירופה – אחרית דבר של המתרגם

שער יפו

יוליה רבינוביץ. על פי המישוש – שירים
דוד מרקיש. אניסים קל להתאהב – סיפור

רחוב הגליל

איגור אירטנייב. שרשרת צירופי מקרים – שירים

רחוב רמת הגולן

סבטלנה מרקובסקי. קרשים על שורשים – שירים

מגרש הרוסים

בוריס קרוטיאר. בית ספר מלמד כללים – אפריזמים
נטליה קיס. שלוש נקודות, סוגר, גרש – שירים

מושבה אמריקאית

קיריל רוז'דסטבנסקי. בחוס רב – סיפורים
מריה אמור. ענקים – מבוא

רחוב קורצ'אק

סרגי ניקולסקי. הנבחר – אגדה

קריית היוכל

דמיטרי סוחרב. גילויו של יורי וויזבור
יורי וויזבור. אודות המלאכה – דוח מילולי

הר הזיכרון

איגור ביאלסקי. דברי הפרידה – לזכרו של יצחקס מראס
זינאידיה פלבנובה. בכריכה אחת – לזכרה של אינה ליסיאנסקי

שמות

הדמויות והיוצרים

תמונות לקליטה עליה בחיבה
היה לי פרץ גב היפה 1992
ספרים
10804

ספרות ישראלית בשפה הרוסית
רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, זאב גייזל, רומן טימנצ'יק, וולוול טשרנין, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עיריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2014 כל הזכויות שמורות למתברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-5370087, 0544-745322, 02-9960302
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

ФРАГМЕНТ

...А что Евбаз? Его давно снесли.
До Киева меня не довели
ни языки, ни авиадороги,
но всё же я нагуглил – ой люли –
что ныне это площадь Перемоги
и новый цирк... Похоронив отца,
и сам, пройдя почти что до конца
земную жизнь, хмельные серпантины
я вижу торжище и – оп-цаца –
безумную подсветку Палестины.

Пора и мне ответить за базар,
не отводя глаза от циферблата,
нет, не за всю Одессу и хазар,
не за Хамас – за собственный позор,
теперь, когда ума уже палата.
Ну, Крым – не наш. А Иерусалим?
О чём у телевизора бурлим,
отгородясь от неба куполами?
По-прежнему един и неделим?
И всё-таки, в каком напололаме?..

июль 2014

Игорь Булыкин

